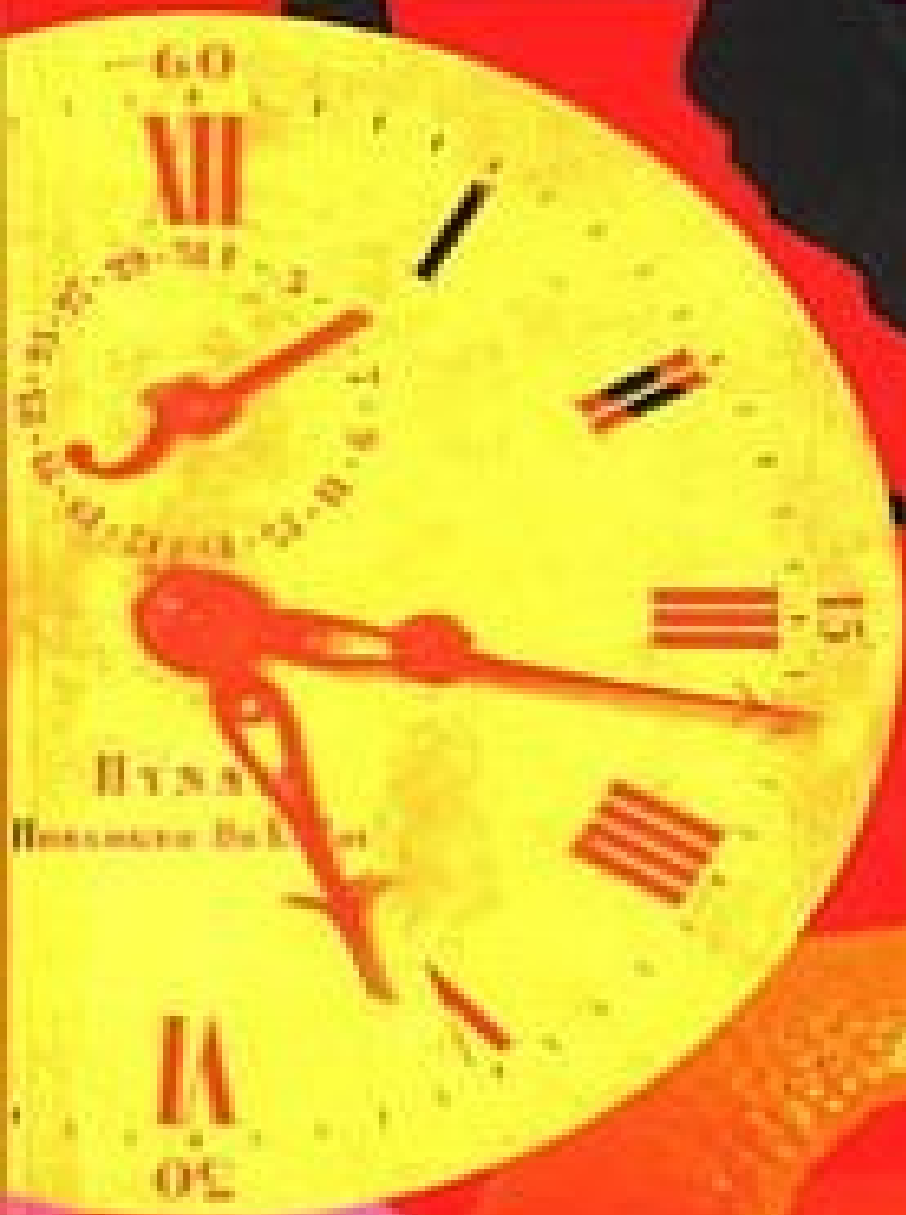


ОТ АВТОРА
БЕСТСЕЛЛЕРА
«ШОКОЛАД»



ЧЕТВЕРТЫНОК
АЛЕКСИНА

Джоан Харрис

Джоанн Харрис

Пять четвертинок апельсина

Джоанн Харрис

Роман «Пять четвертинок апельсина» англичанки Джоан Харрис — насыщенное и тонкое десертное вино. Используя кулинарные метафоры, причудливые характеры и сверхъестественные происшествия, Харрис создает сложную и прекрасную историю. В романе переплелись беды, тайны и напряженные семейные отношения.

Моему деду, Жоржу Пейану (или P'tit Pège), свидетелю тех событий

Признательность

От души благодарю всех участников баталий, в результате которых появилась эта книга. Кэвина и Ануку — занявших огневые позиции; своих родителей и брата за поддержку и подкрепление; Серафину, Принцессу-воительницу, державшую мою оборону; Дженнифер Луитлен за внешние сношения; Говарда Морхейма, отразившего скандинавов; моего преданного редактора Франческу Ливерсидж; Джо Голдсуорси с его тяжелой артиллерией по «Трансуорлд»; мою единомышленницу Луизу Пейдж; а также Кристофера за союзничество.

Часть первая

наследство

1.

Моя мать завещала ферму моему брату Кассису, богатства винного погреба — моей сестре Рен-Клод; мне же, младшей, — свой альбом и двухлитровую банку с одним-единственным черным, плавающим в оливковом масле, крупным, размером с теннисный мячик, перигёрским трюфелем, от которого, если вытащить пробку, до сих пор исходит влажный аромат лесной земли. Равноценным такое распределение не назовешь, но мать моя была не как все; кого и как одарить, решала на свой манер, и странную логику ее поступков понять было невозможно.

А Кассис всегда говорил, что ее любимица — я.

Не скажу, чтоб при жизни она как-то это показывала. У матери не хватало времени баловать нас, даже если такая склонность у нее была. Муж погиб на фронте, вести хозяйство приходилось одной. Мы не были утешением в ее вдовьей жизни, мы докучали ей своими шумными играми, драками, ссорами. Когда болели, она ходила за нами сдержанно, неласково, будто прикидывала, во что обойдется вылечивание. И вся материнская любовь сводилась у нее к тому, чтобы позволять нам вылизывать кастрюльки, соскребать с доньшка приставшее варенье. Или принесет пригоршню дикой земляники, росшей в траве вдоль огорода, протянет увязанную в платок, хмуро, без улыбки. Кассис остался единственным в семье мужчиной. С ним она обходилась еще круче, чем с нами, девчонками. На Ренетт стали рано заглядываться, а мать моя была достаточно тщеславна, внимание людей к дочке ей льстило. Я же — мало того, что лишний рот и не мальчишка, чтоб тянуть ферму, вдобавок, прямо скажем, красавицей не уродилась.

Из детей я была в семье самая трудная, самая строптивая, а после гибели отца замкнулась, дерзила. Тощая, темноголовая, с длинными, как у матери, нескладными руками, плоскостопая, большеротая, я, наверно, слишком уж была похожа на нее, потому что нередко она поглядывала на меня, поджав губы, с выражением стоического примирения с судьбой.

Будто чуяла, что именно мне, не Кассису, не Рен-Клод, нести память о ней. Но, видно, внешне я, по ее мнению, для этой цели не слишком подходила.

Возможно, потому она и передала мне свой альбом, вещь, прямо скажем, не слишком ценную, если не считать личных пометок и некоторых признаний, приписанных ею на полях рядом с кулинарными рецептами, газетными вырезками и описаниями травяных снадобий. Не то чтобы дневник; в альбоме нет дат, нет четкой последовательности. Странички вставлены как попало, разрозненные листы после она сшивала маленькими, режущими глаз стежками; иные странички ссохлись и стали не толще луковой кожурой, какие-то вырезаны из картона, тщательно подогнаны под размер обтрепанного кожаного переплета. Моя мать помечала вехи своей жизни кулинарными рецептами, блюдами собственного изобретения или вариациями старых излюбленных яств. Пища сделалась ее ностальгической потребностью, ее гордостью, а процесс питания и приготовление еды — единственным воплощением творческих сил. Открывается альбом с гибели отца — ленточка Légion d'Honneur^[1] толстым слоем клея приклеена под помутневшей фотографией и аккуратно выведенным рецептом гречневых блинчиков. С долей черного юмора: «Не забыть — выкопать иерусалимские артишоки. Ха-ха-ха!» — приписано красным.

В иных местах мать гораздо словоохотливей, правда, попадает много сокращений и туманных намеков. Кое-что мне удалось разгадать. Иные события почему-то нелепо переиначены. Встречается чистая выдумка, и ложь, и полная несуразность. Часто упираюсь в какую-нибудь бисером выведенную абракадабру, например — «Яни учохини нитьясобини, тенини лсини шельбоини чатьолмини». Иногда сверху или сбоку на странице написано всего одно слово — размашисто, без видимого смысла. На одной странице синими чернилами — «качели», на другой оранжевым карандашом — «вьюн, мошенник, побрякушки». Еще на одной что-то вроде стишка, хотя не помню, чтоб мать заглядывала в какую-нибудь книжку, кроме кулинарной. Стих такой:

сок сладостный,
как в спелой
дыне,

как в яблоке,
как в персике, как
в сливе,
во мне.

Эта нелепая странность удивляет и пугает. Значит, моя мать, моя холодная, бесчувственная мать, в глубине души была совсем другая. Она так яростно замыкалась от нас, от всех на свете; я была убеждена, что на нежные чувства она не способна.

Не помню, чтобы она когда-нибудь плакала. Улыбалась мать редко, да и то только в кухне в окружении многоцветных пряностей, разговаривая, казалось, сама с собой. Перечисляя в своей обычной монотонной манере названия трав и специй: «корица, тимьян, мята, кориандр, шафран, базилик, любисток». На той же ноте и ее описания: «Послеживать за печкой. Чтоб был нужный жар. Слишком малый — блинчик клеклый. Слишком сильный — масло пригорает, чадит, блинчик ссыхается». Потом я поняла: она пыталась меня учить. Я слушала, потому что ловила в наших кухонных семинарах случай заслужить от нее хоть одно одобрительное слово, и еще потому, что всякие нормальные военные действия время от времени требуют передышки. Любимыми у матери были деревенские рецепты ее родной Бретани: с чем только мы не ели ее гречневые блинчики — и с *far Breton*,^[2] и с *kouign amann*, и еще с *galette bretonne*,^[3] которые мы продавали в Анже, что от нас ниже по течению, и еще с нашим домашним козьим сыром, колбасой и фруктами.

Она всегда хотела передать ферму Кассису. Но Кассис вдруг взбрыкнул, сбежал первым из деревни в Париж, от него не было никаких вестей, только раз в год посылал открытку к Рождеству, где, кроме подписи, не было ни слова. И когда через тридцать шесть лет умерла мать, он даже не вспомнил о заброшенной ферме на берегу Луары. Я ее выкупила у него за свои вдовьи сбережения, причем по хорошей цене, и сделка была честная, и он был вполне доволен. Дошло до него, что нельзя нам бросать эту ферму.

Правда, сейчас все повернулось по-иному. У Кассиса есть сын. Он женат на Лоре Дессанж, авторше кулинарных книг, и у них свой ресторан в Анже — «Aux Délices Dessanges»^[4] Видала его раза два, еще когда жив был Кассис. Развязный такой, брюнет, рано раздобрел, как и его отец, правда, все еще смазлив, и это знает. С первого же момента прямо из кожи лез, чтоб мне угодить, звал «мамуся»: подставит стул, настаит, чтоб села на самое почетное место, кофе подаст с сахаром, со сливками, «как здоровье» спросит, вьется вокруг, точно вьюн, прямо голова от него кругом. Кассис в свои шестьдесят с гаком, отечный от уже одолевшего его тромбоза, что потом и сведет его в могилу, посматривал на сынка с нескрываемой гордостью. Мой сынок. Вон какой красавец. Не племяш у тебя, а золото, ишь какой заботливый.

Кассис назвал сына Янник в честь нашего отца, но от этого племянник мне родней не стал. Во мне от матери неприязнь ко всяким условностям, к игре на родственных чувствах. Не люблю, когда до меня дотрагиваются, не люблю приторных улыбок. Родная кровь для меня не залог душевной близости. Как и та кровь, пролитая, тайна, которую мы трое столько лет храним.

Этого забыть нельзя, я не забыла. Помню каждый миг, хотя другие постарались стереть из памяти. Кассис — чистая клозеты в парижском баре. Ренетт — работая билетершей в порнокиношке на Пигаль и, как блудная собачонка, прибываясь то к одной, то к другой штанине. Так она раньше гонялась за помадой, за шелковыми чулочками. Дома была Королева урожая, лапочка такая, первая красавица на всю деревню. На Монмартре все женщины на одно лицо. Бедная Ренетт.

Знаю, что у вас в голове. Вам хочется, чтоб я рассказывала дальше, не тормозила. Только та давняя история, единственной блестящей посверкивающая на моем потрепанном знамени, вам и интересна. Вам не терпится узнать про Томаса Лейбница. Чтоб прояснить, разложить по полочкам, расставить точки. Но не так-то это просто. Как и в альбоме моей матери, странички у меня не мечены. Начала нет, а конец не слишком красив, как обтрепанный край юбки. Но я старая женщина, — хотя у нас тут, по-моему, все устаревает довольно быстро. Или воздух такой? Только у меня ко всему свой подход. Да и много есть такого, что сразу не понять. Почему моя мать поступила так, а не иначе. И почему она так долго скрывала правду. И почему я решила рассказать свою историю только сейчас, и почему незнакомым людям, привыкшим, что целую жизнь можно ужать до разворота в воскресном газетном приложении с парой фотографий, подписями к ним, цитатой из Достоевского. Перевернул страницу — и из головы вон. Нет уж. Со мной будет иначе. Они готовы впитывать каждое слово. Понятно, всё не напечатают, но, клянусь Богом, они у меня выслушают всё до конца.

Я заставлю их слушать.

2.

Меня зовут Фрамбуаз Дартижан. Я родилась здесь, в деревне Ле-Лавёз на Луаре, меньше чем в пятнадцати километрах от Анже. В июле мне, пропекшейся и пожелтевшей на солнце, как сушеный абрикос, стукнет шестьдесят пять. У меня две дочери: Писташ, ^[5] она замужем за банковским

служащим и живет в Ренне, и Нуазетт,^[6] которая в 89-м переехала в Канаду и пишет мне раз в полгода, а также двое внучат, которые каждое лето гостят у меня на ферме. Я ношу траур по мужу, умершему двадцать лет назад, под чьей фамилией я тайно и вернулась в родную деревню, чтобы выкупить ферму матери, давно заброшенную и наполовину истребленную пожаром и непогодой. Здесь я — Франсуаз Симон, la veuve Simon,^[7] и никому не приходит в голову связывать меня с семьей Дартижан, уехавшей отсюда сразу после той страшной истории. Не знаю, почему меня потянуло на эту ферму, в эту деревню. Возможно, это все мое упрямство. Но так случилось. Здесь моя родина. Теперь годы жизни с Эрве кажутся безликим полем, как те до странного ровные пятна, которые порой проглядывают среди бушующего моря: миг затишья, забвения. Но Ле-Лавёз по-настоящему я не забывала никогда. Ни на минуту. Частью себя я всегда оставалась там.

Почти год ушел на то, чтобы придать усадьбе жилой вид, все это время я жила во флигеле с окнами на юг, там хотя бы крыша держалась. Пока рабочие чинили крышу, выкладывали ее черепицей, я трудилась в саду — вернее, в том, что от него осталось, — обрезала, подравнивала ветки, стаскивала со стволов целые охапки хищного вьюнка. Кроме апельсинов, которых она в доме не терпела, мать обожала все фрукты и ягоды. Она и нам давала имена по названиям плодов и лакомств собственного изготовления. Кассис^[8] назван в честь ее пышного пирога со смородиной, Фрамбуаз^[9] — в честь ее малиновой наливки, а Ренетт — в честь ее торта со сливами ренклюд,^[10] reine-claude, зеленоватыми, росшими у нас у южной стены дома, налитыми, точно виноградины, истекавшими соком от осиных налетов в зените лета. Когда-то плодовых деревьев у нас было больше сотни — яблони, груши, сливы, сливы-венгерки, вишни, айва, не говоря уже о малине и клубничных полях, крыжовнике, смородине. Все это сушилось, закладывалось на хранение, превращалось в варенье, наливки, начинки для изумительных круглых ягодно-фруктовых пирогов из *rôte brisé*^[11] с *crème pâtissière*^[12] и миндальной массой. Моя память пропитана плодовыми ароматами, этими красками, этими названиями. Мать пестовала плоды, как любимых детей. Сады окуривались от заморозков, на что тратилось наше домашнее зимнее топливо. Каждую весну земля вокруг стволов щедро сдабривалась навозом. А летом мы, чтоб отваживать птиц, привязывали к ветвям вырезанные из блестящей бумаги фигурки, и они подрагивали и посверкивали на ветру; мастерили трещотки из пустых консервных банок, развешивали их на туго натянутой проволоке, чтоб издавали зловещие, пугавшие птиц звуки; сооружали из цветной бумаги

ветряные мельницы, дико вращавшие лопастями, — и сад, карнавально переливаясь всеми этими побрякушками, сверкающими ленточками и звенящими проводками, превращался в настоящий рождественский праздник посреди лета.

Всем деревьям мать давала имена.

Belle Yvonne^[13] — так называла она грушу с корявым стволом. Rose d'Aquitaine. Beurre de roi Henri.^[14] Произносила их имена благоговейно, почти как заклинание. Было непонятно, то ли мне говорит, то ли себе под нос. «Конферанс. Вильямс. Ghislaine de Penthièvre».

Сок сладостный.

Сейчас деревьев в саду осталось меньше двадцати; правда, мне этого вполне хватает. Моя кисло-сладкая вишневая наливка здесь особо ценится, но мне немного совестно, что я не помню, как эту вишню зовут. Секрет в том, чтоб оставлять косточки. Накладываешь слоями вишню и сахар в стеклянную банку с широким горлом, каждый слой слегка поливаешь чистым спиртом — лучше всего вишневым, хотя можно и водкой, а то и арманьяком, — и так до половины банки. Сверху еще раз спиртом — и ждешь. Раз в месяц легонько поворачиваешь банку, чтоб растекался скопившийся сахар. Через три года спирт как следует проберет вишни, пропитается густокрасным соком, проникнет до самой косточки, до самого сердцевинного ядрышка, станет забористым, тая в себе крепкий аромат прошедшей осени. Разливай в маленькие стаканы, ложечку опусти, чтоб вишенку вылавливать, удержи во рту, пока размягченный плод не растворится под языком. Легонько надави зубом косточку, чтоб брызнул из нее затаившийся внутри крепкий нектар, и погоди, не проглатывай ягоду, перекачивай во рту, играючи кончиком языка туда-сюда, как бусину четок. И вспоминай, когда эта вишня вызрела, то самое лето, ту самую жаркую осень с обилием осиних гнезд, когда от зноя пересох колодец, то время, ушедшее, утраченное и снова обретенное в твердой сердцевине плода.

Вижу, вижу. Вам не терпится, чтоб я перешла к сути. Но и это важно не меньше, чем все остальное: как рассказать и как долго будет рассказ. Я ждала пятьдесят пять лет, прежде чем решилась начать, так уж теперь позвольте мне поступать по собственному разумению.

Возвращаясь назад в Ле-Лавёз, я была почти уверена, что ни одна живая душа теперь меня не узнает. И расхаживала по деревне открыто, даже немного нарочито. Если кто меня узнал, если кому удалось разглядеть во мне сходство с матерью, пусть сразу все и откроется. Хотелось ясности с самого начала.

Каждый день я ходила на Луару, садилась на плоские камни, где когда-то мы с Кассисом ловили линя. Вставала на пень у Наблюдательного Пункта. Теперь уже недостает иных из Стоячих Камней, но по-прежнему сохранились крюки, на которые мы вешали свою добычу, венки с лентами; куда повесили голову Матерой, когда наконец та была поймана.

Я зашла в табачную лавку Брассо — теперь в ней хозяйничает его сын, но старик все еще жив, взгляд хмурый, злой, незамутненный; зашла в кафе Рафаэля, на почту, где почтмейстером теперь Жинетт Уриа. Сходила даже к памятнику жертвам войны. По одну сторону там имена восемнадцати солдат, погибших на войне, сверху высечено: «Morts pour la patrie».^[15] Увидела, что имя моего отца затерто и между «Дариус Ж.» и «Фенуй Ж.-П.» образовалось пространство. По другую сторону медная пластина с десятью именами более крупно. Эти читать было незачем; их я знала наизусть. Но интерес я проявила, зная, что непременно кто-нибудь возьмется поведать мне эту историю, возможно, даже покажет то место у западной стены церкви Святого Бенедикта, расскажет, что каждый год здесь служат специальный молебен в их память, а со ступеней мемориала зачитывают их имена, возлагают цветы. Все думала, вынесу я это или нет. Поймут ли они что-нибудь по моему лицу.

Мартэн Дюпрэ, Жан-Мари Дюпрэ, Колетт Годэн, Филипп Уриа, Анри Лемэтр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекос, Аньез Пети, Франсуа Рамондэн, Огюст Трюриан. Многие еще помнят. Многие — те же имена, те же лица. Семьи по-прежнему здесь живут, и Уриа, и Ланисаны, и Рамондэны, и Дюпрэ. И через шестьдесят лет они все еще помнят; молодые, как водится, впитали ненависть с молоком.

Некоторый интерес возник и ко мне. Некоторое любопытство. Тот самый дом, заброшенный, с тех пор как его покинула та самая, эта Дартижан. «Точно не знаю, мадам, но отец мой... мой дядя...» Всем интересно было узнать, почему я польстилась на этот дом. Он торчал здесь бельмом у всех на глазу; проклятое место. Все еще сохранившиеся деревья уже наполовину сгнили, оплетенные омелой, пораженные паршой. Колодец забетонировали, забив камнями и галькой. Но я помнила ферму ухоженной, цветущей, с налаженным хозяйством: лошади, козы, куры, кролики. И тешила себя мыслью, что, может, дикие животные, забредавшие на северный край, — их потомки; и, случилось, замечала на темных шкурках белые пятна.

Удовлетворяя любопытство местных жителей, я выдумала историю про свое фермерское детство в Бретани. Сказала, что земля здесь дешевая. Говорила робко, как бы оправдываясь. Некоторые старики косо

поглядывали: видно, решили, что ферма навек должна оставаться у них вроде мемориала. Я одевалась в черное и убирала волосы под платок. Напомню, что лет мне уже было немало.

И все же приняли меня далеко не сразу. Народ со мной был вежлив, но не особо приветлив, а так как я по природе не слишком общительна — мать звала меня дикаркой, — так оно все и текло. В церковь я не ходила. Понимала, как на это посмотрят, но заставить себя не могла. Возможно, из гордости или из того же своенравия, которое толкнуло мою мать назвать нас в честь плодов, а не в честь церковных святых. Только мой магазин и способствовал моему сближению с местными.

Началось с магазина, хотя чуяла я, что этим дело не ограничится. Прошло два года с моего переезда, и деньги Эрве почти закончились. Теперь дом имел жилой вид, но земля оставалась практически не использованной — десяток деревьев, небольшой огород, две тощие козы, немного кур и уток, вот и все хозяйство. Понятно, что доход от земли получается не вдруг. Я стала печь и продавать сладкие изделия — бриоши, pain d'épices^[16] местного образца, а также кое-какие из бретонских изделий моей матери, горы crêpes dentelle,^[17] торты с фруктами и множество sablés,^[18] разного печенья, ореховых хлебцев, коричных хрустиков. Сперва продавала свои изделия через местную булочную, затем прямо из дома, понемногу добавляя кое-что и еще: яйца, козий сыр, фруктовые наливки и вино. На выручку обзавелась свиньями, кроликами, еще прикупила коз. Я использовала старые рецепты матери в основном по памяти, но время от времени все же заглядывала в альбом.

Странные шутки играет с нами память. О кулинарном искусстве моей матери в Ле-Лавёз все уже будто позабыли. Кое-кто из стариков даже утверждал, что я, мол, совсем другое дело, что, мол, прежняя хозяйка была грубиянка и неряха. И дома-то у нее была вонища, и дети ходили вечно грязные, босые. Слава Богу, убралась эта семейка из здешних мест. Я усмехалась про себя, но молчала. А что бы я могла им сказать? Что мать полы натирала каждый день, заставляла нас дома ходить в войлочных шлепанцах, чтоб не попортить пол? Что у нее в ящиках за окнами цело полно цветов? Что она и нас скребла, как свою лестницу, с той же неистовостью, фланелькой охаживала мордашки, растягивая глаза, как у китайчат, чуть не сдирая кожу до крови?

Тут она оставила по себе дурную память. Даже книжку как-то сочинили. Не книжку, правда, брошюрку в полсотни страниц с несколькими фотографиями — на одной памятник, на другой церковь

Святого Бенедикта и крупным планом та самая злополучная западная стена. Нас троих лишь вскользь упоминают, даже имен не названо. Ну и слава Богу. Бледный снимок матери, крупно, волосы так туго стянуты на затылке, что глаза — прямо как у китайца; губы сердито, в ниточку, сжаты. Знакомая фотография отца, такая же в альбоме, в военной форме; он здесь до ужаса юный, винтовка небрежно висит на плече, улыбается.

И уже в самом конце книжки фотография, при взгляде на которую у меня перехватило в горле, как у рыбы, попавшейся на крючок. Четверо молодых парней в немецкой военной форме, трое стоят плечом к плечу, четвертый немного в сторонке, сам по себе, в руках саксофон. У тех тоже инструменты — труба, военный барабан, кларнет, — и хоть имен нет, я знаю их всех четверых. Военный ансамбль Ле-Лавёз образца 1942 года. Крайний справа Томас Лейбниц.

Не сразу я сообразила, откуда они раскопали столько подробностей. Где взяли фотокарточку матери. Я-то считала, что у нее фотографий вообще не было. Даже мне лишь однажды довелось увидеть одну, старую свадебную фотографию, на самом дне комода в спальне: парочка, одетая по-зимнему тепло, на ступеньках церкви Святого Бенедикта. Он в широкополой шляпе, она с распущенными волосами, в них цветок. Совсем непохожа на мать, улыбается натянуто, смущенно в объектив; мужчина рядом одной рукой бережно обнимает ее за плечи. Я поняла: если мать узнает, что я видала фотографию, мне несдобровать. И дрожащими руками, охваченная какой-то необъяснимой тревогой, сунула ее поскорей обратно.

На фото в книжке мать больше похожа на себя, на ту, какой, как мне кажется, я ее знала, хотя не знала никогда, — с каменным лицом, вот-вот готовую заорать. И тут, увидев на форзаце фотографию автора книги, я внезапно поняла, откуда что взялось. Лора Дессанж, журналистка, авторша кулинарных книг, короткие рыжие волосы, деланая улыбка. Жена Янника; невестка Кассиса. Бедный дуралей Кассис. Бедный, слепой Кассис, разомлевший от гордости за своего удачливого отпрыска. Осмелившийся погубить нас, и ради... ради чего? А может, он и в самом деле поверил в эти басни?

3.

Я хочу, чтоб вы поняли: для нас оккупация была совсем не то, что для тех, кто жил в малых и больших городах. Жизнь в Ле-Лавёз и сейчас едва ли поменялась с времен той войны. Смотрите: небольшая россыпь улочек,

некоторые по-прежнему не отличишь от грязных проселочных дорог, разбегаются от центрального перекрестка. В глубине — церковь, памятник на Place des Martyrs^[19] с небольшим садиком и старым фонтаном позади, дальше на улице Мартэна и Жан-Мари Дюпрэ — почта, мясная лавка Пети, «Café de la Mauvaise Réputation»,^[20] бар-табак с вертушкой из фотооткрыток военного мемориала и со старым Брассо в своей качалке на крыльце, напротив — похоронное бюро с цветочным магазинчиком (снедь и смерть — доходное дело в Ле-Лавёз), универмаг, которым по-прежнему управляет семейство Трюриан. К счастью, правда, теперь — молодой парень, внук, он только недавно сюда приехал. Старый, выкрашенный желтой краской почтовый ящик.

Позади главной улицы течет Луара, плавная, бурая, точно змея, греющаяся на солнце, широкая, как поле; поверхность покрыта неровными лоскутами островов и песчаных отмелей, и туристам, проплывающим по реке мимо нас в Анже, она кажется гладкой, точно проезжая дорога. Мы, конечно, иного мнения. Островки все время в движении, как перекасти-поле. То и дело подталкиваемые снизу темным течением, они то погружаются, то всплывают, как медлительные желтые киты, оставляя за собой небольшие водовороты, вполне безобидные для тех, кто в лодке, но смертельно опасные для пловцов, — под сглаженной поверхностью бродят безжалостные прибойные токи, затягивают беспечно на дно, душат незаметно, беззвучно. В Луаре по-прежнему водится рыба: линь, щука, угорь; вскормленные сточными водами и гнилью, скапливающейся в верхнем течении, они вымахивают до невероятных размеров. Почти всякий день на реке видны лодки, но половину улова рыбаки выбрасывают.

У старого мола стоит сарайчик Поля Уриа, откуда он торгует наживкой и рыболовными снастями; оттуда рукой подать до места, где мы когда-то ловили рыбу, он, Кассис и я, и где на Жаннетт Годэн напала водяная змея. Старый пес Поля лежит у его ног с устрашающим видом, как и та бурая дворняга в те прежние годы, а сам он не сводит глаз с реки — забросил удочку, как будто надеется что-то поймать.

Интересно, помнит ли он. Иногда я замечаю, что он на меня смотрит — Поль один из постоянных моих клиентов, — и мне даже кажется, что узнал. Понятно, он постарел. Как мы все. Круглое, как луна, лицо почернело, помрачнело, пошло складками. Поникшие усы стали цвета жеваного табака. Из рта торчит кончик сигареты. Говорит редко — он всегда был малоразговорчивый, — но посматривает; синий берет туго натянут на голову, глаза грустные, как у собаки. Он любит мои блинчики и мой сидр.

Может, потому и молчит, ничего не скажет. Выяснить отношения он и тогда не любил.

4.

Только спустя четыре года после приезда я открыла свою crêperie.^[21] К тому моменту у меня поднабралось денег, появилась клиентура, меня приняли. Я наняла парня работать на ферме — не из здешних, из Курлэ, — и еще девушку Лиз в помощь по хозяйству. Начала с пяти столиков — нарочно задумала начать с маленького кафе, чтоб не слишком высовываться, — но скоро мое заведение выросло вдвое, да еще, если погода позволяла, перед кафе я устраивала terrasse.^[22] Ничего особенного. Меню ограничивалось гречневыми блинчиками со всевозможными начинками, одним обязательным жарким и несколькими десертами. Причем с готовкой управлялась я сама, а Лиз обслуживала посетителей. Я назвала свое кафе «Crêpe Framboise»^[23] по названию фирменного блюда — сладких блинчиков с малиновой coulis^[24] и моим домашним малиновым ликером — и в душе посмеивалась, представляя, что бы с ними всеми сделалось, если бы узнали. Некоторые даже принялись величать мое заведение «Chez Framboise»,^[25] и это меня веселило еще больше.

Тогда-то мужчины снова стали на меня поглядывать. Ну как же, по местным стандартам я теперь стала женщина обеспеченная. Да и в конце концов мне было тогда всего полсотни. К тому же и кулинарка, и хозяйка отменная. Некоторые даже, ей-ей, стали за мной приударять, одни — мужики подходящие, к примеру Жильбер Дюпрэ или Жан-Луи Лелассьян; правда, были и лодыри, как Рамбер Лекос, желавшие, чтоб их вкусно и бесплатно кормили до конца жизни. Был среди ухажеров и Поль, миляга Поль Уриа, молчун с желто-табачными усами. Это все, конечно, для меня полностью было исключено. Не такая я дура, чтоб клюнуть на их удочку. Слегка подзавело, правда, но я устояла без особых проблем. У меня было свое дело, ферма моей матери; и еще воспоминания. Муж мне при этом был бы ни к чему. Больше я не смогла бы скрывать свое настоящее имя, и даже если бы жители деревни и простили мне мое родство, они не простили бы пятилетнего обмана. Потому я всем отвечала отказом, кому вежливым, кому посмелее, так что женихи сперва меня посчитали безутешной вдовой, потом привередой, а после, годы спустя, слишком старой.

Я живу в Ле-Лавёз вот уж скоро десять лет. В последние пять я стала звать к себе погостить на время летних каникул Писташ с семейством. Смотрела, как вырастают внуки, как превращаются из смешных, большеглазых, нескладных карапузов в маленьких птах с ярким опереньем, как порхают в моем лугу и по моему саду на невидимых крыльшках. Писташ — замечательная дочь. Моя тайная любимица Нуазетт больше пошла в меня: строптивая бестия, с такими же черными, как у меня, глазами, характер непокорный, взрывной. Я могла бы ее удержать, — наверно, достаточно было одного слова, улыбки, — но все-таки не удержала, может, из страха, что рядом с ней превращусь в собственную мать. Письма Нуазетт скупые и вежливые. Ее брак оказался неудачным. Работает официанткой в ночном кафе в Монреале. Денег от меня не принимает. Писташ такая, какой могла бы стать Ренетт: пухленькая, доверчивая, мягкая с детьми и готовая отчаянно их защищать, с мягкими каштановыми кудрями, с глазами зелеными, как орех, в честь которого названа. Благодаря ей и ее деткам во мне оживает лучшее, что осталось от детства.

С внуками я заново научилась быть матерью, пеку им блинчики и готовлю плотные, приправленные травами яблочные колбаски. Варю им варенье из инжира, зеленых помидоров, вишен и сливы-венгерки. Позволяю играть с маленькими проказливыми бурыми козочками, кормить их остатками пирогов и морковкой. Мы вместе кормим кур, гладим влажные носы наших пони, собираем кроликам щавель. Я показываю внукам реку, учу плавать к песчаным отмелям. С замирающим сердцем твержу о разных опасностях — о змеях, подводных корягах, водоворотах, зыбучем песке, — беру с них слово никогда, ни за что далеко не заплывать. Вожу их за реку в лес, показываю лучшие грибные места, рассказываю, как отличить ложную лисичку от съедобной, учу собирать кисловатую дикую чернику среди подлеска. Таким должно было быть детство моих дочерей. Вместо этого у них был Кот-д'Армор, там мы когда-то жили с Эрве, — открытые ветрам берега, сосновые леса и каменные, с шиферными крышами домики. Я старалась, клянусь, быть им хорошей матерью, но все время чувствовала, что чего-то мне не хватает. Теперь понимаю: не хватало этого дома, этой фермы, этих полей, этой сонной, отдающей затхлостью Луары у Ле-Лавёз. Вот чего хотела бы я для них. А со своими внуками я начала все с самого начала. Балую их, я тешила себя.

Мне хочется думать, что и мать моя при такой возможности поступала бы так же. Представляю себе ее кроткой бабушкой и себя рядом и как я ей выговариваю: «Слушай, мать, ты ведь портишь мне детей!» — а она,

упрямица, слушает и подмигивает, и теперь такое мне уже не кажется немислимым, как раньше. Хотя, наверно, я придумываю: может, она и в самом деле была такой, какой я ее помню, — непроницаемой, угрюмой, и на меня поглядывала колюче, с тайной досадой.

Она никогда не видала своих внуков, даже не знала о их существовании. Я сказала Эрве, что мои родители умерли, а в подробности он никогда не вдавался. Отец его был рыбац, мать — маленькая, похожая на куропатку толстуха — торговала рыбой на рынке. Я натянула их всех на себя, как одолженное на время одеяло, понимая, что в один прекрасный день придется скинуть и мерзнуть снова. Хороший был мужик Эрве, спокойный, без острых углов, об него не порежешься. Я его любила, не жгуче, не отчаянно, как Томаса, но все-таки любила.

В 1975-м Эрве умер — его убило молнией, когда они с отцом отправились на лов угрей, — к моему горю пристал налет неизбежности, что-то сродни облегчению. Да, мне с мужем жилось неплохо. Но мое дело — моя жизнь — не остановилось вовсе. Через полтора года я вернулась в Ле-Лавёз с чувством, будто просыпаюсь после долгого тяжкого сна.

Вам может показаться странным, что я столько лет тянула, не заглядывала в альбом матери. Это было единственное, что досталось мне в наследство, — не считая перигёрского трюфеля, — да, лет пять я в него почти не заглядывала. Я, понятно, многие рецепты помнила наизусть, и заглядывать в них не было нужды, но все же. Я даже не была на оглашении завещания. Я даже не знаю, какого точно числа мать умерла, хотя точно скажу, где — в доме для престарелых в Витре, называется «La Gautraue», — от рака желудка. Она и похоронена там же, на местном кладбище; правда, я ездила туда всего однажды. Ее могила у самой дальней стены, рядом с мусорными контейнерами. Надпись «Мирабель ДАРТИЖАН» и даты. С легким изумлением я отметила, что мать врала нам насчет своих лет.

По правде говоря, я и сама не знаю, что именно толкнуло меня взяться за ее альбом. Это случилось в первое лето, как я приехала в Ле-Лавёз после смерти Эрве. Стояла засуха, и Луара осела, наверно, на пару метров ниже обычного, оскалившись по берегам безобразными, точно гнилые зубы, ссохшимися выступами. Выбеленные солнцем бледно-желтые, корявые корни деревьев протянулись к воде, и дети играли среди них на песчаной отмели, шлепая босиком по грязным темным лужам, вороша палками разный мусор, приносимый течением. Вплоть до этой поры я избегала братья за альбом из чувства непонятной вины, будто подглядываю и будто мать внезапно войдет и застанет меня в момент раскрытия ее странных тайн. Честно говоря, мне не нужны были ее тайны. Это как входишь ночью

в комнату, где твои родители занимаются любовью. Какой-то внутренний голос говорил мне «не смей», и должно было пройти десять лет, чтоб я поняла: не голос матери — мой собственный.

Как я уже сказала, многое из ее записей я разобрать не могла.

Язык многих записей — что-то от итальянского, но с трудом произносимое — я видела впервые и после нескольких неудачных попыток расшифровать вынуждена была сдать. С рецептами в синих или лиловых чернилах все обстояло нормально, но ее безумные каракули, стишки, рисунки, пометки сбоку были явно лишены всякого смысла, никакой последовательности в них я обнаружить не смогла.

Сегодня видала Гийома Рамондэна. С новой деревянной ногой. Смеялся, когда на него выпучилась Р.-К. Она спросила «не больно?», он сказал, что счастливчик. Папаша обувь тачает. Так теперь вместо пары нужен всего один башмак, ха-ха, и чтоб вальсировать, красавица, на оба носка вставать не придется. Интересно, какой на вид там, в подколотой штанине, его обрубок. Думаю, как непропеченный пудинг, перевязанный бечевкой. Кусаю губы, чтоб не расхохотаться.

Приписано очень мелко над рецептом сливочного пудинга. Мне от таких коротких баек и от этого юмора делается не по себе.

В другом месте мать говорит о деревьях так, словно это люди: «Провела всю ночь рядом с Belle Yvonne; она совсем расхворалась от холода». Между тем имена собственных детей у матери почти всегда появляются в сокращенном виде — Р.-К, Касс, Фра., — об отце же она вообще не вспоминает. Никогда. Долго я ломала голову: почему. Правда, у меня не получалось разобрать, что написано в других местах, тайных. Мой отец — при всей малости, что я слыхала о нем, — как бы и не существовал.

5.

И тут возникла эта история со статьей. Сама я, как вы понимаете, ее не читала; она появилась в одном из журналов, где о еде пишут как о модном развлечении — «В этом сезоне, милочка, все едят кускус, это просто-таки de rigueur».^[26] А для меня пицца — это пицца, праздник чувств, кропотливо создаваемая быстролетность, — вроде фейерверка, труд основательный, но не требующий серьезного отношения. Нет, только не искусство, боже

упаси: с одного конца вошло, через другой вышло. Словом, появилась в один прекрасный день статья в одном из этих модных журнальчиков. «Путешествия по Луаре», что-то вроде того; славящиеся своей кухней рестораны на пути к побережью. Я и его самого запомнила: тощий такой, низенький, с собой в салфетке возит солонку и перечницу, на коленке в блокнотик строчит. Отведал моей *paëlla antfflaise*,^[27] запил моим *cidre bouché*^[28] и завершил стаканчиком *liqueur framboise*^[29] напоследок.

Закидал меня вопросами насчет рецептов, пожелал осмотреть кухню и сад, восхищался, когда показала ему свой погреб, где у меня полки с *terrines*,^[30] консервированными плодами и душистыми маслами — ореховым, розмариновым, трюфельным — и всякими ароматическими укусами: малиновым, лавандовым, яблочным. Спросил, где я обучалась, и даже вроде огорчился, когда я рассмеялась в ответ.

Может, я болтала чересчур много. Но, знаете ли, лестно было. Давала ему того попробовать, сего. Ломтик *rillettes*,^[31] еще кусочек своей *saucisson sec*.^[32] Дала глотнуть своей грушовки, той самой *poigé*,^[33] что мать обычно делала в октябре из груш-падалиц, когда они уже начинали бродить на жаркой земле и были до такой степени облеплены осами, что приходилось хватать их деревянными щипцами. Показала оставленный мне матерью трюфель, основательно впечатанный в масло, как муха в янтарь, веселилась при виде его выпученных от изумления глаз.

— Вы представляете, сколько стоит эта штука? — спросил он.

Что говорить, его внимание тешило мне самолюбие. Может, это от одиночества; просто обрадовалась случаю поболтать с этим малым, ведь он говорил со мной на понятном языке, сумел, отведав *terrine*, назвать травы, какие туда вошли, назвал меня сокровищем в этой глуши, сказал, что с моей стороны прозябать в ней преступление. Возможно, я слегка размечталась. Надо было вовремя соображать.

Через пару месяцев появилась статья. Кто-то мне ее занес, вырвав из журнала. С фотографией моей *crêperie* и парочкой других снимков.

«Тот, кто едет в Анже в поисках истинной пищи для гурманов, мог бы напрямик направиться в престижный ресторан „Aux Délices Dessanges“. Но в этом случае он непременно упустит одну из самых восхитительных моих находок в путешествии по Луаре...»

Я лихорадочно припоминала, не говорила ли я ему про Янника.

«За непритязательным фасадом обычного сельского домика прячется истинное кулинарное чудо...»

Дальше шла всякая дребедень насчет «деревенских традиций, в которые

вдохнул новую жизнь творческий гений этой женщины».

Жадно, с нарастающим страхом я скользила взглядом по странице в предчувствии неизбежного. Одно упоминание имени «Дартижан» — и все мои старания и труды полетят в тартарары.

Вам может показаться, что я преувеличиваю. Ничуть. В Ле-Лавёз до сих пор помнят войну. Остались такие, кто и по сей день не общается друг с другом. Дениз Муриак с Люсиль Дюпрэ, Жан-Мари Бонэ с Коленом Брассо. Вспомним, как пару лет назад на чердаке обнаружили оказавшуюся там взаперти старуху. Родители в 1945-м посадили на замок собственную дочь, обнаружив, что она якшалась с фашистами. Ей было шестнадцать. Через пятьдесят лет, когда папаша наконец помер, ее извлекли оттуда, дряхлую, безумную.

Ну а как насчет тех стариков — иным уже лет восемьдесят, девяносто, — которых упекли за военные преступления? Вот они: старые, слепые, больные, слабоумная улыбочка, отсутствующий, непонимающий взгляд. Невозможно представить, что когда-то и они были молоды. Невозможно вообразить, какие кровавые воспоминания гнездятся в этих ветхих, не соображающих черепушках. Разбей сосуд — содержимое навек ускользнет. Всякому преступлению своя жизнь, свое оправдание.

«По странному совпадению владелица „Сгêре Framboise“ мадам Франсуаз Симон приходится родственницей владельцам „Aux Délices Dessanges“...»

У меня перехватило дыхание. Словно огненный ком застрял в горле, я внезапно почувствовала, что тону, что темная река тянет меня на дно, языки пламени объяли глотку, лижут легкие.

«...нашей любимицы Лоры Дессанж! Удивительно, что ей до сих пор не удалось разузнать секреты своей двоюродной бабки. Я, например, безоговорочно предпочту неприятную прелесть „Сгêре Framboise“ любому изысканному — но все же заурядному! — деликатесу Лоры».

Я перевела дыхание. Не внучатый племянник. Племянница. Разоблачение не состоялось.

Я клятвенно обещала себе, что больше подобных глупостей не допущу, ни слова больше всяким кулинарным писакам. Через неделю явился с расспросами фотограф из очередного парижского журнала, но я не стала с ним разговаривать. Приходили письма с просьбами встретиться, я оставляла их без ответа. Какой-то издатель в письме предложил издать книгу рецептов. Теперь в «Сгêре Framboise» стали наведываться жители Анже, туристы, элегантная публика в сияющих новеньких авто. Я

десятками заворачивала их обратно. Хватит с меня моих постоянных клиентов и моих десяти-пятнадцати столиков; слишком большую ораву мне не вместить.

Я изо всех сил старалась не терять присутствия духа. Отказывалась принимать предварительные заказы. На тротуаре выстраивалась очередь. Пришлось нанять еще одну официантку, но все же непрошенных гостей я отваживала. Даже когда тот коротышка журналист вернулся, чтоб уговорить, урезонить меня, я и слушать его не стала. Нет, не позволю использовать мои рецепты в его колонке. Нет, ни о какой книге не может быть и речи. Никаких снимков. «Сгêре Framboise» останется, как прежде, сельским кафе.

Я знала: если сумею продержаться достаточно долго, они от меня отстанут. Но непоправимое уже случилось. Теперь Лора с Янником узнали, где меня найти.

Должно быть, им сказал Кассис. Он поселился в квартирке недалеко от центра Анже и, хоть письма писать никогда не любил, время от времени мне пописывал. Все расхваливал успехи своей знаменитой невестушки и расчудесного сынка. Вот после той статьи и шума, который поднялся, те и надумали во что бы то ни стало меня разыскать. В качестве бесплатного приложения прихватили с собой Кассиса. Вероятно, рассчитывали, что мы с ним, увидевшись спустя столько лет, как-никак расчувствуемся, но хоть глаза ревматика Кассиса и слезились по-стариковски жалобно, мои упорно оставались сухими. В нем почти ничего не осталось от того старшего брата, с которым столько было связано; он раздобрел, памятные черты расплылись, лицо утратило прежнее выражение, нос побагровел, щеки, как растрескавшейся глазурью, покрылись изломанной сеткой сосудов, улыбка подрагивала. Прежнее — когда в моих восторженных глазах мой старший брат был герой, умевший все на свете, способный влезть на самое высокое дерево, сражаться с дикими пчелами, чтобы заполучить их мед, переплыть Луару поперек и в самом широком месте — уступило место легкому ностальгическому, не без легкой жалости чувству. Что поделаешь, столько лет прошло. Толстяк в дверях был мне теперь чужой человек.

Сперва они вели себя прилично. Ни о чем не расспрашивали. Проявляли заботу обо мне, одинокой женщине, дарили подарки: кухонный комбайн, — изумившись, что у меня до сих пор нет; зимнее пальто, радиоприемник, предложили куда-нибудь свозить. Однажды даже пригласили в свой ресторан — громадный, как амбар, столики под мрамор с клетчатыми скатертями, неоновые надписи; высушенные морские звезды и ярко раскрашенные пластиковые крабы, и все это в рыбацких сетях,

развешанных по стенам. Я что-то неуверенно вставила насчет всей этой обстановки.

— Конечно, мамуся, это, что называется, китч, — любезно пояснила Лора, похлопывая меня по руке. — Вам, понятно, это не слишком по вкусу, но поверьте, в Париже это ужасно модно.

Она улыбнулась, выставив свои зубы. Они у нее очень белые, очень крупные, а волосы — цвета свежей паприки. Они с Янником часто касались рукой друг дружки и целовались на людях. Признаюсь, мне было даже как-то неловко. Еда у них... ну, скажем, современная. Тут я им не судья. Какой-то салат с жиденькой заправкой, куча мелких овощей, вырезанных розочками. Может, курчавый салат где и попадался, но в основном переросшие листья обыкновенного, редис и морковка всякими фигурками. Потом кусок хека — должна сказать, кусочек неплохой, только маленький, — с белым винным соусом шалот и листиком мяты поверху, шут его знает зачем. После подали кусочек торта с грушами, политый шоколадным соусом, обсыпанный сахарной и шоколадной стружкой. Украдкой заглянув в меню, я обнаружила там сплошное самовосхваление, как например: «пралине из леденцов-ассорти на аппетитнейшем, тончайшем, как вафля, слое теста, с густым слоем темного шоколада по краю и с пикантным абрикосовым соусом». Я было решила, будто это попросту старый флорентин, но то, что принесли, оказалось размером не больше пятифранковой монетки. Можно подумать, Моисей специально снес это чудо с горы на землю, чтоб полюбопытствовать, как они здесь его распишут. Но цены! Раз в пять дороже моего самого дорогого меню, и это не считая вина. Я, понятно, не платила. Но начала подозревать, что за все это внезапное обхаживание мне, пока неясно как, но расплачиваться придется.

И как в воду глядела. Через два месяца грянуло первое предложение. Тысяча франков, если я выдам им рецепт своей *раëlla antillaise* и позволю включить ее в их меню. *Раëlla antillaise* Мамуси Фрамбуаз — так ее обозвал Жюль Лемаршан в июльском номере журнала «*Hôte & Cuisine*» за 1991 год. Сначала я решила, что это шутка. «Своеобразное ассорти свежих морепродуктов в изысканном сочетании с зелеными бананами, ананасом, мускателем и шафрановым рисом». Я расхохоталась. Неужто им своих рецептов мало?

— Не смейся, мамуся! — почти резко оборвал меня Янник, наставив на меня чуть ли не впритык свои черные глаза. — Уверяю, мы с Лорой будем тебе очень признательны. — Он щедро улыбнулся во весь рот. — Ну же, не скромничай, мамуся!

Это «мамуся» неприятно меня резануло. Лора голой прохладной рукой обвила мои плечи:

— Я позабочусь, чтобы все знали, что этот рецепт — ваш!

Я уступила. Вообще-то я не против делиться своими рецептами; в конце концов, и так уже раздала достаточно жителям Ле-Лавёз. Пусть берут раёлла antillaise безвозмездно, и еще кое-что, если так хочется, но с условием, что никакой «Мамуси Фрамбуаз» в меню не упомянут. Я оставляла себе лазейку. Нельзя было слишком засвечиваться.

Они стремительно, почти не споря, согласились на мои условия, но через три недели рецепт «Raëlla antillaise Мамуси Фрамбуаз» появился в «Hôte & Cuisine» в сопровождении фонтанирующей статейки Лоры Дессанж. «Надеюсь, в ближайшем будущем смогу порадовать вас новыми рецептами сельской кухни Мамуси Фрамбуаз, — обнадеживала она читателей. — А пока вы сможете оценить их по достоинству в „Aux Délices Dessanges“, рю де Ромарэн, Анже».

Видно, не ожидали, что статья попадется мне на глаза. А может, не приняли мои слова всерьез. Когда я их уличила, принялись извиняться, как дети, застигнутые врасплох. Уверяли, что мое блюдо имеет ошеломляющий успех и что неплохо бы завести в их меню отдельную рубрику изделий Мамуси Фрамбуаз, включить мои couscous a la provencale,^[34] cassoulet trois haricots,^[35] а также «Знаменитые Мамусины блинчики».

— Видишь ли, мамуся, — победно заявил Янник. — Вся прелесть в том, что от тебя совершенно ничего не требуется. Будь сама собой. Какая есть.

— Я бы могла вести в журнале колонку, — добавила Лора. — Скажем, «Советы Мамуси Фрамбуаз». Разумеется, вам писать ничего не придется. Я это сделаю за вас.

И одарила меня улыбкой, будто я соплячка и меня этим проймешь.

Снова они притащили с собой Кассиса, и тот тоже все скалился, правда, несколько сконфуженно, как бы не слишком чувствуя себя в своей тарелке.

— Ведь я вас предупредила, — я очень старалась говорить спокойно, чтобы голос не дрожал. — Я же сказала сразу. Не надо мне этого. Не хочу в этом всем участвовать.

Кассис смущенно взглянул на меня и молящим тоном произнес:

— Так ведь это так нужно моему мальчику. Только подумай, какая это для него реклама!

Янник, кашлянув, быстро вставил:

— Отец имеет в виду, что от этого нам всем будет выгода. Если дело

пойдет, сможем развернуться вовсю. Будем продавать варенье Мамуси Framбуаз, печенье Мамуси Framбуаз. Ясное дело, ты, мамуся, получишь приличный процент.

Я покачала головой:

— Вы не поняли, — произнесла я отчетливо. — Мне никакая реклама не нужна. Мне не нужен никакой процент. Это все не для меня.

Янник с Лорой переглянулись.

— И если вы думаете, а я вижу, вы думаете именно так, — сказала я резко, — что прекрасно обойдетесь и без моего согласия, ведь вам только и нужно, что имя да фотография, то вот что я вам скажу. Услышу, что еще хотя бы один из так называемых рецептов Мамуси Framбуаз появится в этом или в каком другом журнале, немедленно звоню редактору. И продаю ему все свои рецепты. Нет, черт побери, отдам их ему за так!

Меня одновременно душили гнев и страх, сердце бешено колотилось. Не смей наезжать на меня, дочь Мирабель Дартижан! Словом, смекнули они, что со мной шутки плохи. Было видно по их лицам.

Попытались было робко возразить:

— Мамуся...

— Не смей называть меня мамусей!

— Дайте-ка я с ней поговорю...

Кассис с трудом поднялся со стула. С годами он как бы усох, все в нем легонько побрякло, как опавшее суфле. Даже от слабого усилия он болезненно сморщился.

— Пойдем в сад.

Мы сели на поваленном дереве рядом с высохшим колодцем, и мне показалось, будто Кассис на моих глазах как-то странно двоится, будто достаточно сдернуть маску обрюзгшего старика, и он вновь станет таким, как прежде, полным сил, бесшабашным, безудержным.

— Зачем ты так, Буаз? — сказал он. — Это из-за меня?

Я медленно покачала головой:

— К тебе это не имеет отношения. К Яннику тоже. — Я мотнула головой в сторону дома. — Как видишь, я сумела привести в порядок старую ферму.

Он повел плечами:

— Никогда не мог взять в толк, зачем она тебе. По мне, я бы к ней не притронулся. И сейчас со страхом думаю, как ты тут живешь.

И он странно на меня взглянул, пристально, даже как-то слишком. Улыбнулся:

— Хотя это очень в твоём духе. Ты, Буаз, всегда была её любимицей. Ты

даже теперь стала на нее похожа.

Я вскинула подбородок, сухо бросила:

— Тебе не удастся меня уболтать.

— Ну вот, ты и говорить стала, как она. — В голосе Кассиса смешались ласка, вина, раздражение. — Буаз...

— Хоть кто-то должен хранить память о ней! — вскинулась я. — Я знала, от тебя этого не дождешься.

Он беспомощно развел руками:

— Но здесь, в Ле-Лавёз...

— Никто не догадывается, кто я. Никто и понятия не имеет. — Я невольно усмехнулась. — Сам знаешь, Кассис, старые перечницы все на одно лицо.

Он кивнул:

— Думаешь, «Мамуся Фрамбуаз» все им откроет?

— Еще бы! Помолчали.

— Ты всегда была отменной вруньей, — небрежно бросил он. — И это ты тоже от нее унаследовала. Умение скрытничать. Я вот человек открытый. Он даже широко раскинул руки.

— Рада за тебя, — равнодушно отозвалась я. Кассис, похоже, и впрямь так считал.

— Ты славная кулинарка. Надо отдать тебе должное. — Он взглянул через мое плечо на сад, на ветви деревьев, отяжелевшие под тяжестью зреющих плодов. — Она была бы довольна. Если б узнала, как ты тут управляешься. Ты вся в нее, — медленно повторил Кассис, не как похвалу, как факт, с некоторой досадой, даже страхом.

— Она мне свою книгу оставила, — сказала я. — Там рецепты. Ее альбом.

Он выпучился:

— Правда? Ну да, ты ж у нее была любимица.

— Не пойму, почему ты так упорно это твердишь, — раздраженно сказала я. — Если у матери и была любимица, то не я, Ренетт. Помнишь, как...

— Она сама мне говорила, — сказал Кассис. — Сказала, что из нас троих только ты одна с мозгами, только ты чего-то стоишь. «В этой маленькой хитрой мерзавке раз в десять больше от меня, чем в вас двоих, вместе взятых». Так она сказала.

Похоже на нее. В его словах прозвучал ее голос, зримый и острый, как стекло. Видно, она на него тогда разозлилась и, как водится, разоралась. Лупила она нас редко, но язык у нее был, боже упаси!

Кассис повел бровями.

— Да, вот так она припечатала, — тихо сказал он. — Сухо, едко, со странным выражением, будто меня испытывала. Как будто ждала, что я на это скажу.

— Ну а ты?

Он пожал плечами:

— Понятно, разревелся. Мне и десяти тогда не было.

Разревелся, ясное дело. В этом весь Кассис. С виду — храбрый, внутри гниловатый. Он регулярно сбегал из дома, спал в лесу под открытым небом или шалаш на дереве устраивал, знал, что мать его пальцем не тронет. Втайне она поощряла его выходки, они казались ей проявлением непокорности, своеволия. Я бы не заревела, я бы плюнула ей в лицо.

— Скажи, Кассис, — мысль возникла внезапно, у меня даже невольно захватило дух, — мать... Не помнишь, говорила она по-итальянски? Или по-португальски? На каком-нибудь другом языке?

Кассис озадаченно покачал головой.

— Ты уверен? Там в альбоме...

И я рассказала ему про страницы на непонятном языке, тайные страницы, которые у меня никак не получалось расшифровать.

— Покажи-ка.

Мы вместе стали листать альбом, Кассис переворачивал ссохшиеся желтые листки без особого трепета. Я отметила, что записей пальцами он не касался, но то и дело поглаживал фотографии, засушенные цветки, крылья бабочек, кусочки ткани, приклеенные к страницам.

— Боже ты мой, — произнес он еле слышно. — Я и не подозревал, что у нее может оказаться что-то подобное. — Он поднял на меня глаза. — А говоришь, ты не любимица.

Его больше всего заинтересовали рецепты. Казалось, пальцы, листая страницы, вновь обрели прежнюю ловкость.

— Tarte mirabelle aux amandes,^[36] — шептал он. — Tourteau fromagé.^[37] Clafoutis aux cerises rouges.^[38] Я помню это, помню! — Голос его внезапно зазвучал молодо, как у прежнего Кассиса. — Здесь все, — сказал он тихо. — Все.

Я показала ему непонятные записи.

Кассис взгляделся хорошенько и вдруг рассмеялся.

— Какой же это итальянский! Разве ты не помнишь, что это?

Видно, здорово смешно ему показалось, он прямо трясся в хриплом хохоте. Даже уши, отвислые стариковские уши, дрожали у него, как

поганки.

— Этот язык отец придумал. Он его звал «нелини-былини». Не помнишь? Вечно на нем разговаривал.

Я силилась вспомнить. Мне было семь, когда он погиб. Хотя что-то должно было остаться, говорила я себе. Но осталось так мало. Все кануло в бездонную, жадную глотку пустоты. Если я и помню отца, то только моментами. Помню, как пахло молью и табаком его большое старое пальто. Помню иерусалимские артишоки, которые только он и любил и которые все мы должны были есть раз в неделю. Помню, как я однажды всадила себе в ладошку рыболовный крючок, между большим и указательным пальцем, помню его руки, обхватившие меня, его голос: «Не дрейфь!» Помню его лицо по фотографиям, всегда коричневатого-желтым. Из темных глубин памяти подплывает что-то далекое. Отец, смеясь, бормочет непонятное, Кассис хохочет, я хохочу, не вполне соображая, что тут смешного, мать на сей раз где-то далеко, достаточно далеко, нас не слышит, — видно, у нее очередной приступ головной боли, наш неожиданный праздник.

— Что-то припоминаю, — проговорила я наконец.

И Кассис мне все объяснил. Язык перевернутых слогов, переименованных слов, дурацкие приставки и суффиксы. «Яни учохини нитьясобини» — Я хочу объяснить. «Кольтони нени заюн мукони» — Только не знаю кому.

Удивительно, но Кассиса, похоже, таинственные записи матери оставили равнодушным. Он не сводил глаз с рецептов. Остального как бы не существовало. Рецепты были для него понятны, притягательны, знакомы на вкус. Я чувствовала, что ему не по себе оттого, что я рядом, что его пугает мое сходство с матерью.

— Вот бы Яннику на эти рецепты взглянуть, — вздохнул он.

— Не вздумай ему сказать! — отрезала я.

Я уже начала смекать, что такое Янник. Чем меньше будет знать, тем лучше. Кассис повел плечами:

— Нет, что ты! Обещаю.

И я ему поверила. Чем доказала, что вовсе не так похожа на мать, как он утверждал. Я поверила ему — прости, Господи! — и сначала мне казалось, что он свое обещание держит. Янник с Лорой ко мне не совались, «Мамуся Фрамбуаз» больше не возникала, а лето перекатилось в осень, притащившую за собой шуршащий состав из сухих листьев.

«Янник сказал, что видал сегодня Матерую», — пишет она.

Вернулся бегом домой с реки, ошалев от страха, бормочет что-то. Сломая голову бежал, даже рыбу свою позабыл, ну а я его отчитала, что угробил время зря. Глядит на меня так грустно и виновато, будто что сказать хочет, а не может. Может, это у него со стыда. А во мне так ничего внутри и не шелохнется, окаменело. Сказать что-то надо, а что — не знаю. Все твердят, увидишь Матерую — жди беды, да у нас бед и так полно. Может, потому я такая, какая есть.

Я не спешила вчитываться в материнский альбом. Отчасти, наверно, из страха наткнуться на такое, что не хотелось бы вспоминать. Отчасти потому, что рассказывалось там сбивчиво, ход событий перетасован намеренно и со знанием дела, будто умелым карточным фокусником. Я едва помнила тот день, который описывала мать, хотя позже он являлся мне во сне. Она, хоть и выводила старательно, но писала так мелко, что если я долго засиживалась над альбомом, у меня буквально раскалывалась голова. В этом я тоже пошла в нее. Отчетливо помню ее головные боли, которым часто предшествовали, как выражался Кассис, «выкрутасы». Говорил, что после моего рождения боли у нее стали сильнее. Он из нас самый старший, потому он помнит, какая она раньше была.

Под рецептом душистого сидра у матери написано:

Я еще помню, как это, когда все светло. Когда ничто не расколосось. Так длилось какое-то время, пока не родился К. Пытаюсь вспомнить, как это — ранняя молодость. Твержу себе, не надо было уезжать. Не надо было возвращаться в Ле-Лавёз. Я пытаюсь помочь. Но прежней любви уже нет. Теперь он меня побаивается, мало ли что можно от меня ожидать. Ему. Детям. Нет сладости в страдании, что бы ни говорили люди. Оно под конец съедает все. Я не уходят ради детей. Я должна быть ему благодарна. Вполне мог бы уйти, никто бы его не осудил. Ведь он родом из этих мест.

Она никогда и никому не жаловалась, терпела свою боль, пока хватало сил, потом отлеживалась у себя в комнате за закрытыми ставнями, а мы все в доме ступали тихо, крадучись, как кошки. Примерно раз в полгода на нее обрушивался прямо-таки сокрушительный приступ, после чего мать не

могла оправиться несколько дней. Однажды, когда я еще была совсем кроха, она, идя от колодца к дому, потеряла сознание и рухнула ничком прямо на ведро, вода выплеснулась на пересохшую дорожку, соломенная шляпа съехала набок, рот открыт, остекленевший взгляд. Я одна собирала в огороде зелень. Сперва я решила, что мать умерла. Она лежала не двигаясь, рот зиял черной дырой на обтянутом желтой кожей лице. Шарик зрачков застыли. Я поставила корзинку и медленно-медленно пошла к ней.

Я шла, легонько спотыкаясь. Дорожка странно уплывала из-под ног, будто я нацепила чужие очки. Мать лежала на боку. Одна нога откинута в сторону, черная юбка слегка задралась, приоткрыв ногу в носке и ботинке. Рот алчно раскрыт. Я не чувствовала ни малейшей тревоги.

Она умерла, сказала я себе. И внахлест с этой мыслью явилось странное и настолько мощное чувство, что на мгновение я растерялась. Яркий и стремительный, как хвост кометы, восторг обжег под мышками, перевернулся в животе, как блин на сковородке. Ужас, горе, смущение — их в себе я, на удивление, не испытывала. Вместо этого в голове жарко полыхнуло злорадным фейерверком. Я тупо смотрела на распростертое тело матери с облегчением, надеждой и отвратительной, гнусной радостью.

Тот сладкий сок...
Внутри, как лед,
как камень.

Вижу, вижу. Я и не надеюсь, что вы поймете то мое состояние. Мне самой кажется оно чудовищным, когда я вспоминаю, и я спрашиваю себя, не очередной ли это обман памяти. Конечно, я тогда, скорее всего, испытала шок. От шока с человеком происходит что-то необъяснимое. Особенно с детьми. В первую очередь с детьми, с зашоренными детьми, с варварами в душе, какими мы были тогда. В своем замкнутом, безумном мире между Наблюдательным Пунктом и рекой, где Стоячие Камни высились дозором над нашими тайными обрядами. Но я действительно испытывала радость.

Я стояла над матерью. Мертвые глаза смотрели на меня не мигая. Я раздумывала, не прикрыть ли их. Было что-то пугающее в этом округло-рыбьем взгляде, как у Матерой в тот день, когда я наконец прибила ее к столбу. На губах поблескивала ниточкой слюна. Я придвинулась ближе.

Ее рука дернулась, ухватила меня за лодыжку. Не мертвая, нет; выжидает, глаза горят зло, осмысленно. Губы болезненно напряглись, возникли слова, четкие и ясные, как стекло. Я зажмурилась, чтоб не закричать.

— Слушай... Принеси мою палку. — Голос резкий, металлический. — Давай. В кухне. Быстро.

Я, остолбенев, смотрела на нее, ее рука по-прежнему сжимала мою лодыжку.

— Поняла утром: накатывает, — роняла она плоско слова. — Знала: крепко прихватит. Увидела половину циферблата. Апельсином запахло. Палку неси. Помоги.

— Я думала, ты умрешь. — Мой голос, как и ее, прозвучал жутковато. — Думала, ты умерла.

Уголок рта дернулся, она издала тихий кричающий звук, в котором я угадала смех. С этим звуком в ушах я понеслась в кухню, отыскивала палку — тяжелый костыль из переплетшихся ветвей боярышника, она им подцепляла высокие ветки плодовых деревьев, — принесла матери. Она уже привстала на колени, упираясь в землю ладонями. Время от времени резко, нетерпеливо встряхивала головой, будто отгоняла ос.

— Ладно. — Голос был вязкий, как будто у нее рот полон глины. — Теперь уйди. Скажи отцу. Я... я... к себе пойду.

И диким рывком с помощью палки поднявшись на ноги, она, качаясь и из последних сил стараясь держаться прямо, рывкнула:

— Кому сказала — вон пошла!

И опираясь на палку, неуклюже стукнула меня рукой плашмя, чуть при этом не упав. Я кинулась бежать и обернулась только тогда, когда унеслась подальше от ее ярости, нырнула под кусты красной смородины и смотрела, как мать ковыляет к дому, петляя ногами по пыльной дорожке.

Это было мое первое памятное столкновение с недугом моей матери. Потом, когда она лежала в темноте, отец объяснил, при чем тут часы и апельсины. Из его рассказа мы мало что поняли. У матери, терпеливо разъяснял он, случаются сильные приступы и так нестерпимо временами болит голова, что, бывает, она сама не ведает, что творит. Знаете, что такое солнечный удар? Все как в тумане, как будто не с тобой, предметы надвигаются, звуки становятся громче. Мы непонимающе уставились на отца. Только, наверно, девятилетний Кассис, который был старше меня на целых четыре года, что-то понял.

— Натворит чего-нибудь, — рассказывал отец, — а после не помнит, как и что. И все от этих сильных приступов.

Притихнув, мы во все глаза глядели на отца. Сильные приступы.

В моем детском сознании эти слова слились со сказками про злых ведьм. Про пряничный домик. Диких лебедей. Я представляла себе, как мать лежит там в темноте с открытыми глазами и странные слова ужами

сползают у нее с губ. Мне казалось, будто она видит сквозь стену, будто видит меня, видит насквозь и исходит при этом леденящим душу, зловещим хохотом. Бывало, отец, когда на мать нападали сильные приступы, спал в кухне на стуле. А раз утром мы проснулись и увидели, что он стоит нагнувшись под кухонным краном, а вода вся красная от крови. Сказал — ушиб голову. По-дурацки, нечаянно. Но у меня до сих пор перед глазами блеск алой крови на чистой плитке пола. На столе валялось полено. На нем тоже была кровь.

— А нас она не прибьет, а, пап?

Мгновение он смотрел на меня. Секунды две, не больше. По его глазам я поняла: прикидывал, что можно сказать, что нельзя.

Отец улыбнулся.

— Ну что ты, маленькая! — «Вот глупышка!» — говорила улыбка. — Да ни за что на свете!

И он обхватил меня обеими руками, и я почувствовала запах табака, и моли, и сладкий запах застарелого пота. Но никогда не забуду его замешательство, его оценивающий взгляд. Отец молчал и взвешивал. Соображал про себя, много ли можно нам раскрыть. Возможно, рассудил, что спешить некуда, будет время: еще успеет рассказать, объяснить, когда мы подрастем.

Потом, на следующую ночь, я слышала, как из родительской спальни доносятся крики, звон разбитого стекла. Проснувшись рано утром, я обнаружила, что отец всю ночь провел в кухне. Мать проснулась поздно, но в веселом — насколько ей было свойственно — настроении, напевала что-то непонятное себе под нос, помешивая зеленые помидоры в круглой медной сковородке; вынула из фартучного кармана, протянула мне пригоршню желтых слив. Смутившись, я спросила, не стало ли ей лучше. Она непонимающе взглянула; лицо белое, без выражения, как чистая тарелка. Пробравшись потом в ее комнату, Я видала, как отец заклеивает воценой бумагой разбитое окно. Под ногами валялись осколки оконного стекла и еще от каминных часов, которые лежали опрокинутые на дощатом полу.

Красный мазок алел на обоях, прямо над изголовьем, я с каким-то непонятным восторгом глядела на него, не отрываясь. Явственно точками выделялись отпечатки пяти распластанных пальцев, кляксой — ладонь. Когда я заглянула в комнату через пару часов, стенка была оттерта дочиста, вокруг все было прибрано. Ни мать, ни отец ни словом не обмолвились о том, что произошло, как будто ничего и не было. Но после этого случая отец велел нам запирать на ночь дверь в детскую и плотно задраивал

ставни, словно опасался, будто что-то может к нам вломиться.

7.

Когда погиб отец, всерьез я не переживала. Ища в себе печаль, лишь натыкалась внутри на что-то твердое, как вишневая косточка. Пыталась внушить себе, что никогда больше не увижу его лица, но его черты уже и без того стерлись в памяти. Он стал для меня чем-то наподобие иконы, как пластмассовая фигурка закатившего к небу глаза святого; на кителе ярко сияли пуговицы. Пыталась представить его то мертвым на поле битвы, то среди останков в общей могиле, то в момент, когда осколки разорвавшейся мины бьют его прямо в лицо. Воображала всякие ужасы, но они, как ночные кошмары, не были натуральными. Кассис переживал острее. Узнав о смерти отца, он сбежал из дома и через два дня вернулся измученный, голодный, весь вспухший от комариных укусов. Видно, спал под открытым небом где-то на том берегу Луары, там леса уходят в болота. Кажется, у него возникла шальная мысль пойти воевать, но он не дошел, заблудился, часами кружил по лесу, пока снова не вышел к Луаре. Пытался что-то насочинять, выдумывал всякие приключения, но меня не проведешь.

После того он стал драться с мальчишками и частенько являлся домой в разорванной одежде и с запекшейся под ногтями кровью. Часами бродил по лесу один. По отцу он слезы не лил, это было ниже его достоинства, даже взъелся на Филиппа Уриа, когда тот попытался сказать ему что-то утешительное. Ренетт же, напротив, похоже, нравилось, что со смертью отца она оказалась в центре всеобщего внимания. Ее везде приглашали, дарили подарки, гладили по головке, когда встречали в деревне. В деревенском кафе наше — и нашей матери — будущее обсуждалось вполголоса, участливо. Сестра умела в нужный момент пускать слезу, научилась сиротски-бодренько улыбаться, за что имела дары и репутацию самого чувствительного существа во всем нашем семействе.

После смерти отца мать о нем никогда не вспоминала. Как будто отец никогда с нами и не жил. Хозяйство управлялось и без него, даже с большим успехом, чем при нем. Мы выкопали несколько грядок иерусалимских артишоков, которые, кроме него, никто не любил, вместо них посадили спаржу и лиловую брокколи, и они покачивались, перешептываясь с ветром. Мне стали сниться дурные сны, например: будто я лежу под землей, гнию и задыхаюсь от запаха собственной гнили. Или: тону в Луаре и чувствую, как тина с речного дна наползает на мое

утопленное тело, я тяну руки за помощью, но оказывается — вокруг меня сотни других мертвецов; они, плавно качаемые подводным течением, плывут, наталкиваясь друг на дружку, кто целый, кто в кусках, стертые лица, кривая ухмылка перекошенных челюстей, мертвые закатившиеся белки застыли в зазывном приветствии. После этих снов я просыпалась в холодном поту, с криком, но мать ни разу ко мне не подошла. Вместо нее подходили Кассис и Рен-Клод, когда в сердцах, когда с лаской. Иногда ущипнут, пригрозят раздраженным шепотом. Иногда возьмут на руки, станут укачивать, чтоб я снова уснула. Бывало, Кассис рассказывал лунными ночами всякие истории, и мы с Рен-Клод слушали с раскрытым ртом. Это были сказки про великанов и ведьм, про розы, пожиравшие людей, про горы, про драконов, принимавших людской облик. Да, в те годы Кассис был отменный рассказчик, и хоть, случалось, он вредничал и частенько издевался над моими ночными кошмарами, я до сих пор помню и его истории, и его горящие глаза.

8.

После смерти отца мы мало-помалу научились, как и он, угадывать начало сильных приступов нашей матери. Когда на нее находило, она начинала как-то странно говорить, и видно, у нее ломило виски, потому что она часто и нетерпеливо подергивала головой. Бывало, потянется за чем-то — за ложкой или за ножом — и промахнется, хлопает слепо рукой по столу или краю умывальника, никак не нащупает. Или спросит: «Который час?» — даже если огромные круглые кухонные часы прямо у нее перед глазами. И как всегда в такие моменты — один и тот же резкий, подозрительный вопрос: «Что, кто-то в дом апельсин приволок?»

Мы молча мотали головой. Апельсины были редкостью; отведать их нам удавалось нечасто. Иногда их продавали на рынке в Анже — пухлые, испанские, с толстой бугристой кожурой или красноватые, южные, с более тонкой шкуркой, разрежешь — обнажится лиловатая, с содранной пленкой мякоть. Мать всегда шарахалась от этих лотков, будто от одного вида апельсина ее тошнило. Раз, когда одна сердобольная торговка дала нам на всех один апельсин, мать не пустила нас в дом, пока мы тщательно не вымыли руки и рот, не выскребли под ногтями и не протерли кисти лимонным бальзамом с лавандой. Даже и после этого она утверждала, будто от нас несет апельсинным маслом, и два дня держала окна раскрытыми, чтобы запах окончательно выветрился. Конечно же, при

подходе сильных приступов апельсины ей просто чудились. Запах апельсина вызывал у матери мигрень, и она целыми часами лежала в темноте, положив на лицо платок, смоченный лавандовым маслом, держа под боком спасительные таблетки. Как я узнала впоследствии, это был морфий.

Мать никогда ничего не объясняла. Все нужное мы узнавали из собственных наблюдений. Почувствовав приближение приступа мигрени, она просто без всяких объяснений уходила к себе в комнату, предоставляя нас самим себе. Вот и выходило, что для нас ее приступы были сущим праздником — растягивавшимся от двух часов до целого дня, а то и двух, — и мы были вольны и свободны как птицы. Для нас это были самые расчудесные дни, и ужасно хотелось, чтобы можно было так жить целую вечность: купаться в Луаре или ловить раков на мелководе, бродить по лесу, до одури наедаться вишнями, сливами или незрелым крыжовником, устраивать битвы, пуляя друг в дружку картошкой, и увешивать Стоячие Камни трофеями наших смелых вылазок.

Стоячие Камни было то, что осталось от старого мола, уже с давних пор снесенного течением. Из воды торчали пять каменных столбов, четыре длинных, один короткий. Сбоку у каждого был крюк, капавший ржавыми слезами на изъеденный водой камень, в том месте, где раньше крепились доски. Именно на эти крюки мы подвешивали свои трофеи — дикарские гирлянды из рыбьих голов и цветов и еще всякие секретные знаки, составленные из волшебных камешков и выуженных из воды фигурных деревяшек. Последний столб глубоко утопал в воде в том месте, где течение было особенно быстрым, и именно там мы прятали свой Сундук Сокровищ. Это была завернутая в клеенку консервная банка с цепью в качестве грузила. К цепи была привязана веревка, в свою очередь обвязанная вокруг столба, который мы окрестили Сокровищным. Чтобы достать наши сокровища, надо было сперва проплыть до последнего столба — что требовало определенной сноровки, — затем, одной рукой держась за столб, вытянуть из воды утопленный Сундук Сокровищ, снять с цепи и с ним плыть обратно к берегу. Считалось, что только Кассис был на такое способен. Наше «сокровище» в целом состояло из предметов, на которые не позарился бы ни один взрослый. Игрушечные пистолеты, жвачка, для сохранности завернутая в воценую бумажку, ячменный леденец на палочке, пара-тройка сигарет, медяшки в потрепанном кошельке, фотографии артисток — последние, как и сигареты, принадлежали Кассису — и несколько журналов в яркой обложке, в основном бульварного свойства.

Иногда с нами, как выражался Кассис, «на промысел» ходил и Поль Уриа, но целиком в наши тайны мы его не посвящали. Мне Поль нравился. Его отец торговал рыболовными принадлежностями на анжейском шоссе; мать, чтоб свести концы с концами, чинила людям одежду. Он был единственным ребенком у родителей, которым годился скорее во внуки, и в основном жил сам по себе, обособленно от них. Мне о такой жизни можно было только мечтать. Летом он все ночи напролет шатался по лесам, и родителей это нисколько не волновало. Умел отыскивать грибницы в лесу и делать свистульки из ивовых веток. Руки у него были умелые, проворные; правда, говорил он медленно и с запинкой, а в присутствии взрослых даже немного заикался. Хоть был с Кассисом почти одних лет, в школу Поль не ходил, зато помогал дядьке на ферме, доил коров, гнал пастись, пригонял домой. И ко мне относился терпимо, не в пример Кассису, никогда не смеялся над моим невежеством, не презирал за то, что еще маленькая. Понятно, теперь он уже старый. Но иногда мне кажется, что из нас четверых он-то как раз постарел в самую последнюю очередь.

Часть вторая

запретный плод

1.

Уже с начала июня лето обещало быть жарким, Луара текла низко в своих берегах, угрожая пльвунами и оползнями. К тому же и змей развелось больше обычного, бурые, с плоской головкой гадюки вились в прохладном иле мелководья. Одна такая покусала Жаннетт Годэн, когда она в жаркий день шлепала там босиком. Жаннетт похоронили прямо у церкви Святого Бенедикта, сверху небольшой крест и ангел. «Незабвенной доченьке... 1934–1942». Я была старше ее на три месяца.

Внезапно будто бездна разверзлась передо мной глубокой огнедышащей дырой, гигантским ртом. Если Жаннетт могла умереть, значит, могу и я. И каждый. Кассис презрительно косился на меня с высоты своих тринадцати лет:

— Ты, дурочка, решила, только на войне погибают? Дети тоже мрут. Все время люди мрут.

Я пыталась это как-то объяснить и обнаружила, что ничего не получается. Когда умирают солдаты — как мой отец — это одно. Даже простые люди погибали во время налетов, хотя в Ле-Лавёз их почти не случалось. Но это совсем не то. Мои ночные кошмары ужесточились. Часами я с сетью торчала на реке, вылавливала с мелей ненавистных бурых змей, мозжила камнем плоские головки с умными глазками, подвешивала трупики на выпиравшие из берега корни. За неделю штук двадцать, а то и больше дохлых змей свисали, раскачиваясь, с прибрежных корней, и вонь — со сладковатой рыбной отдушкой, тухлая, отвратительная, — становилась уже нестерпимой. Кассис с Ренетт еще торчали в школе — они оба ходили в college в Анже, — только Поль и мог застать меня у реки: с носом, зажатым бельевой прищепкой, чтоб не чуют вонь, я отчаянно взбаламучивала сетью грязную жижу по краю.

Он был в коротких штанах и сандалетах, держал на веревочном поводке собаку по кличке Малабар.

Едва удостоив его взглядом, я опять склонилась над водой. Поль присел

рядом, а Малабар с высунутым языком плюхнулся посреди тропинки. Я проигнорировала обоих. Наконец Поль спросил:

— Т-ты чего?

Я отмахнулась:

— Ничего. Ловлю, и все. Снова молчание.

— З-змей, что ли?

Сказал нарочито равнодушно. Я кивнула, с вызовом спросила:

— А что?

— Да ничего. — Поль похлопал Малабара по загривку. — Твое дело.

Пауза мелькнула между нами юркой змейкой.

— Интересно, больно это или нет, — вырвалось у меня.

Он помолчал, будто соображая, о чем я; покачал головой:

— Не знаю.

— Говорят, яд попадает в кровь, и внутри все немеет. Вроде засыпаешь.

Поль поглядел на меня без особого выражения, не говоря ни «да», ни «нет».

— К-кассис сказал, видно, Жаннетт Годэн Матерую увидела, — сказал он, помолчав. — Ну и вот. Потому змея ее и у-ужалила. Проклятие Матерой.

Я замотала головой. Кассис, страстный любитель травить байки и почитатель дешевого приключенческого чтива с броскими заголовками типа «Проклятие мумии» или «Полчища варваров», вечно выдумывал что-нибудь эдакое.

— По-моему, никакой Матерой на свете нет, — заявила я презрительно. — Я, например, никогда ее не видела. И потом: проклятий не существует. Это всем известно.

Поль грустно взглянул на меня.

— Ясное дело, есть, — убежденно сказал он. — Она там, в глубине, это точно. О-отец однажды ее видал, еще до того, как я родился. З-здоровущая щука, каких свет не видывал. Через неделю отец ногу сломал, с велосипеда с-свалился. Да и твой, к-когда...

Он осекся, потупился, внезапно смешавшись.

— Ничего подобного, — отрезала я. — Моего отца убили на войне.

Немедленно перед глазами встала картина: отец шагает, маленькая фигурка в бесконечной шеренге, неумоимо движущейся к распаханному горизонту.

Поль покачал головой и упрямо повторил:

— Она там! В Луаре, в самой глубине. Ей, может, лет сорок, а может, все пятьдесят. Щуки, если старые, долго живут. Чернущая, как тот ил, в

котором прячется. И хи-итрая-прехитрая. Птицу в момент на воде хватает, как хлеба кусок. Отец говорит, будто она не щука вовсе, а дух-убийца, проклятый и осужденный вечно за живыми поглядывать. Потому она нас и ненавидит.

Поль необычно много говорил, и я вопреки себе самой слушала его с интересом. О реке рассказывалось множество легенд и всяких бабушкиных сказок, но история про Матерую оказалась самой впечатляющей. Легенда о гигантской щуке с губой, утыканной бесчисленными крючками рыболовов, отчаянно пытавшихся ее изловить. О рыбине со злыми умными глазами. Таящей в своей утробе неведомые бесценные сокровища.

— Отец говорит: если кто ее поймает, тому она дает загадать желание, — продолжал Поль. — Сказал, он бы ей загадал миллион франков и еще заглянуть к Грете Гарбо под юбку. — Поль боязливо хмыкнул. «Тебе этого пока не понять», — говорила его ухмылка.

Его рассказ запал мне в душу. И хоть я твердила себе, что проклятий и бесплатного исполнения желаний не бывает, старая щука не выходила у меня из головы.

— Если она там, значит, можно ее поймать, — резко сказала я. — Река-то наша. Возьмем и поймаем.

Внезапно все четко встало на свои места: мы не просто можем, мы обязаны это сделать. Вспомнились сны, изводившие меня после гибели отца: как я тону, слепо вертясь в черном потоке вздувшейся Луары, липкое присутствие утопленников вокруг, как я кричу и чувствую, что крик застрял в горле, как сам он тонет внутри меня. Внезапно эта щука почему-то вобрала в себя все мои несчастья, и хотя в тот момент я не могла еще разобрать, что откуда взялось, глубоко во мне зародилась странная убежденность, твердая уверенность: если поймаю Матерую, что-то непременно произойдет. Что именно, я четко сказать не могла, даже самой себе. Но с нарастающим непонятным возбуждением я чувствовала: случится. Что-то. Поль в замешательстве уставился на меня.

— Поймаем? — повторил он. — Зачем?

— Это наша река, — упрямо сказала я. — Ей не место в нашей реке.

Это значило: щука самим фактом своего существования уязвила меня, непонятно и глубоко, и гораздо сильнее, чем гадюки: своим коварством, своим долголетием, своим черным самодовольством.

— К тому ж тебе ее не поймать, — продолжал Поль. — Ведь многие пытались. Постарше тебя. И на удочку, и сетью. Сети она прокусывает. А удочка... эту ломает прямо напополам. Сильнющая потому что. Посильней любого из нас.

— Не может этого быть, — не унималась я. — Мы ее в ловушку заманим.

— Чтоб Матерую перехитрить, надо прямо как черт исхитриться, — невозмутимо сказал Поль.

— Хитрая, говоришь? — Я распалилась не на шутку, повернулась к нему, кулаки сжаты, скулы свело от отчаяния. — Ну так мы ее перехитрим! Кассис, я, Ренетт, ты. Вчетвером. Если, конечно, ты не трусишь.

— Не т-трушу я, только н-не выйдем.

Поль снова стал заикаться, как всегда бывало, когда на него наседали.

— Ладно, — сказала я, буравя его взглядом. — Если ты не поможешь, справлюсь сама. Сама поймаю старую щуку. Вот увидишь.

Почему-то защипало в глазах, я с силой потерла их тыльной стороной ладони. И тут увидела, что Поль глядит на меня с любопытством, хотя ничего он мне не сказал. Я со злостью шваркнула сетью по нагретому мелководью.

— Подумаешь, какая-то старая рыбина! — Шварк еще раз. — Поймаю и подвешу на Стоячем Камне. — Шварк. — Вон там! — Сетью, истекавшей водой, я ткнула в сторону камней. — Прямо вон там, — повторила я тихо и смачно плюнула в доказательство, что я вовсе не шучу.

2.

В тот знойный месяц матери постоянно чудился запах апельсинов. По крайней мере раз в неделю; правда, сильные приступы случались не всегда. Пока Кассис с Ренетт были в школе, я бегала к реке обычно одна, но иногда и вместе с Полем, если тому удавалось отделаться от своей работы на ферме.

Я вступила в трудный возраст и в основном, все эти долгие летние дни лишенная окружения ровесников, вела себя вызывающе, нагло, сбегала из дома, когда мать приказывала что-нибудь сделать по хозяйству, к обеду не являлась, домой приходила поздно, грязная, вся в желтом речном песке, с растрепанными, липкими от пота волосами. Я сызмальства была ершиста, но в то девятое от рождения лето просто как с цепи сорвалась.

Мы с матерью, точно кошки, защищающие свою территорию от посягательств, настороженно ходили кругами друг возле дружки. Любое движение могло, как искра, вызвать взрыв. Любое слово несло в себе желчь, любой разговор превращался в минное поле. За столом мы сидели лицом к лицу, нахохлившись над тарелкой супа и блинчиками. Кассис с

Рен, как встревоженные царедворцы, молча и боязливо посматривали на нас со стороны.

Отчего мы с ней так вздыбились друг против дружки, трудно сказать; может, просто потому, что у меня начался переходный возраст. Я подросла, и теперь женщина, внушавшая мне в раннем детстве трепет, мне уже не была страшна. Я увидела седину у нее в волосах, увидела морщины, скобками обрामившие рот. Теперь, уже немного свысока, я смотрела на мать как на обыкновенную стареющую женщину, которая, преследуемая сильными приступами, беспомощно прячется у себя в комнате.

А мать вечно ко мне цеплялась. Назло, считала я. Теперь думаю, что, может быть, просто не могла сдержаться, так уж ей, бедной, на роду было написано ко мне цепляться, как и мне — ей не уступать. В то лето буквально стоило ей раскрыть рот, как она принималась меня распекать. Не так повернулась, не то надела, не так взглянула, не то брякнула. Буквально все ее во мне раздражало. Неряха, комом кидаю одежду у кровати, когда ложусь спать. Сутулая — того и гляди, горб на спине вырастет. Обжора, только и знаю, что в саду рот чем-нибудь набиваю. Или наоборот — ничего не ем, значит, вырасту тощей и дохлой. И почему я не такая, как Рен-Клод! Сестра в свои двенадцать уже вполне расцвела. Нежная, сладкая, точно дикий мед, глаза янтарные, волосы пылают красками осени, я смотрела на нее, как на любимую героиню сказок, как на богиню с экрана. Когда мы были маленькие, она позволяла мне заплетать ей косы, я вплетала цветы и ягоды, обвивала ей голову вьюнком, и Рен становилась похожей на лесную фею. Теперь в ее фигуре, в ее уступчивой мягкости появилось что-то девичье. Рядом с ней я как лягушка, говорила моя мать, безобразный тощий лягушонок: большеротая, со вздутыми губами, рукастая, голенастая.

Особенно мне запомнилась одна стычка за ужином. На ужин у нас были рауриетты — такие перевязанные ниткой корнеттики из телятины с рубленой свининой, которые тушатся с белым вином в соусе из моркови, лука-шалота и помидоров. Я с надутым видом уставилась в тарелку. Ренетт с Кассисом сидели себе, стараясь ничего не замечать.

Обозленная моим молчанием, мать сжала кулаки. После смерти отца некому было ее осаживать, злость вечно клокотала в ней, готовая в любой момент прорваться наружу. Лупила она нас редко — что для того времени было довольно странно, почти невероятно, — впрочем, подозреваю, не от обилия материнской любви. Скорее, боялась: если начнет, уже не сможет остановиться.

— Да не горбись ты, чтоб тебя! — Голос едкий, как незрелый крыжовник. — Говорила, будешь горбиться, на всю жизнь горбатой

останешься.

Я глянула на нее с вызовом и плюхнула локти на стол.

— Локти со стола! — чуть ли не взвыла мать. — Вон как сестра твоя сидит! Видишь? Не горбится, не бычится, как угрюмый бирюк!

Против Ренетт я ничего не имела. Меня бесила мать, и я демонстрировала это всем своим видом с изощренностью, присущей моему возрасту. Я сама подкидывала матери всевозможные поводы, чтоб ко мне цепляться. Она хотела, чтоб выстиранное белье подвешивалось на веревку за нижнюю кромку, я подвешивала за воротничок. Ярлыки на банках в кладовке должны были свисать спереди, я сдвигала их назад. Я забывала мыть руки перед едой. Развешивала кастрюльки на кухонной стене наоборот — от большей к меньшей. Распахивала кухонное окно во всю ширь, и если мать открывала дверь, от сквозняка оно с грохотом захлопывалось. Я ломала сотни установленных ею правил, и каждое нарушение неизменно вызывало в ней ярость и отчаяние. Она цеплялась за свои дурацкие правила, потому что с их помощью привыкла держать нас в узде. Без них она стала бы такой же, как и мы, осиротевшей, потерянной.

Конечно, тогда я этого не понимала.

— Упрямая маленькая мерзавка, больше ты никто! — сказала мать наконец, отодвигая от себя тарелку. — Упрямая, как козел. — Сказано было ни резко, ни мягко, как-то холодно, равнодушно. — Я такая же была. — Впервые она помянула свое детство: — В твои годы.

И улыбнулась натянуто, безрадостно. Невозможно было представить, что мать когда-то была маленькой. Я ткнула вилкой свою раupiette в застывшем соусе.

— И я вечно со всеми воевала, — продолжала мать. — Ни перед чем не остановлюсь, всех смету на пути, лишь бы настоять на своем. Победить. — И взглянула пристально, пытливо. Черные, как деготь, глаза так и впились в меня. — Всегда наперекор, вот ты какая. Только родилась, я сразу поняла, что из тебя выйдет. С тобой оно снова накатило, еще круче, чем прежде. Ты всю ночь орешь, не желаешь грудь брать, а я лежу не смыкая глаз за закрытыми дверями, а в голове будто канонада.

Я молчала. И тут мать усмехнулась, даже как-то весело, и принялась убирать со стола. С тех пор о нашей с ней войне она больше не заговаривала, хотя конца той войне было не видать.

Наблюдательным Пунктом звался большой вяз на нашем берегу Луары, накрененный к воде, с длинной гроздью перепутанных толстых корней, торчавших из ссохшейся земли. Взобраться на вяз, даже для меня, было проще простого, а с самого его верха было видно всю деревню Ле-Лавёз. Кассис с Полем соорудили среди кроны примитивную хижину — небольшой помост с кровлей из нависших ветвей, — но в этом обустроенном жилище только я обычно и торчала. Ренетт неохотно забиралась высоко, хотя подъем был облегчен веревкой с навязанными узлами, Кассис же теперь редко навещался туда, и я частенько заполучала этот приют в полное свое распоряжение. Я взбиралась наверх, чтоб поразмышлять и понаблюдать за дорогой, по которой иногда ездили немцы в джипах, но чаще на мотоциклах.

Немцев в Ле-Лавёз, понятно, мало что привлекало. Ни барачков, ни школы, ни общественных зданий, расположиться особо негде. Поэтому немцы обосновались в Анже, а по близлежащим деревням только изредка патрулировали, и если не считать проезжавших по дороге, то у немцев я видала только солдат, которые группами навещались каждую неделю реквизировать провиант с фермы Уриа. К нам на ферму заходили реже, ведь у нас не было коров, только несколько свиней да козы. Основным источником дохода для нас были фрукты, а те только начинали поспевать. Раз в месяц без большой охоты забредала и к нам пара солдат, но наши лучшие припасы были надежно припрятаны, а меня мать, когда являлись солдаты, неизменно отсылала в сад. Но все же, обосновавшись на Наблюдательном Пункте и ведя воображаемый обстрел пролетающих мимо джипов, я с интересом рассматривала серую военную форму. Особой враждебности к немцам я, как и прочие дети, не испытывала; это было чистое любопытство, а ругательства, которым мы выучились у родителей, — «грязные боши», «нацистские свиньи» — мы повторяли из врожденной привычки подражать взрослым. Я и понятия не имела, что происходит в оккупированной Франции, и смутно представляла себе, где находится город Берлин.

Однажды они явились, чтоб отобрать у Дени Годэна, деда Жаннетт, его скрипку. Назавтра мне все рассказала Жаннетт. Уже было темно, и ставни позакрывали, как вдруг кто-то постучал в дверь. Жаннетт открыла: перед ней стоял немецкий офицер. Вежливо, на ломаном французском он сказал деду:

— Мсье, я... знайт... вы иметь... скрипка. Мне... нужен ее.

Вроде бы у них там появилась идея создать военный оркестр. Ведь и немцам, понятно, надо было как-то развлекаться.

Старый Дени Годэн взглянул на немца и с улыбкой сказал:

— Скрипка, mein Negr, она как хорошая женщина. По рукам не ходит.

И осторожно прикрыл дверь. Сначала снаружи было тихо, немцы переваривали услышанное. Жаннетт ошарашенно глядела на деда. И вдруг они услышали, как немецкий офицер засмеялся, все время повторяя:

«Wie eine Frau! Wie eine Frau!»^[39]

Офицер больше не приходил, и скрипка у Дени еще долго хранилась, почти до самого конца войны.

4.

Внезапно в то лето немцы для меня отступили на второй план. Мои мысли и наяву, и во сне, похоже, были заняты только одним: как поймать Матерую. Я перебрала в уме весь рыболовный арсенал. И удочки для речных ужей, и плетеные ловушки для раков, и бредень, и обычные сети, и приманивание на живую наживку, и подкидывание приманки на воду. Пошла к Уриа и не отставала от него до тех пор, пока тот не выложил мне все, что знал, насчет наживки. Копала жирных червяков на прибрежных откосах, выучилась держать их во рту, чтоб были теплые. Ловила навозных мух, нанизывала, как причудливое ожерелье, на лески, ощеренные крючками. Делала из ивняка и ниток клетки, цепляла наживку из объедков. Достаточно потянуть за одну ниточку — и клеть мгновенно захлопывается, согнутая ветка под ней выстреливает вверх, увлекая за собой из воды немудреное устройство. Я перегораживала сетью неглубокие речные протоки с одного песчаного берега до другого. Расставляла на дальнем берегу воткнутые в песок удочки с шариками тухлого мяса. На них попадалось много всяких окуньков, уклеек, пескарей, миног и речных угрей. Некоторых я относила домой на еду и наблюдала, как мать их готовит. Кухня стала единственной нейтральной территорией во всем доме, местом краткой передышки в пору нашей тайной войны. Я стояла рядом с матерью, слушала ее тихое монотонное бормотанье, и вместе мы готовили ее bouillabaisse angevine — рыбу, тушенную с красным луком и тимьяном, — и окуня, запеченного в фольге с эстрагоном и лесными грибами. Часть своего улова я развешивала на Стоячих Камнях: яркие зловонные гирлянды — грозное предупреждение, вызов.

Но Матерая не объявлялась. По воскресеньям, когда у Рен с Кассисом не было занятий, я пыталась и их втравить в свой охотничий азарт. Но с того момента, как Рен-Клод тоже приняли в college, брат и сестра стали для

меня белой костью. Кассис был старше меня на пять лет, Рен — на три года. Хотя между ними разница как бы стиралась, и в своем ореоле взросления они стали так схожи между собой, оба загорелые, скуластые, что вполне могли бы сойти за близнецов. Они часто таинственно перешептывались, обменивались тихими смешками, упоминали новых, незнакомых мне людей, хохотали над только им понятными шутками. Сыпали неизвестными мне именами. Мсье Тупей, мадам Фруссин, мадемуазель Кюлур. Кассис выдумывал прозвища всем учителям, изображал, подражая их голосам, смешил Рен. Были имена, которые произносились шепотом, под покровом темноты, когда предполагалось, что я сплю, и принадлежали они, вероятно, совсем новым друзьям. Хейнеман. Лейбниц. Шварц. И смешок, сопровождавший эти чуть слышно произносимые имена, был непонятный, злорадный, надсадный, в нем сквозил привкус нечистой совести.

Имена были ни на что не похожи, чужие имена, и когда я спросила, Кассис с Рен-Клод только прыснули, а потом, взявшись за руки, унеслись от меня в глубину сада.

Непостижимость происходящего не на шутку меня задевала. Еще вчера мы были вместе, и вдруг брат с сестрой заимели от меня секреты. Вдруг наши общие игры показались им детскими. И Наблюдательный Пункт, и Стоячие Камни имели теперь смысл только для меня. Рен-Клод заявила, что изза змей боится ходить на рыбалку. И теперь торчала у себя в комнате, придумывала себе всякие невообразимые прически и вздыхала над фотографиями киноактрис. Кассис с вежливым равнодушием выслушивал мои горячечные идеи, затем под разными предложениями меня бросал: то ему надо упражнение написать, то выучить латинские глаголы для мсье Тубо. Брата с сестрой я пойму потом, когда подрасту. Они тогда изо всех сил старались от меня отделаться. Назначали встречи, на которые не являлись, отправляли меня в дальний конец Ле-Лавёз с непонятными поручениями, обещали, что придут к реке, а сами шли в лес, а я ждала, и в глазах закипали жгучие, злые слезы. Когда я их припирала к стенке, Кассис с Рен изображали святую невинность, лживо всплескивали руками: «Что ты говоришь! Неужели мы условились у старого вяза? А мы в полной уверенности, что у второго дуба!» Хихикали мне вслед, когда я поворачивалась к ним спиной.

На реку купаться они ходили редко. Рен-Клод ступала в воду боязливо, только там, где глубже и вода прозрачней, куда не суются змеи. Я, отчаянно стараясь привлечь их внимание, предпринимала головокружительные прыжки в воду с берега и держалась под водой так долго, что Рен-Клод

начинала вопить, что я утонула. Но брат с сестрой все дальше и дальше удалялись от меня, и я чувствовала себя брошенной.

Только Поль все это время меня не покидал. И хоть был старше Рен-Клод и почти ровесник Кассису, он казался моложе их, не таким образованным. В их присутствии молчал, улыбаясь вымученно, смущенно, когда те рассказывали про школу. Поль едва умел читать и писал крупно и коряво, совсем как маленький. Правда, он обожал всякие истории, и я читала ему их из журналов Кассиса, когда Поль приходил на Наблюдательный Пункт. Мы сидели на сбитых досках, он строгал своим ножичком какую-нибудь деревяшку, я читала вслух «Гробницу мумии» или «Нашествие марсиан»; между нами на доске лежала половина батона, от которого мы время от времени отрезали по ломтю. Иногда он приносил кусок *rillettes*, завернутый в плотную бумагу, или половинку камамбера. Я же на наше маленькое пиршество притаскивала пригоршню клубники в кармане или один из козьих сыров, обваленных в золе, которые моя мать звала *petits cendrés*.^[40] С Пункта мне были видны все мои сети и ловушки, я проверяла их каждый час, по необходимости подправляя наживку и убирая попавшуюся мелочь.

— Чего ты загадаешь ей, если поймашь?

Теперь уже Поль явно поверил, что я поймаю старую щуку, и в словах его слышался благоговейный страх.

Я задумалась.

— Не знаю. — Откусила хлеба с *rillettes*. — Что толку гадать, пока я ее не поймала. Поживем — увидим. Мне самой нужно было время, чтоб разобраться.

За эти три июльские недели мой энтузиазм нисколько не угас. Даже наоборот. А равнодушие Кассиса с Рен-Клод только распалало мое упрямство. Матерая стала моим сокровенным талисманом, черным, тайным талисманом, который, если сумею им овладеть, выправит все, что пошло вкривь и вкось.

Я им покажу. Вот поймаю Матерую, и все восхитятся моим подвигом. И Кассис, и Рен; интересно, какое будет у матери лицо; тогда уж она точно меня заметит, хоть и сожмет от злости кулаки... или улыбнется вдруг ласково, раскинет навстречу мне руки.

На этом мои фантазии кончались; на большее я не осмеливалась.

— И вообще, — бросила я нарочито равнодушно. — Уже ведь говорила. Что желания исполняются, я не верю.

Поль презрительно взглянул на меня.

— Не веришь в желания, — с нажимом произнес он, — тогда зачем тебе

все это надо?

— Не знаю, — не сразу ответила я, мотнув головой. — Может, просто для разнообразия.

— Ну ты даешь, Буаз! — сказал Поль, заливаясь смехом. — Только ты на такое способна. Ловить Матерую просто для разнообразия! Каково, а?

И он так расхохотался, что чуть было не скатился кубарем с настила, но тут привязанный внизу к стволу Малабар хрипло залаял, и мы оба затаились, чтоб никто не засек нашего тайника на дереве.

5.

Вскоре после этого разговора я обнаружила у Рен-Клод под матрасом помаду. Глупо было, ей-богу, туда прятать — там всякий ее мог обнаружить, даже мать, но Ренетт особой сообразительностью никогда не отличалась. Пришла моя очередь стелить постели, и эта штука, должно быть, выскочила снизу из-под подоткнутой простыни, я ее и увидела между краем матраса и доской кровати. Сначала не поняла, что такое. Мать никогда не красилась. Маленький золотой цилиндрик, вроде карандашного огрызка. Я потянула крышечку, та поддалась не сразу, с трудом открылась. Опасливо мазнула на руку, как вдруг сзади меня обожгло чье-то дыхание, и Ренетт с силой развернула меня за плечи. Лицо бледное, перекошенное.

— Отдай сейчас же! — прошипела она. — Это мое! Она рванула помаду у меня из рук, та упала на пол, закатилась под кровать. Пунцовая Ренетт тотчас пустилась за ней вдогонку.

— Откуда это у тебя? — с любопытством спросила я. — Мать знает?

— Не твое дело, — запыхавшись, сказала Ренетт, вылезая из-под кровати. — Как ты смеешь рыться в моих вещах? Если ты хоть единой душе пикнешь... Я усмехнулась:

— Могу не говорить. А могу и сказать! Там посмотрим.

Ренетт надвинулась на меня, но я уже вымахала с нее ростом, и сестра, хоть взвилась не на шутку, поняла, что лучше со мной не связываться.

— Не надо, не говори, — сказала она вкрадчиво. — Хочешь, я пойду с тобой сегодня на рыбалку? А можем взобраться на Наблюдательный Пункт, журналы почитать.

Я повела плечом:

— Можно. А где ты это взяла? Ренетт заглянула мне в глаза:

— Пообещай, что никому не скажешь!

— Обещаю. — Я плюнула себе в ладонь.

После некоторого раздумья она сделала то же. Мы скрепили нашу сделку обслонявленным рукопожатием.

— Ну ладно. — Ренетт уселась на краю кровати, поджав под себя ноги. — Это в школе, весной. Был у нас такой учитель латыни, мсье Тубо. Кассис зовет его мсье Тупей, потому что, кажется, он парик носит. Он постоянно к нам придирался. Это он заставил однажды весь класс простоять целый урок. У нас все его ненавидели.

— Это что, учитель тебе дал? — недоверчиво спросила я.

— Да нет же, дурочка. Слушай дальше. Так вот, боши заняли у нас коридоры среднего и нижнего этажа и классы, которые выходят во двор. В общем, расквартировались. И муштровку проводят.

Про это я знала. Старое школьное здание, расположенное вблизи от центра в Анже, с его просторными классными комнатами и закрытыми площадками для игр идеально подходило для этих целей. Кассис рассказывал, что немцы там проводят учения в серых тупорылых противогазах и что газеть не позволено, приказано на этот момент плотно закрывать ставни окон, выходящих во двор.

— Но некоторые у нас все же подглядывали, припадали глазом к щелке между ставнями, — говорила Ренетт. — На самом деле ничего особенного. Просто маршируют без конца взад-вперед и орут по-немецки. Не понимаю, что тут запретного.

Она презрительно усмехнулась.

— В общем, однажды старик Тупей нас за этим делом застукал. Прочел длинную лекцию — Кассису, мне и еще... а ладно, ты все равно их не знаешь. Сказал, что лишает нас положенного в четверг выходного. Надавал кучу всяких заданий по-латыни. — Она зло скривила губы: — Уж ему-то нечего из себя святого корчить. Сам за бошами подсматривал. — Она дернула плечиком и продолжала уже более весело: — Словом, нам после удалось ему отомстить. Старик Тупей живет при коллеже, его комнаты рядом с мальчишечьей спальней, и Кассис как-то раз, когда того не было, к нему зашел и — что бы ты думала?

Я повела плечами.

— У него там оказался приемник под кроватью. Ну, этот, длинноволновый. — Тут Ренетт, внезапно смешавшись, осеклась.

— Ну и?.. — Я смотрела на маленький золотой цилиндрик у нее в руках, пытаюсь обнаружить связь.

Ренетт улыбнулась до противности по-взрослому.

— Нам, понятно, не следует иметь дело с бошами, но нельзя же все время обходить их стороной, — заметила она важно. — Ведь же постоянно

с ними сталкиваешься, то у ворот, то в Анже, когда в кино ходим.

Я отчаянно завидовала Рен-Клод и Кассису, что им разрешается по четвергам ездить на велосипедах в центр города и ходить в кино или в кафе. Я сморщила нос:

— Ты рассказывай, рассказывай!

— А я что делаю? — вскинулась Ренетт. — Ну тебя, Буаз, потерпеть не можешь! — Она поправила волосы. — Так вот, иногда приходится с немцами общаться. Среди них попадаются и хорошие. — Опять та же улыбочка. — Бывает, даже очень. Уж куда приятней, чем старик Тупей!

Я равнодушно повела плечами.

— Короче, один из них дал тебе помаду, — сказала я презрительно.

Подумаешь, дело какое. Вполне в духе Ренетт раздуть бог знает что из ерунды.

— Мы им сказали — ну, так, одному, как бы вообще, — про Тупея и про его радио. — Тут Ренетт почему-то покраснела, щеки заалели, как пионы. — Он нам и дал помаду, еще сигареты для Кассиса, ну и всякое разное. — Теперь она тараторила быстро, без перерыва, глаза горели. — А потом Ивонн Крессоннэ сказала, что видала, как они зашли в комнату к старику Тупею, забрали приемник и его вместе с собой, и теперь вместо латыни у нас еще один урок географии с мадам Ламбер, а что с ним — никто не знает.

Она подняла на меня глаза. Помню, они у нее были почти золотистые, цвета кипящего сахарного сиропа, когда он только начинает застывать.

— Не думаю, чтобы что-то серьезное, — сказала я, слегка поразмыслив. — Ведь не пошлют же они из-за радио такого старика на фронт.

— Нет, конечно же нет! — подхватила Ренетт с необычной поспешностью. — И потом, ведь он не имел права хранить у себя приемник, правда?

Я согласилась, что не имел. Хранить приемник было не положено. Учитель должен был это знать. Рен смотрела на помаду, перебирая ее в пальцах нежно, любовно.

— Так ты не скажешь? — Она ласково взяла меня за плечо. — Ведь не скажешь, да, Буаз?

Я отстранилась, машинально потирая плечо в том месте, где она коснулась. Я всегда терпеть не могла всякие нежности. Я спросила:

— Вы с Кассисом часто видите с немцами? Сестра повела плечом:

— Иногда.

— И что еще им выкладываете?

— Ничего не выкладываем, — быстро сказала Ренетт. — Просто так болтаем. Послушай, Буаз, ты никому не скажешь?

Я улыбнулась:

— Ну, может, и не скажу. Не скажу, если ты кое-что для меня сделаешь.

Она пристально взглянула:

— Что именно?

— Хочу как-нибудь с тобой и Кассисом прокатиться в Анже, — сказала я хитро. — В кино, в кафе сходить, ну и вообще. — Я помолчала, чтоб увидеть, какое впечатление произвели на нее мои слова. Глаза Ренетт, как острые, блестящие лезвия, впились в меня. — А нет, — продолжала я с самым невинным видом, — тогда пусть мать узнает, что вы водитесь с теми, кто убил нашего отца. И еще шпионите для них. Врагов Франции. Посмотрим, что она на это скажет.

Ренетт пришла в явное смятение:

— Буаз, ты же обещала!

Я с важным видом замотала головой:

— Мало ли что, это мой патриотический долг.

Должно быть, мои слова задели ее за живое. Ренетт побледнела. Хотя для меня эти слова ничего особенно не значили. Никакой враждебности к немцам я не чувствовала. Даже когда говорила себе, что они убили отца, что его убийца, может, даже находится здесь, прямо здесь, в Анже, всего в часе езды на велосипеде по этой дороге, что он пьет «Gros-Plant» где-нибудь в табачном баре и курит сигареты «голуаз». Образ был ярок в сознании, но при этом лишен жизненной силы. Возможно, потому, что лицо отца уже почти стерлось в памяти. Возможно, это было связано с тем, что дети редко участвуют в столкновениях взрослых, а взрослые редко понимают внезапные приступы необъяснимой агрессии, внезапно возникающие у детей. Тон у меня был важный, осуждающий, но цель моя не имела ни малейшего отношения ни к моему отцу, ни к Франции, ни к войне. Я хотела, чтоб они меня снова приняли в свою компанию, чтоб отнеслись как к большой и умеющей хранить секреты. И еще я хотела в кино, хотела увидеть Лорел и Харди или Белу Лугоши или Хамфри Богарта, хотела сидеть в мерцающей тьме между Кассисом и Рен-Клод, хорошо бы с кулечком жареной картошки в кулаке или с кусочком лакрицы.

Ренетт покачала головой.

— Ты спятила, — сказала она наконец. — Знаешь же, мать ни за что не отпустит тебя в город одну. Ты еще маленькая. И потом...

— Зачем одну? Я могу проехаться на твоём или Кассисовом багажнике, — упрямо гнула я.

Сестра брала материн велосипед, а Кассис ездил в школу на отцовском — неуклюжей черной махине.

Пешком до города было слишком далеко, а без велосипедов они вынуждены были бы жить в пансионе при школе, как многие деревенские дети.

— Скоро занятия кончаются. Могли бы все вместе прокатиться в Анже, в кино пойти, по городу пошататься.

Сестра упиралась:

— Она заставит нас сидеть дома и вкалывать на ферме. Вот увидишь. Она вечно злится, если кто-то развлекается.

— В последнее время ей столько раз мерещился апельсиновый запах, — прагматично подметила я. — По-моему, она и не заметит. Удерем — и все. В таком состоянии она и не сообразит.

Это оказалось легко. Уговорить Рен обычно ничего не стоило. Пассивность пришла к ней с возрастом, природное лукавство и отзывчивость до поры смягчали ее склонность к лени, если не сказать больше. Повернувшись ко мне, она точно пригоршней песка запустила в меня свой последний жалкий довод:

— Ты сумасшедшая!

В те дни все, что бы я ни делала, казалось Рен безумством. Безумство плыть под водой, скакать на одной ножке на самом верху Наблюдательного Пункта, перечить, уплетать зеленые фиги или незрелые яблоки.

Я упрямо трянула головой:

— Плевое дело. Можешь на меня положиться.

Сами видите, все началось с невинных намерений. Никто из нас никому не желал зла, и все же сидит во мне, в самой глубине, по сей день камнем что-то, и оно неумолимо помнит, ясно и четко. Моя мать почуяла опасность задолго до нас. Я была отчаянная и взрывная, как порох. Она это знала, и в свойственной ей необычной манере пыталась меня защитить, не отпускала от себя, даже если хотела оттолкнуть. Она знала больше, чем я предполагала.

Мне же было не до этого. У меня был свой план, такой же хитрый и тщательно продуманный, как мои щучьи ловушки на реке. Однажды мне показалось, что Поль догадался, но даже если и так, он ни слова не сказал. Началось с малого, закончилось ложью, обманом, если не хуже того.

Началом был плодовый лоток в базарный день, в воскресенье. Это произошло пятого июля, через два дня после того, как мне исполнилось девять лет.

Все началось с апельсина.

6.

Прежде считалось, что я не доросла, чтоб брать меня в город на ярмарку. Мать к девяти утра отправлялась в Анже и расставляла свой маленький лоток около церкви. Нередко ее сопровождали Кассис или Ренетт. Я оставалась на ферме и якобы хлопотала по хозяйству, хотя на самом деле все это время рыбачила на реке или торчала с Полем в лесу.

Но в тот год стало иначе. Мать в своей привычно грубой манере объявила, что я уже не маленькая и могу пригодиться. Не век мне считаться ребенком. Она кинула на меня быстрый оценивающий взгляд. Глаза цвета жухлой крапивы. «Ну и, — добавила вскользь, чтоб я не восприняла как поблажку, — можно, если захочется, иногда и в Анже съездить; например, в кино сходить с братом и сестрой...»

Потом я сообразила, что это, видно, Ренетт постаралась. На мать никто не мог повлиять. Только Ренетт знала, как к ней подлизаться. Как ни сурова была мать, но, по-моему, когда с ней заговаривала Ренетт, взгляд ее теплел, словно внутри под грубой оболочкой у нее оттаивало. Я буркнула что-то в ответ.

— Потом, — продолжала мать, — должны у тебя быть хоть какие-то обязанности. Чтоб не распустилась окончательно. Знать должна, что почем.

Я кивнула, попытавшись прикинуться тихоней, вроде Ренетт.

Но мать провести было трудно. Насмешливо вскинув бровь, она бросила:

— Торговать со мной будешь!

Так впервые в жизни я отправилась с ней в город. Мы поехали на двуколке, везя прикрытые брезентом ящики с товаром. В одном ящике лежали сладкие пироги и всякое печенье, в другом — сыры и яйца, в остальных — фрукты. Было самое начало лета, и хоть клубника уродилась на славу, остальные плоды еще созреть не успели. А пока мы продавали варенье, подслащенное осенней сахарной свеклой.

В базарный день в Анже былолюдно. По главной улице тесно, колесо к колесу, тянулись повозки, велосипеды, груженные плетеными корзинами, маленькие открытые фургоны с бидонами молока; какая-то женщина несла на голове поднос с хлебами; горы тепличных помидоров, баклажан, кабачков, лука, картошки вздымались на прилавках. Тут лотки с шерстью или глиняной посудой, там — вино, молоко, домашние консервы, ножи,

фрукты, старые книжки, хлеб, рыба, цветы. Мы приехали рано. Около церкви был фонтан, из которого разрешалось поить лошадей, его обступали тенистые деревья. В мои обязанности входило заворачивать и вручать покупателю товар, в то время как мать принимала деньги. Она обладала феноменальной памятью и способностью считать. Кроме того, в уме держала перечень всех цен, можно было не записывать, и сдачу всегда выдавала быстро и безошибочно. Бумажки отдельно в одном кармане накинутой поверх платья рубы, монеты отдельно в другом; потом выручка складывалась в старую жестяную коробку из-под печенья, которую она прятала под брезентом. До сих пор помню эту коробку: розовая, с розочками по краю. Помню, как монеты и бумажки соскальзывали через жестяной край. Банкам мать не доверяла. Она хранила наши сбережения в коробке, запрятывая под пол в погребе, где хранились бутылки самого ценного ее вина.

В мой первый базарный день мы уже за час распродали все яйца и сыры. Присутствие солдат, стоявших у перекрестка, — автоматы небрежно свисают с плеча, физиономии скучающие, равнодушные — чувствовал каждый. Мать, заметив, что я пялюсь на серые кителя, резко дернула меня за руку, чтоб не отвлекалась:

— Чего рот разинула!

Даже когда солдаты двинулись в толпу, мы делали вид, будто их не замечаем, но внезапно рука матери вцепилась мне в плечо. Я почувствовала, как она вздрогнула, хотя на лице у нее ничего не отразилось: он остановился прямо против нас. Приземистый, с круглой, красной физиономией, в той жизни он мог быть мясником или виноторговцем. Голубые глазки весело искрились.

— Ach, was für schöne Erdbeeren!^[41]

Игриво, с легкой пивной хрипотцой, как разнежившийся бургер в выходной день. Подхватил жирными пальцами клубничину, сунул в рот.

— Schmeckt gut, ja?^[42] — Засмеялся, почти добродушно. Щеки надул. — Wu-n-der-schön!^[43] — Изобразил удовольствие, комично выкатывая на меня глаза.

Я невольно улыбнулась.

Мать предостерегающе сжала мое плечо. Я ощутила тревожный жар ее пальцев. И снова взглянула на немца, пытаюсь понять причину ее напряжения. Он показался мне не страшнее тех, кто иногда навевался к нам в деревню; я бы сказала, даже менее страшным, в своей высокой шапочке с козырьком и с одним-единственным пистолетом в кобуре. Я

снова улыбнулась, скорее назло матери, чем почему-либо еще.

— Gut, ja,^[44] — повторила я, кивнув.

Немец снова рассмеялся, взял еще одну клубничину и пошел обратно сквозь толпу, несуразно траурный в своей черной форме на фоне рыночного многоцветья.

Позже мать попыталась мне объяснить. Опасна всякая военная форма, а черная — опасней всего. Черные — это не просто военные, это армейская полиция. Даже остальные немцы их боятся. Эти способны на всякое. То, что мне всего девять лет, их не остановит. Чуть не так ступила, вмиг пристрелят. Пристрелят? Наверное, я ослышалась. Лицо у матери было каменное, но голос дрожал, и она все прикладывала ладонь к виску странно и беспомощно, как будто уже приближались ее головные схватки. На меня ее предостережение особого действия не возымело. Это была моя первая нос к носу встреча с реальным врагом. Потом, на верхушке Наблюдательного Пункта, я даже с некоторым разочарованием вспоминала того немца как создание крайне безобидное. Я ожидала увидеть что-то более впечатляющее.

Базар заканчивался в полдень. Мы уже давно все распродали, но задержались, чтоб подкупить себе кое-чего и подобрать всякие остатки, которые нам иногда перепадали от других владельцев лотков: перезрелые фрукты, обрезки мяса, подгнившие овощи, которые уже нельзя хранить. Мать послала меня к зеленщику, а сама тем временем сторговала кусок старого парашютного шелка у торговки шитьевым товаром мадам Пети; аккуратно свернув, сунула отрез в карман передника. Материю в те дни достать было нелегко, мы все ходили в перешитом из старого. Мое платье, например, было стачано из двух разных: серый лиф и синяя полотняная юбка. Парашют, сказала мать, нашли в поле прямо за Курлэ, и теперь из него выйдет новая блузка для Ренетт.

— Кучу денег выкинула, — ворчала мать то ли с гордостью, то ли сердито. — Ишь, как умеет их племя приспособливаться, даже и в войну. Падать падают, а приземляются на все четыре.

Я спросила, про кого она.

— Да евреи, — ответила мать. — Эти из пыли деньги делают. За жалкий клочок шелка столько заломила, а ведь самой ни гроша не стоило.

Она сказала это без всякого возмущения, даже с некоторым восхищением. На мой вопрос, чем же занимаются евреи, неопределенно пожала плечами. Видно, сама толком не знала.

— Наверно, тем же, чем и мы. Крутятся. — Она погладила по карману, где лежал шелк, и тихо сказала: — Но все ж несправедливо. За счет других.

Мне это показалось нелепым. Подумаешь, столько страстей из-за какого-то куска шелка. Но желание Ренетт было законом. Ей предназначались кусочки бархатных лент, за ними приходилось стоять в очереди, их приходилось на что-то выменивать; лучшие из старых материных платьев; белые гольфики, чтоб ходить каждый день в школу. И хоть мы с Кассисом не удостаивались ничего, кроме башмаков на деревянной подошве, у Ренетт были кожаные черные туфельки с пряжками. По мне, так ради бога. Я привыкла к материным странностям.

Словом, с пустой корзинкой я обходила лотки. При виде меня люди, знавшие про наши беды, отдавали мне то, что не сумели продать: пару дынь, несколько баклажан, эндивий, шпинат, кочан брокколи, пригоршню мятых абрикосов. Булочник, у которого я купила хлеб, взъерошив мне волосы белой от муки пятерней, кинул в мою корзинку пару круассанов. Поболтала с торговцем рыбой про наши рыбацкие дела, и он сунул мне хороших рыбных обрезков, даже в бумагу завернул. Когда зеленщик отвернулся, оттаскивая ящик с красным луком, я застряла у его фруктово-овощного прилавка, изо всех сил стараясь, чтоб меня не выдали глаза.

И тут я увидела его на земле, прямо у прилавка, рядом с ящиком цикория. Тогда апельсины были редкость; обернутые каждый в лилово-красную мягкую бумажку, они лежали на подносе на самом солнце. Я даже не надеялась увидеть хотя бы один в первый же мой приезд в Анже, и вот они, лежали здесь, гладкие и таинственные в своей бумажной оболочке, пять апельсинов, выложенные в ряд, чтоб переупаковать заново. Внезапно мне захотелось схватить апельсин, захотелось так неистово, так неудержимо, что больше ни о чем я и думать не могла. Другой такой возможности угомонить мать не представится.

Ближайший ко мне апельсин лежал на самом краю подноса, почти касаясь моего носка. Зеленщик по-прежнему стоял ко мне спиной. Его помощник, мальчишка, по виду одноклассник Кассиса, был занят укладыванием ящиков в кузов грузовичка. Кроме автобусов, тут других машин почти не было. Выходит, пронеслось в мыслях, зеленщик человек не бедный. Значит, моему замыслу легко найти оправдание.

Сделав вид, будто рассматриваю груды мешков с картошкой, я скинула с ноги сабо. Потом незаметно потянулась вперед босой ногой и пальцами, натренированными за годы лазанья по деревьям, столкнула апельсин с подноса. Он откатился, как и было задумано, слегка вбок, наполовину скрывшись под зеленой клеенкой, прикрывавшей ближний лоток на козлах.

Я тотчас набросила на апельсин корзинку, затем наклонилась, как будто вытряхнуть камешек из сабо. В просвете между ногами я увидела, как

зеленщик поднимает с земли оставшиеся ящики с товаром и водружает их в кузов грузовичка. Он не заметил, какой я проделала трюк, чтобы препроводить апельсин к себе в корзину.

Как просто. Все оказалось слишком просто. Сердце у меня отчаянно билось, щеки пылали так неистово, что я была уверена: непременно кто-нибудь заметил. Апельсин в корзинке казался мне тяжелым, точно боевая граната. Я выпрямилась как ни в чем не бывало, повернулась, чтоб идти к лотку матери.

И тут все во мне оборвалось. С того края площади один из немцев пристально на меня смотрел. Он стоял у фонтана, слегка ссутулившись, и курил сигарету, зажатую между пальцев в округленной ладони. Рыночная публика обходила его стороной; он стоял отдельно от сутолоки и не отрываясь глядел на меня. Он, несомненно, видел, как я стянула апельсин. Просто не мог не видеть.

Я смотрела на него как замороженная, не в силах двинуться с места. Скулы напряглись. Запоздало пришли на ум рассказы Кассиса про жестокость немцев. Этот же просто стоял и смотрел на меня. Интересно, как немцы расправляются с ворами? И тут вдруг он мне подмигнул.

Я еще мгновение смотрела на него, потом резко повернулась и пошла, пылая щеками, почти и думать забыв про апельсин на дне корзинки. Я не смела снова поднять на немца глаза, хотя лоток матери был близко от того места, где он стоял. Меня так сильно колотила дрожь, и я не сомневалась, что мать заметит, но она на меня даже не взглянула. Я все время чувствовала спиной взгляд этого немца; его лукавое, насмешливое подмигивание, точно гвоздь, дырявило мне голову. Я, казалось, целую вечность ждала и ждала удара, но удара не последовало.

Потом мы поехали домой, разобрав свой лоток и сложив холст и козлы обратно в двуколку. Я сняла мешок с морды кобылы и осторожно, взявшись между оглобель, повела ее прочь, все время чувствуя затылком взгляд немца. Апельсин был спрятан в карман передника, предварительно завернутый во влажную газету от торговца рыбой, чтоб мать не учуяла. Руки я держала в карманах, чтоб апельсин случайно не выпятился и не вызвал у нее подозрений. За всю обратную дорогу я не проронила ни слова.

7.

Про апельсин я не рассказала ни единой душе, кроме Поля, а ему только потому, что он неожиданно заявился на Наблюдательный Пункт и застал

меня в момент любования моим трофеем. Поль впервые в жизни увидал апельсин. Сначала принял его за мячик. Потом взял в руки, подержал, перекатывая из ладони в ладонь, чуть ли не благоговейно, как будто эта диковина вот-вот расправит волшебные крылья и улетит.

Мы разрезали плод пополам, держа половинки над двумя широкими листьями, чтоб не пролить ни капли драгоценного сока. Это был замечательный, тонкокожий апельсин, с легкой кислинкой в глубинах своей сладости. Помню, как мы подлизывали все капельки сока, как выгрызали зубами мякоть с корки, как потом высасывали остатки, пока во рту не стало горько и вязко. Поль чуть не ухнул кожуру вниз с верхушки Наблюдательного Пункта, я вовремя его удержала.

— Дай мне, — сказала я.

— Зачем?

— Нужно кое для чего.

Когда он ушел, я осуществила последнюю часть своего замысла. Порубила перочинным ножиком две половинки апельсиновой кожуры на мелкие кусочки. Пока резала, бил в ноздри запах апельсинового масла, горький, будоражащий. Листья, которые мы использовали вместо тарелок, я тоже порубила; запах от них шел слабый, но и они пригодятся, чтоб кожура подольше не высыхала. Потом я сложила эту смесь в муслиновый лоскут, украденный из материнской кладовки, и туго-натуго увязала. После положила муслиновый мешочек с его пахучим содержимым в жестянку из-под табака и сунула ее в карман.

Все, готово.

Из меня получился бы отменный убийца. Все было тщательно спланировано, мелкие следы преступления ликвидированы в считанные секунды. Я выкупалась в Луаре, чтобы смыть с себя малейшие остатки запаха — изо рта, со щек, с рук; терла грубым речным песком ладони до красноты, до ссадин, вычищала под ногтями концом заостренной палочки. Идя через луг по дороге к дому, срывала пучки дикой мяты, терла под мышками, руки, коленки и шею, чтобы малейший признак запаха заглушить жарким ароматом свежих мятных листьев. И мать ничего не почувствовала, когда я явилась домой. Она готовила тушеную рыбу из рыночных обрезков, по дому из кухни плыл густой аромат розмарина, чеснока, помидоров и шипящего масла.

Отлично. Я тронула табачную жестянку в кармане. Очень даже отлично.

Конечно, лучше бы это был четверг. Ведь по четвергам Кассис с Ренетт обычно ездили в Анже, в этот день им выдавались карманные деньги. Считалось, что до карманных денег я пока не доросла — на что мне их

тратить? — хотя я была уверена: уж я бы нашла на что. К тому же, говорила я себе, нет гарантии, что мой план сработает. Сначала надо его испробовать.

Предварительно приоткрыв, я спрятала жестянку под печку в большой комнате. Печка, конечно, была холодная, но трубы, соединявшие ее с теплой кухней, были достаточно горячи для осуществления моего плана. Через несколько минут содержимое муслинового мешочка начало испускать резкий запах.

Мы уселись обедать.

Жаркое получилось отменное; красный лук с помидорами, с чесноком и травами, тушенный в белом вине, кусочки рыбы нежно поблескивали среди жареного картофеля и головок лука-шалота. Свежее мясо в те дни было редкостью, но овощи мы выращивали сами, и у матери было припрятано под полом в погребе три дюжины бутылок оливкового масла, а также лучшие сорта белого вина. Я с жадностью накинулась на еду.

— Буаз, убери локти со стола! — Резко окрикнула меня мать, но я заметила, как ее пальцы привычным жестом сами собой тянутся к виску, и внутренне улыбнулась. Сработало.

Мать сидела ближе всех к трубе.

Мы ели молча, и еще пару раз ее пальцы, крадучись, ползли вверх, по щекам, к глазам, к вискам, как бы проверяя, плотно ли прилегает кожа. Кассис с Рен молча уткнулись носами в тарелку. Воздух давил, дневная жара наливалась свинцом, и у меня самой от жалости чуть не заболела голова.

Внезапно мать резко сказала:

— Пахнет апельсином. Кто принес апельсины в дом? — Голос пронзительный, разящий. — Ну, отвечайте?

Мы молча замотали головой.

Снова то же движение руки. Теперь мягче, пальцы щупают, потирают кожу.

— Я знаю, я чувствую, пахнет апельсином. Никто точно в дом их не приносил?

Кассис с Рен сидели дальше нас от табачной жестянки, к тому же их от нее отделяла и кастрюля, источавшая жаркий аромат вина и рыбы в масле. Поскольку материнские приступы были нам уже не в новость, брату с сестрой теперь не пришло бы и в голову, что запах апельсина существует на самом деле, не в материнском воображении. Я снова улыбнулась, на сей раз незаметно, прикрывшись рукой.

— Буаз, хлеб, пожалуйста!

Я подала ей хлеб в круглой корзиночке, она взяла кусок, стала теревить его прямо на красной клеенке, надавливая пальцами мякоть, кроша по столу. Меня бы она за такое непременно резко одернула.

— Буаз, сладкое принеси, пожалуйста.

Я вышла из-за стола с едва скрываемым чувством облегчения. От напряжения и страха даже подташнивало; я корчила глупые рожи в начищенные до блеска днища сковородок. На сладкое было приготовлено блюдо с фруктами и материным печеньем, понятно, раскрошившимся; — красивое она распродала, для дома оставила неудавшееся. Я заметила, что мать с подозрением осматривает привезенные нами с базара абрикосы, вертит перед глазами, даже обнюхивает, будто какой-то из них может оказаться замаскированным апельсином. Теперь рука у нее не отрывалась от виска, словно защищала глаза от солнечного света. Взяла половинку печенья, раскрошила, оставила на тарелке.

— Рен, посуду мыть! Я, пожалуй, пойду к себе, прилягу. Кажется, снова голову ломить начинает.

Голос матери пока не дрожал, только знакомый тик, только слабое беспрестанное скольжение руки по щеке к виску выдавали ее недомогание.

— Рен, не забудь задернуть занавески наглухо. И ставни. Буаз, чтоб тарелки разложить как следует. Смотри не забудь.

Даже в этом состоянии она пеклась о том, чтоб сохранить заведенный ею порядок. Чтоб тарелки были составлены по размеру и цвету, каждая протерта мягкой салфеткой и потом насухо вытерта чистым, крахмальным чайным полотенцем. Чтоб ничего не оставлять неприбранным сушиться на кухонном столе; никакой поблажки. Чайные полотенца ровными рядами вешались сушиться на веревке.

— Мои лучшие тарелки помой горячей водой, слышишь? — Это сказано сварливо; дались ей ее лучшие тарелки. — Да не позабудь вытереть, с обеих сторон. И не смей убирать мои тарелки, пока влажные, слышишь?

Я кивнула. Она повернулась, скривившись.

— Рен, проследи, как сделает.

Глаза горели странным лихорадочным блеском. Она взглянула на часы, ее странно передернуло.

— И двери закройте. Ставни тоже. Наконец-то, кажется, она собралась уходить. То и дело оборачивалась, медлила, очень не хотелось ей оставлять нас одних, предоставлять самим себе, своим маленьким тайнам. Бросила мне отрывисто, как-то неестественно, с затаенной тревогой:

— В общем, Буаз, не забудь насчет тарелок, это все. И ушла. Было

слышно, как она наливает воду в умывальник в ванной. Я задернула тяжелые шторы в большой комнате и одновременно склонилась, чтоб вытянуть табачную жестянку. Потом вышла в коридор и сказала громко, чтоб она услышала:

— Пойду в спальнях все прикрою!

Начала я со спальни матери. Я закрыла ставни, задернула занавески и скрепила между собой, потом быстро оглянулась. Из ванной по-прежнему доносился плеск воды, было слышно, как мать чистит зубы. Быстро и бесшумно ступая, я вынула ее подушку из полосатой наволочки, затем кончиком перочинного ножика проделала маленькую дырочку в шве и пропихнула внутрь муслиновый мешочек. Рукояткой ножа я пропихнула его как можно дальше, чтобы он не выпирал на поверхности. Потом с отчаянно бьющимся сердцем всунула подушку в наволочку, разгладила морщины на одеяле, чтоб не вызывать подозрений. Мать всегда подмечала такие вещи.

И успела как раз вовремя. Мы столкнулись с матерью в дверях, но она, хоть и взглянула на меня с подозрением, не проронила ни слова. Вид у нее был рассеянный, взгляд блуждающий, глаза полуоткрыты, черные с сединой волосы распущены. От нее пахло мылом, и в коридорном полумраке она была похожа на леди Макбет — эту историю я недавно подхватила в одном из журнальчиков Кассиса: то потрет руки друг о дружку, то поднимет к виску, гладит, словно баюкает, снова потрет друг о дружку, будто не сок апельсина, а кровь пристала к ним несмываемым пятном.

На мгновение я застыла в нерешительности. Она показалась мне такой постаревшей, такой уставшей. Уже и у меня начало с силой пульсировать в висках и мелькнула мысль: что с ней будет, если я сейчас подойду и уткнусь головой ей в плечо? Глаза внезапно обожгло. Зачем, зачем я все это делаю? Но тут я вспомнила про Матерую, притаившуюся в мрачной глубине, ее дикий, злобный взгляд и про ту награду, что таится в ее чреве.

— Ну? — сухо и холодно сказала мать. — Что выпучилась, как идиотка?

— Ничего. — Снова в глазах стало сухо. Даже головная боль стала уходить так же внезапно, как появилась. — Так просто.

Дверь закрылась, щелкнул замок. Я вернулась в большую комнату, где меня дожидались брат с сестрой. Про себя я усмехалась.

— Психованная!

Это снова Ренетт. Привычный вопль беспомощности, когда все доводы исчерпаны.

Нельзя сказать, чтобы мне долго пришлось ее уламывать; одно дело — страсть к помаде и кинозвездам, но насчет доводов возможности сестры всегда были ограничены.

— Сейчас-то почему нельзя? — наседала я на нее. — Она проспит до середины завтрашнего дня. Вот сделаем все по хозяйству и можем спокойно отправляться на все четыре стороны. — Я многозначительно взглянула на Ренетт, давая понять, что дело с помадой пока еще не закрыто. Всего две недели прошло. Я не забыла. Кассис с любопытством посматривал на нас; я была уверена, Ренетт ни слова ему не сказала.

— Она взбесится, когда узнает, — медленно проговорил Кассис.

Я дернула плечом:

— Откуда? Скажем, что в лес ходили грибы искать. Очень может быть, что к нашему возвращению она еще и не поднимется.

Кассис озадаченно молчал. Ренетт бросила на него взгляд, умоляющий, тревожный; сказала, на сей раз уже потише:

— Ладно, Кассис... Она знает. Она выведала про... — Голос ее сорвался. — Пришлось ей кое-что рассказать, — закончила сестра с виноватым видом.

— А, вон оно что!

Кассис на мгновение задержал на мне взгляд, и мне показалось, будто в этот момент что-то между нами меняется. В его взгляде мелькнуло что-то сродни восхищению. Он пожал плечами: Да пусть, какая разница] — но взгляд все же был настороженный, встревоженный.

— Я не виновата, — сказала Ренетт.

— Понятно. Это она — хитрюга. Верно, хитрюга? — небрежно бросил Кассис. — Рано или поздно все равно бы пронюхала. — Это была наивысшая похвала, и пару месяцев назад у меня бы от таких слов сопли потекли, но сейчас я смотрела на брата не моргнув.

— Вдобавок, — продолжал Кассис тем же тоном, — если ей рассказать, она матери не протрепется.

Мне было всего девять, я была смышленная не по годам, но все же еще достаточно мала и обиделась на небрежно брошенное оскорбление.

— Я не трепло, — Кассис повел плечами.

— Мне что? Поезжай на здоровье, только платить за себя будешь сама, — припечатал он равнодушно. — С чего это нам за тебя платить? На велосипеде довежу. А дальше — как знаешь. Остальное твоя забота. Идет?

Это был вызов. Это было написано у него на лице. Кассис улыбался презрительно, не слишком добродушной улыбочкой старшего брата, который готов поделиться с сестренкой последней шоколадкой, но может и так здорово спичкой прижечь ей руку, что кровь темными пятнами запечется под кожей.

— Но ведь у нее нету карманных денег, — грустно сказала Ренетт. — Зачем ей тогда с нами...

Кассис по-мужски махнул, как отрезал: сказал — и все тут. И скрестив на груди руки, с той же улыбочкой ждал, что я скажу.

— Ну и прекрасно, — отозвалась я, стараясь держаться как можно невозмутимей. — Договорились.

— Отлично, — кивнул брат. — Раз так, завтра едем.

9.

Тут мы засуетились по хозяйству. Из колодца натаскали ведрами воду в кухню для готовки и мытья посуды. Горячей воды у нас не было — никакого водопровода вообще, только ручной насос у колодца, в нескольких ярдах от двери в кухню. Электричество не спешило в Ле-Лавёз, и когда баллонный газ стал редкостью, мы готовили пищу на дровяной плите. Очаг был у нас во дворе, огромный, старомодный, растапливаемый углем, и сам, как сахарная голова, — конусом. Прямо рядом с колодцем. Если требовалась вода, мы брали ее оттуда, один качал насос, другой держал ведро. Колодец прикрывался деревянной крышкой, которая с давних пор, еще до моего появления на свет, на всякий случай запиралась висячим замком. Втихую от матери мы плескались под насосом, ныряли под холодную струю. У матери на виду приходилось обходиться корытами с водой, нагретой в медных тазах на печке, и шершавым темным дегтярным мылом, скоблившим кожу, точно пемза, и оставлявшим на поверхности воды серую пену.

В то воскресенье мы знали, что мать до вечера с постели не поднимется. Слышали, как она стонет ночью, ворочается с боку на бок на старой кровати, на которой раньше с ней спал отец; то вдруг встанет, начнет ходить взад-вперед по комнате, в духоте открывает окно, ставни распахиваются с громким стуком, так что пол дрожит. Я долго лежу не смыкая глаз, слушаю, как она ходит наверху, топает ногами, вздыхает и бормочет что-то про себя прерывистым шепотом. Около полуночи я засыпаю, но примерно через час просыпаюсь и снова слышу: мать не спит.

Сейчас меня поражает мое бездушие, но тогда ничего, кроме затаенной радости, я не испытывала. Ни малейшего раскаяния в своем поступке, ни малейшей жалости к ее страданиям. Тогда я этого не понимала, я и представления не имела, какой мукой может обернуться бессонница. Казалось просто невероятным, чтоб упрятанный в подушку крохотный мешочек мог стать источником невероятных страданий. Чем больше она вертелась и маялась на подушке, тем, должно быть, сильнее от лихорадочно-потного тепла шеи становился запах. Чем сильнее запах, тем нестерпимей нарастало предчувствие. Она говорила себе: вот сейчас, я точно знаю, начнет болеть голова. Почему-то ожидание порой бывает нестерпимей, мучительней, чем сама боль. Оно, непреходящей складкой врезавшись в лоб, металось в мозгу, точно крыса в западне, гоня сон. Нюхом мать безошибочно угадывала апельсиновое присутствие, при этом понимая, что такого быть не может — Господи, откуда здесь взяться апельсинам? — но апельсиновый запах, горьковатый, старчески пожухлый, источала каждая пылинка в ее комнате.

Она поднялась в три часа и зажгла лампу, чтобы сделать запись в альбоме. Знать об этом я никак не могла — мать никогда не помечала дат, и все же я поняла.

«Нынче худо, как никогда», — пишет она. Мелкий почерк, колонна лилово-чернильных муравьев расплзлась по странице.

Лежу в постели и думаю, удастся ли вообще уснуть. Хуже этого ничего не может быть. Лучше б ополоуметь, чтоб ничего не чувствовать.

И после ниже, под рецептом картофельного пирога с ванилью, она пишет:

Меня рассекло пополам, как те часы. Чего не взбредет в голову в три часа ночи.

Потом она встала, чтобы принять таблетки морфина. Она хранила их в шкафчике в ванной, рядом с бритвенным прибором моего убитого отца. Я слышала, как открылась дверь, как усталым скрипом отдавались натертые доски под ее влажной от пота ногой. Стук бутылочки и звяканье чашки о кувшин, когда она наливала в нее воду. Шестичасовая бессонница вполне могла стать в конце концов причиной ее головных болей. Как бы то ни было, когда я проснулась утром, мать спала как убитая.

Ренетт с Кассисом еще не проснулись. Свет, сочившийся из-под тяжелой шторы, был зеленоватый, бледный. Должно быть, пять утра; часов у нас в спальне не было. Я села в кровати, нащупала в полумраке одежду, быстро оделась. Каждый закоулок маленькой комнаты был мне отлично знаком. Прислушиваясь к дыханию Кассиса и Рен — Кассис дышал чаще, с легким присвистом, — я тихо-тихо прошла мимо их кроватей. До того как они проснутся, мне надо успеть сделать уйму дел.

У двери в спальню матери я прислушалась. Тихо.

Я знала, что она приняла свои таблетки, и надо думать, спит крепко, но рисковать мне не хотелось. Очень осторожно я повернула дверную ручку. Доска у меня под ногой выстрелила как из пушки. Я замерла на ходу, вслушиваясь в дыхание матери, не сбился ли ритм. Дыхание ровное. Я толкнула дверь. Одна ставня приоткрыта, и в комнате светло. Мать лежала поперек кровати. Ночью она, мечась, сбросила с себя покрывало, одна подушка валялась на полу. Поверх второй лежала ее отброшенная вбок рука, голова в неловкой позе притулилась у края подушки, волосы свесились до пола. Без особого удивления я обнаружила, что она лежит как раз на той подушке, куда я упрятала муслиновый мешочек. Я присела на корточки. Мать дышала глубоко, медленно. Под посиневшими веками странно блуждали зрачки. Осторожно я подползла пальцами к ее подушке.

Это оказалось просто. Пальцы нащупали узелок в самом центре, повели его назад к дырке в наволочке. Нащупав мешочек, я ногтями подтянула его к себе и наконец благополучно выкатила из укрытия прямо в ладонь. Мать не шевельнулась. Только глаза пульсировали и подергивались под потемневшими веками, как будто беспрестанно следили за чем-то ярким, ускользящим. Рот был полуоткрыт, слюнный след ниточкой протянулся по щеке вниз к матрасу. Что-то подтолкнуло меня поднести мешочек к самым ее ноздрям, предварительно помяв, чтоб сильнее пахло, и она жалобно застонала во сне, голова метнулась прочь, брови сдвинулись. Я снова сунула мешочек к себе в карман.

Потом предстояло сделать основное. Я напоследок оглянулась на мать, как на опасное, притворившееся спящим дикое животное. И подошла к каминной полке. Там стояли часы. Тяжелые, с круглым циферблатом в стеклянном футляре с позолотой. Они совершенно не вязались с маленькой черной каминной решеткой, были слишком вычурны для материнской спальни, но мать унаследовала их от своей матери и очень ими дорожила. Приподняв круглый стеклянный купол, я осторожно перевела стрелки назад. На пять часов. Шесть. После чего снова накрыла.

Все, что стояло на полке, — фотографию отца в рамочке, еще одну

женскую, кажется бабушкину, глиняную вазу с засохшими цветами, блюдечко с тремя заколками для волос и одним засахаренным миндальным орехом, оставшимся после крещения Кассиса, — я методично преобразовала. Фотографии повернула к стенке, вазу поставила на пол, вынула заколки из блюдечка, опустила в карман брошенного материнского фартука. Затем подобрала ее одежду и разложила по комнате в художественном беспорядке. Одно сабо примостила на край лампового абажура, другое положила на подоконник. Платье аккуратно повесила на плечики за дверь, а фартук распластала по полу, как скатерку на пикнике. Под конец я открыла ее гардероб и распахнула дверцу настолько, чтоб во внутреннем зеркале отразилась кровать и она, лежащая на кровати. Чтоб, когда проснется, это сразу и увидела.

На самом деле никакого злого умысла у меня в голове не было. Я не собиралась ей вредить, просто хотела сбить ее с толку, пусть решит, будто подстроенный ей приступ был на самом деле и что она в беспомощности передвигала вещи, раскладывала одежду, переводила стрелки на часах. Еще отец рассказывал, что, бывает, она сделает что-то, а после не помнит, что делала, и что от дикой боли и смятения у нее плыло в глазах, не говоря уже про голову. Внезапно ей чудилось, будто часы в кухне разрезаны пополам, одна половинка еле видна, а вторая и вовсе исчезла, и вместо нее пустота, только голая стена; или вдруг винный стакан сам по себе оказывался не там, где стоял, передвигался по другую сторону от тарелки. Или вдруг у человеческого лица — моего, или отца, или Рафаэля из кафе — стиралась половина черт, как после какой-нибудь жуткой операции, или она читает, а половина страниц из поваренной книги внезапно исчезает и оставшиеся буквы пляшут перед глазами и ничего нельзя разобрать.

Правда, тогда обо всех этих подробностях я и понятия не имела. Многие узнала только из того альбома, из ее каракулей, иные слова были нацарапаны будто в лихорадке, буквально на грани отчаяния, — «Чего не взбредет в голову в три часа ночи», — другие казались казенными, вроде медицинского заключения, определяющего симптомы с холодной пытливостью аналитика: «Меня, как те часы, рассекло пополам».

10.

Я вышла из дома, когда Рен с Кассисом еще спали, рассчитывая, что у меня примерно полчаса, чтоб обернуться, пока они не проснутся. Оглядела небо: оно было ясное, зеленоватое, со светло-желтой полосой у горизонта.

Уже, должно быть, минут десять как рассвело. Надо спешить.

Я взяла из кухни ведро, надела сабо, поджидавшие на коврике у двери, и со всех ног помчалась к реке. Срезала путь через заднее поле Уриа, где подсолнухи воздели свои бархатистые, еще зеленые головы к небу. Я бежала пригнувшись, невидимая в листве, ведро то и дело било по ногам. Не прошло и пяти минут, как я была уже у Стоячих Камней.

В пять утра Луара, подернутая дымкой, безмятежна и великолепа. Вода в эти часы просто чудо, прохладная и загадочно-бледная, песчаные берега встают над рекой, точно забытые континенты. Вода пахнет ночью, а на поверхности то тут, то там искры нового дня играют слюденистыми отблесками. Сняв сабо и платье, я критическим взглядом окинула воду. Она казалась совершенно неподвижной. Последний из Стоячих Камней, Сокровищный, находился, наверное, футах в тридцати от берега; поверхность воды у его основания казалась подозрительно гладкой, как шелк, а это означало, что под ней бурлит сильное течение. «Там можно утонуть, — вдруг пронеслось в мыслях, — и никто даже не узнает, где меня искать».

Но выбора не было. Кассис бросил мне вызов. Я должна платить за себя сама. А так как своих карманных денег у меня нет, возможность только одна: завладеть кошельком, припрятанным в Сундуке Сокровищ. Конечно, есть вероятность, что Кассис вынул оттуда кошелек. Если так, придется пойти на риск и стянуть деньги у матери. Но этого не хотелось бы. Не потому, что красть плохо, а из-за потрясающей памяти матери на цифры. Она помнила, сколько у нее денег, до последнего сантима, и значит, мое воровство незамеченным не пройдет.

Нет. Только Сундук Сокровищ.

С тех пор как у Кассиса с Ренетт закончились занятия, на реку они иногда навевались. У них были свои сокровища — взрослые, — своя тайная радость. В кошельке оставалось всего несколько монеток, не больше пары франков. Я рассчитывала на лень Кассиса и на его уверенность, что, кроме него, ни одна живая душа не сможет доплыть до коробки, привязанной к дальнему столбу. Потому была убеждена, что монеты по-прежнему там.

Осторожно я сползла по берегу прямо в воду. Она была холодная, речным илом обволокло пальцы ног. Я брела вперед, пока вода не дошла до пояса. И тут, почувствовав течение, резко дернулась, как собака на поводу. Господи, оно уже катило во всю мощь! Вытянула руку, уперлась в первый столб, оттолкнулась от него в сторону течения, сделала еще шаг. Я знала, что прямо впереди — яма, то место, с которого этот, еще мелкий край

Луары обрывается куда-то в тартарары. Когда Кассис отправлялся в подобный заплыв, в этом месте он вечно притворялся, будто тонет, всплывал животом вверх на поверхность мутной воды, бил руками, орал, отплевываясь бурой луарской водой. Вечно он, хотя придурился неоднократно, сбивал Рен с панталыку, она каждый раз, едва он погружался с головой под воду, в ужасе визжала.

У меня на подобные трюки времени не было. Носком я нащупала в воде обрыв. Вот он. Я со всей силы оттолкнулась от дна, целясь поперек течения, так, чтобы оказаться справа от Стоячих Камней. Вода на поверхности была теплей и течение не такое быстрое. Я уверенно поплыла слегка по дуге от первого Стоячего Камня ко второму. Между ними, протянувшимися неровным строем от берега, расстояние было, должно быть, не более дюжины футов. Можно от каждого столба одним сильным рывком преодолеть пять футов, держась слегка против течения, так, чтобы оно подтаскивало меня к очередному столбу, как раз когда пора делать очередной рывок. Точно мелкая лодчонка против ветра, я медленно пробивалась к Сокровищному Камню, с каждым гребком чувствуя, как усиливается течение. Я задыхалась от холода. Вот я уже у четвертого столба, остался последний рывок к заветной цели. Течением меня швырнуло за Сокровищный Камень, и на мгновение меня обуял внезапный, леденящий ужас, потому что течение, скручивая ноги и руки, уже тащило меня на самую середину реки. Тяжело дыша, в панике чуть не ревя, я умудрилась все-таки сделать рывок к камню и ухватилась за цепь, привязывавшую Сундук Сокровищ к столбу. Она была отвратительно скользкая на ощупь, вся в буром иле и водорослях, но с ее помощью я подтянулась к столбу.

На миг прильнув к нему, я замерла, чтоб отдышаться. Потом, надежно упершись спиной в столб, стала вытягивать Сундук Сокровищ на поверхность из его илистой норы. Это было нелегко. Сама коробка была не особенно тяжелая, но вместе с цепью и брезентом оказалась совершенно неподъемной. Теперь, вся дрожа, стуча зубами от холода, я сражалась с цепью. Наконец что-то поддалось. Отчаянно суча в воде ногами, чтоб не оторваться от столба, я тянула к себе коробку. Тут меня во второй раз чуть не захлестнула паника, когда тяжелый, склизкий брезент обволол мне ноги, и я быстро заработала пальцами, расслабляя веревку, привязанную к коробке. На мгновение мне в ужасе показалось, что скованными холодом пальцами мне ни за что не вскрыть жестянку. Но вот крышка сдвинулась, и в Сундук Сокровищ хлынула вода. Фу ты, черт! Но все же внутри оказался кошелек, старый, коричневый кожаный кошелек, выброшенный матерью

из-за сломанного замочка. Ухватив кошелек, я для сохранности зажала его в зубах, потом последним усилием туго завернула крышку, выпустила из рук Сундук, и тяжестью цепи его снова увело ко дну. Брезент, понятно, сгинул, оставшиеся сокровища явно подмокли, но ничего не поделаешь. Придется Кассису искать место посуше для своих сигарет. Главное — я раздобыла деньги, остальное уже неважно.

Я поплыла обратно к берегу; не доплыв до последних двух столбов, повернула, и две сотни ярдов течение несло меня в сторону шоссе на Анже, прежде чем удалось выбраться из потока, который, прямо как рвавшаяся с привязи бурая собака, кидался в заочневшие ноги, обвивая их точно цепью. Вся операция длилась, наверное, минут десять.

Я уговорила себя немного передохнуть, подставила щеки первым теплым солнечным лучам, подсушила налипшую на кожу грязь Луары. Меня трясло от холода и ликования. Пересчитала деньги в кошельке: их оказалось вполне достаточно на билет в кино и стакан сквоша. Отлично. Потом я пошла вдоль берега против течения, туда, где оставила одежду. Надела старую юбку, красную мужскую майку, превращенную в сарафанчик, сабо. Бегло осмотрела свои рыболовные сети, выкинула кое-какую мелочь, кое-что оставила для наживки. В бредне для раков обнаружилась нечаянная радость в виде маленькой щучки — не Матерой, понятно, — ее я швырнула в ведро, захваченное из дома. Остальной улов — связку угрей из илистого мелководья у длинной песчаной отмели, крупную уклейку из одной из своих сетей на все случаи — тоже покидала в ведро. Это будет мое алиби, если Кассис и Рен к тому времени, как я вернусь, уже проснутся. Затем так же незаметно, как явилась сюда, возвратилась полями домой.

Я верно рассчитала, прихватив рыбу. Когда подходила к дому, Кассис мылся под насосом, а Ренетт, уже нагрет в тазу воды, деликатно терла щечки мягкой намыленной тряпочкой. Сначала они с любопытством уставились на меня, но вот лицо Кассиса приняло привычное насмешливо-презрительное выражение.

— Что, все не угомонишься? — Он тряхнул мокрой головой в сторону ведра с рыбой. — И как нынче улов?

— Так, кое-что, — бросила я небрежно. Кошелек лежал в кармане сарафана, и, чувствуя, как он приятно оттягивает карман, я внутренне ликовала. — Щучка. Небольшая, правда, — добавила я.

— Мелочь — это что, главное — Матерую тебе не поймать, — со смехом сказал Кассис. — А, допустим, поймаешь, что делать с ней станешь? Ее, такую старую, даже есть никто не сможет. Горечь одна, и

костей не оберешься.

— Все равно поймаю, — сказала я упрямо. — Ишь ты! — воскликнул Кассис презрительно. — И что? Загадаешь желание? Запросишь у щуки миллион франков и дворец на левом берегу? Я молча мотнула головой.

— Я бы попросила, чтоб стать кинозвездой! — сказала Рен, вытирая лицо полотенцем. — Голливуд увидет, и огни, и бульвар Заходящего солнца, чтоб ездить в лимузине и чтоб было много-много платьев!

Кассис метнул в нее испепеляющий взгляд, это меня сильно развеселило. Потом опять повернулся ко мне и спросил с до ужаса наглой усмешкой:

— А ты, Буаз? Ты-то что у нее выпросишь? Меха? Машины? Виллу в Жуан-ле-Пэне?

Я снова мотнула головой, отрезав:

— Поймаю, там видно будет. Но поймаю точно. Вот увидите.

Минуту Кассис внимательно смотрел на меня, усмешка сползла у него с губ.

Потом презрительно фыркнул и продолжил свое омовение.

— Ну ты и штучка, Буаз, — сказал он. — Ну и штучка!

И тут мы поскорей побежали, пока не проснулась мать, доделывать хозяйственные дела.

11.

Работы на ферме всегда невпроворот. Наносить воды с колонки, расставить в металлических ведрах у стены под навесом крыши, чтоб не нагрелась солнцем. Подоить коз, накрыть подойник кисеей и поставить в сыроварню. Потом выгнать коз пастись, следить, чтоб не накинулись на овощи в огороде. Дать корм курам и уткам. Обобрать созревшую за сутки клубнику. Растопить плиту, хоть я и была уверена, что матери сегодня вряд ли придется много готовить. Отвести нашу кобылу Бекассин на луг и подлить свежей воды в корыта. При том, что крутились мы со страшной скоростью, это заняло у нас почти два часа, и к тому моменту, когда мы покончили с делами, жара уже стояла нестерпимая, ночная влага уже полностью выпарилась из пропекшейся земли на дорожках, на траве подсохла роса. Пора было ехать.

Ни Ренетт, ни Кассис о деньгах не заикнулись. С какой стати? Кассис ведь ясно сказал, чтоб я платила сама, уверенный, что это невозможно. Рен как-то странно на меня посматривала, когда мы добирали с грядки

последнюю клубнику, наверное, ее сбивала с толку моя самоуверенность, и она хихикала, переглядываясь с Кассисом. Я заметила, что в то утро сестра вырядилась как-то особенно — школьная юбка в складку, красный джемпер с коротким рукавом, гольфы, туфельки; волосы завернула толстой сосиской на затылке, заколола шпильками. И пахло от нее чем-то незнакомым, приторно-рассыпчатым, смесью фиалок с зефиром, губы покрывал слой помады. Видно, там у нее свидание, подумала я. С мальчишкой, наверное. С кем-то из школы. Она явно была оживлена сильнее обычного, обирала ягоды с грациозной поспешностью кролика, поглощающего корм в обществе куниц. Продвигаясь между грядками клубники, я услышала, как она шепнула что-то Кассису, потом засмеялась, тоненько, нервно.

Меня кольнуло. Уж не собираются ли они от меня сбежать? Я вынудила Рен взять меня с ними, и вряд ли они пойдут на попятную. Но ведь они убеждены, что денег у меня нет. И значит, можно пойти в кино без меня, оставить меня дожидаться где-нибудь у фонтана на рыночной площади или послать куда-то, выдумав какое-нибудь поручение, а самим отправиться на встречу со своими приятелями. Я хмуро обмозговывала ситуацию. Пусть они так думают. Так уверены в себе, что упустили из вида простейшее решение проблемы. Рен ни за что бы не пустилась вплавь по Луаре к Сокровищному Камню. Кассис по-прежнему считал меня козьявкой, слишком благоговеющей перед обожаемым старшим братцем, чтоб без его позволения отважиться на что-нибудь этакое. Временами он поглядывал на меня и довольно, с насмешливыми искорками в глазах ухмылялся.

В восемь мы отправились в Анже, я примостилась на заднем колесе огромного и нескладного велосипеда Кассиса, отважно вклинившись ногами пониже руля. У Рен велосипед был меньше и изящней, с высоким рулем и кожаным седлом. На руле висела корзинка, в которую она уложила бутылку кофе с цикорием и три одинаковых свертка с бутербродами. Чтоб сохранить прическу, сестра повязала голову белым шарфом, и его концы вились по ветру во время езды. Три-четыре раза по пути мы останавливались, пили кофе из бутылки в корзинке Рен, ощупывали шины, подкреплялись бутербродами с сыром вместо завтрака. И вот подъехали к окраине Анже, миновали college — теперь закрытый на каникулы, с парой немецких солдат на часах у ворот, — и двинулись по улицам, окаймленным беленькими домиками, к центру.

Киношка «Palais-Doré» располагалась на центральной площади, неподалеку от того места, где бывал рынок. Площадь в несколько рядов была окружена магазинчиками, многие поутру уже открывались, и какой-то человек вышел с ведром воды мыть щеткой тротуар.

Мы завели велосипеды в проулок между парикмахерской и мясной лавкой с наглухо закрытыми ставнями. Проулок был слишком узкий для прохода и весь завален камнями и мусором; пожалуй, если оставить велосипеды здесь, никто на них не позарится. Женщина на terrasse у кафе улыбнулась нам и поздоровалась; там собралось уже несколько воскресных посетителей, пили кофе с цикорием, ели круассаны или крутые яйца. Проехал мимо на велосипеде, важно сигналив, мальчишка-посыльный. В газетном киоске у церкви продавали информационные сводки. Кассис огляделся и направился к киоску. Я видела, как он протянул что-то продавцу и тот сунул Кассису сверток, который брат тотчас заткнул за пояс.

— Это что? — с любопытством спросила я. Кассис сделал неопределенный жест. Он был явно горд собой, так горд, что мог себе позволить ответить не сразу, подразнить меня. На миг вытянув уголок свернутой пачки и тут же упрятав ее снова, он заговорщическим шепотом сказал:

— Комиксы! Истории с продолжением, — и важно подмигнул Рен. — Журнал про американское кино!

Рен взвизгнула от радости, потянулась к нему:

— Дай мне! Покажи!

Кассис раздраженно замотал головой.

— Т-с-сс! Ты что! — снова понизив голос, уже чуть слышно шепнул: — Это он мне по знакомству. Черный рынок. Под прилавком для меня держал.

Ренетт в восхищении уставилась на брата. Меня же это особо не впечатлило. Может, потому, что еще не слишком понимала, какая это редкость. Может, потому, что двинувшиеся в рост семена протеста побуждали с презрением поглядывать на все, чем кичился мой брат. Я повела плечами, демонстрируя свое безразличие, хотя мне и было любопытно, с чего бы газетному торговцу делать Кассису такие подарки. Но подумав, я решила, что, наверно, брат просто хвастает. Ну и молчать я не стала.

— Если б я завела связи с черным рынком, — сказала я, скорчив презрительную мину, — уж будьте уверены, разжилась бы чем-нибудь поинтересней, чем старые газетки.

Кассис был явно уязвлен.

— Что мне надо, то и достаю, — тотчас парировал он. — Комиксы, курево, книжки, настоящий кофе, шоколад. — И насмешливо, с издевкой добавил: — Ты даже денег на билет в кино раздобыть не можешь!

— Это я-то не могу?

Улыбнувшись во весь рот, я вынула кошелек из кармана передника. Слегка потрясла им, чтоб Кассис услышал, как звенят монетки. От изумления он опешил. Он узнал кошелек.

— Ах ты ворюга! — вырвалось у него наконец. — Вот дрянь, воровка поганая!

Я взглянула на него, но смолчала.

— Откуда это?

— Поплыла и достала, — с вызовом ответила я. — И никакая я не воровка. Сокровище наше общее.

Но Кассис меня не слушал.

— Вот дрянь, вот воровка, — повторял он. Видно, его задело, что не он один может исхитриться и что-то достать.

— Чем я хуже тебя с твоим черным рынком? — невозмутимо сказала я. — Разве это не одно и то же? — Я сделала паузу, чтоб дать ему как следует переварить. — Ты просто злишься, что я сумела тебя переплюнуть.

Кассис ошалело смотрел на меня.

— При чем здесь это? — проговорил он наконец.

Я продолжала с вызовом смотреть на него. Кассиса всегда было просто расколоть. Как потом и его сына. Ни тот, ни другой особо шельмовать не умели. Раскрасневшись, Кассис уже перешел на крик, позабыв про всю конспирацию:

— Да я все, что хочешь, могу достать, — злобно шипел он. — Настоящие удочки для твоей дурацкой шуки, жвачку, туфли, шелковые чулки, даже шелковые трусики, если хочешь!

Я громко расхохоталась. В наших условиях и при нашем воспитании само упоминание о шелковых трусиках было полной нелепостью. В ярости Кассис схватил меня за плечи, потрянул.

— Прекрати сейчас же! — В исступлении голос его срывался. — У меня связи! Есть люди всякие. Я могу достать все, абсолютно все!

Видите, как легко оказалось вывести его из себя. В чем-то Кассис был избалован, слишком окрылен славой всемогущего старшего брата, мужчины в доме, первого, кто стал ходить в школу, самого большого, самого высокого, самого умного. Отдельные приступы сумасбродства — бегство в лес, удальство на берегах Луары, мелкое воровство с рыночных прилавков и из лавок в Анже — вырывались у него спонтанно и даже несколько истерично. Никакого особого куража сам он при этом не испытывал. Похоже, просто хотел что-то доказать нам с сестрой или самому себе.

Я явно наступила брату на больную мозоль. Он так яростно впился

пальцами мне в плечи, что назавтра это грозило появлением на коже крупных, как спелые ежевичины, пятен, но я и виду не подала, что мне больно. Наоборот, смотрела на него не мигая, стараясь переглядеть.

— У нас с Рен есть друзья, — сказал он, уже не так громко и почти взяв себя в руки, но по-прежнему впиваясь пальцами мне в плечи. — Могущественные друзья! Откуда, ты думаешь, у нее взялась эта помада? Или духи? Или та хреновина, которой она каждый раз мажет лицо перед сном? Как ты думаешь, откуда все это? И каким образом, ты думаешь, это нам достается?

Тут он отпустил меня, но в его глазах, несмотря на ухарство, я увидела смятение. И поняла, что он ошалел от страха.

12.

Фильма я почти не помню. Это был «Circonstances Atténuantes»^[45] с Арлетти и Мишелем Симоном, старый фильм, который Кассис с Рен уже видели. Рен, во всяком случае, это не огорчило; она, не отрываясь, замороженно пялилась на экран. Мне эта история показалась надуманной, слишком далекой от моей жизни. К тому же мои мысли были заняты совсем другим. Дважды пленка в проекторе обрывалась; во второй раз в зале зажгли свет, и зрители недовольно зашумели. Растерянного вида человек в смокинге призвал к тишине. Группа немцев, сидевших в углу, взгромоздив ноги на спинки передних сидений, принялась медленно хлопать в ладоши. Вдруг Рен, постепенно вышедшая из своего транса и уже начавшая раздраженно высказываться насчет обрыва фильма, возбужденно вскрикнула:

— Кассис! — Она потянулась через меня к брату, и я почувствовала сладковатый химический запах, исходящий от ее волос. — Кассис, он здесь!

— Тс-с-с! — яростно зашипел Кассис. — Не оборачивайся.

Некоторое время Рен с Кассисом сидели, уставившись прямо перед собой, с застывшими, как у манекенов, физиономиями. Потом брат краешком рта, как случается в церкви, изрек:

— Кто?

Ренетт едва заметно скосила глаза в угол, где сидели немцы.

— Там, сзади, — ответила она тем же манером. — С какими-то незнакомыми.

Вокруг толпа стучала ногами и орала. Кассис опасливо кинул беглый

взгляд вбок.

— Потом, когда погасят свет... — буркнул он. Минут через десять свет стал гаснуть, и фильм возобновился. Кассис, пригнувшись, стал пробираться со своего места к задним рядам. Я пустилась за ним. На экране Арлетти играла глазками и поводила бедрами в обтягивающем платье с глубоким вырезом. В отраженном свете проектора, озарившем наши согнутые, бегущие фигуры, лицо Кассиса казалось сизой маской.

— Идиотка, чеши обратно! — зашипел он на меня. — Кто тебя звал? Ты все испортишь!

Я замотала головой:

— Ничего я не испорчу, если ты меня не будешь гнать.

Кассис раздраженно махнул рукой. Он знал, что я зря слов на ветер не бросаю. В темноте было заметно, как он дрожит — то ли от радости, то ли от страха.

— Не высовывайся, — кинул он мне напоследок. — И не встревай в разговор.

И вот мы опустились на корточки в самом конце зала, рядом с сидевшими обособленно среди рядовой толпы немецкими солдатами. Некоторые из них курили; красные огоньки то и дело озаряли лица.

— Вон того видишь, с краю? — зашептал Кассис. — Это Хауэр. Мне надо с ним поговорить. Ты замри рядом — и ни слова, поняла?

Я промолчала. Я не собиралась ничего ему обещать. Кассис скользнул в проход к тому месту, где сидел солдат по имени Хауэр. С любопытством оглянувшись по сторонам, я отметила, что никто не обращает на нас ни малейшего внимания, кроме одного немца, стоявшего позади, худощавого, с острым носом и острым подбородком, молодого, в пилотке, слегка сдвинутой набекрень, и с сигаретой в руке. Рядом Кассис что-то поспешно нашептывал Хауэру, потом зашуршали какие-то бумажки. Остроносый немец усмехнулся мне и махнул рукой с сигаретой.

И тут меня будто током ударило: я его узнала. Это был тот самый солдат с рыночной площади, тот, который видел, как я украла апельсин. С минуту я остоленело, не отрываясь, смотрела на него.

Немец опять помахал рукой. Отблески света с экрана, освещая лицо, провели под глазами, под скулами щек черные зловещие тени.

Я бросила нервный взгляд на Кассиса, но брат был слишком увлечен разговором с Хауэром, ему было не до меня. Немец же по-прежнему выжидающе на меня смотрел, легкая улыбка играла на губах. Он стоял несколько поодаль от сидящих. Сигарету держал за кончик, пряча в округленной ладони; на освещенной коже руки темно выделялись кости. В

военной форме, а китель расстегнут. Сама не знаю почему, но это меня приободрило.

— Поди сюда, — тихо сказал немец.

Я онемела. Рот словно забило соломой. Рада бы бежать, да в ногах уверенности не было. И тогда я, вскинув подбородок, двинулась к нему.

Немец усмехнулся, снова затянулся сигаретой.

— Ты та девочка с апельсином, верно? — спросил он, когда я подошла поближе.

Я не отвечала.

Похоже, на мое молчание он и внимания не обратил.

— Ты шустрая. И я в детстве был такой. — Он полез в карман и вынул какой-то предмет в серебряной бумажке. — На! Тебе понравится. Это шоколад.

Я с подозрением взглянула и буркнула:

— Не надо.

Немец снова усмехнулся:

— Хочешь сказать, апельсины тебе больше по душе?

Я молчала.

— Помню, у реки был сад, — тихо сказал немец. — В деревне, где я жил. Там были такие крупные, такие темные сливы, каких я больше нигде не видал. Вокруг высокая изгородь. Хозяйские собаки шныряют. Все лето я пытался подобраться к тем сливам. Чего только не перепробовал! Ни о чем больше думать не мог.

Голос у него был приятный, с легким акцентом, глаза посверкивали сквозь пелену сигаретного дыма. Я на него поглядывала с опаской, не смея шевельнуться, прикидывая, издевается он надо мной или нет.

— Да к тому же краденое всегда слаще, ты как считаешь?

Теперь я точно знала, что издевается, глаза у меня негодующе вспыхнули.

Немец, верно, заметил выражение моего лица и засмеялся, не убирая руки с шоколадкой.

— Да ладно, Уклейка, бери! Представь, что ты ее стянула у бошей.

Шоколадка наполовину была растаявшая, я поспешила ее съесть. Это был настоящий шоколад, не белесый, крошащийся во рту эрзац, который мы иногда покупали в Анже. Немец насмешливо наблюдал, как я ем, а я косилась на него по-прежнему подозрительно, но с нарастающим любопытством.

— И достали все-таки? — спросила я наконец с полным ртом шоколада. — Ну, сливы эти?

Немец кивнул:

— Добыл, Уклейка. До сих пор помню их вкус.

— И не застукали?

— Что было, то было. — Усмешка стала грустной. — Я столько их съел, что меня стало рвать, тут меня и накрыли. Ну и всыпали мне! Но все-таки я своего добился. Ведь это главное, верно?

— Ну да, — кивнула я. — Победа это здорово. — Я помолчала. — Так вы поэтому никому не сказали про апельсин?

Немец пожал плечами:

— А зачем? Это не мое дело. К тому же у зеленщика их много. Что для него один апельсин!

Я кивнула.

— У него и грузовик есть! — сказала я, вылизывая серебряную бумажку, чтоб ни крошки шоколада не пропало.

Немец со мной согласился:

— Некоторые стараются только для себя. Это несправедливо, верно?

Я кивнула:

— Как мадам Пети, она всем для шитья торгует. За кусок парашютного шелка, что ей даром достался, втридорога дерет.

— Вот видишь!

Тут я спохватилась: пожалуй, не стоило говорить про мадам Пети. Искоса взглянула на немца, но он, казалось, слушал рассеянно. Взгляд его был прикован к Кассису, продолжавшему нашептывать что-то Хауэру в конце ряда. Меня неприятно кольнуло: с чего это Кассис ему интересней, чем я.

— Это мой брат, — сказала я.

— Ах вот как? — Немец снова с улыбкой повернулся ко мне. — Значит, семейка. Скажи-ка. И это ведь еще не полный комплект?

Я замотала головой:

— Я самая младшая. Framбуаз.

— Очень рад познакомиться, Франсуаз! Я весело поправила:

— Framбуаз!

— Лейбниц. Томас.

Он протянул руку. Немного поколебавшись, я ее пожала.

13.

Вот так я познакомилась с Томасом Лейбницем. Ренетт почему-то

разозлилась на меня за то, что я с ним разговаривала, и дулась долго, до самого окончания кино. Хауэр сунул Кассису пачку сигарет «голуаз», и мы с ним возвратились на свои места, Кассис — затягиваясь сигаретой, я — вся в своих мыслях. Только после того, как кончилось кино, я созрела задавать вопросы.

— Ты эти сигареты имел в виду, когда орал, что все можешь достать?

— Ну, имел.

Вид у Кассиса был очень гордый, но все-таки сидел в нем какой-то страх. Он держал, подражая немцам, сигарету между пальцами в округленной ладони, только у него это выходило очень по-дурацки и неуклюже.

— Ты им что-нибудь рассказываешь? Рассказываешь?

— Ну, бывает... рассказываем кое-что, — кивнул Кассис с глупой ухмылкой.

— Что?

Кассис сделал неопределенный жест и сказал, понизив голос:

— Все началось с того старого идиота и с его приемника. Так ему и надо. Нечего было приемник припрятывать, и нечего было из себя правильного корчить, когда мы с ребятами за немцами подглядывали. Иногда оставляем записки посыльному или в кафе. Иногда у продавца газет забираем то, что они приносят. Иногда они нам сами передают.

Он старался говорить непринужденно, но чувствовалось, что волнуется, нервничает:

— Подумаешь, дело какое! Да большинство бошей сами черным рынком пользуются, посылают вещички домой в Германию. То, что реквизируют. Ничего тут такого нет.

Я, подумав, сказала:

— Ну а гестапо?

— Ты, Буаз, прямо как маленькая! — Кассис разозлился, как бывало всякий раз, когда я на него наезжала. — Да что ты про гестапо-то знаешь? — Он боязливо оглянулся по сторонам и снова понизил голос: — Понятно, с этими мы дела не имеем. Тут другое. Говорю тебе, тут просто свои дела. Так или иначе, тебя это не касается.

Я возмущенно вскинулась:

— Это еще почему? Я тоже кое-что знаю!

И тут я пожалела, что не выдала тому немцу больше про мадам Пети, не сказала, что она еврейка. Кассис с пренебрежением бросил:

— Да не поймешь ты!

Домой мы ехали молча, видно, из мрачного предчувствия, что мать

пронюхает, куда мы удрали без спроса, но, вернувшись домой, мы застали ее в необычном расположении духа. Не было сказано ни слова ни про запах апельсина, ни про бессонную ночь, ни про беспорядок, устроенный мной в ее комнате, зато нас ждал настоящий праздничный ужин: морковный суп с цикорием, boudin noir^[46] с яблоками и картошкой, серые гречневые блинчики, а на сладкое — clafoutis,^[47] увесистый и сочный, с прошлогодними яблоками и глазированный жженым сахаром с корицей. Как обычно, мы ели молча, но мысли матери, похоже, были где-то далеко, она совершенно позабыла сказать мне, чтоб я убрала локти со стола, и как будто не замечала ни моих разлохмаченных волос, ни моей самодовольной ухмылки.

Должно быть, подумала я, это апельсин ее приструнил.

Но упущенное было восполнено на следующий день, причем с удвоенной силой, едва мать пришла в себя. Мы изо всех сил старались не попадаться ей на глаза, спешно выполняли свои обязанности по дому и укрывались на своем Наблюдательном Посту у реки, но в игры нам особо не игралось. Иногда за нами увязывался Поль, но он чувствовал, что теперь лишний среди нас, что исключен из нашей компании. Мне было его жаль, я даже чувствовала себя слегка виноватой, уж я-то знала, что значит быть изгоем, но ничего поделать теперь не могла. Пусть Поль сам отвоевывает себе блага, как я свои.

Кроме того, Поля, как, впрочем, и все семейство Уриа, недолюбливала мать. Считала Поля бездельником, из лени не желающим ходить в школу, а от тупости не способным выучиться читать, как другие деревенские дети. Родителей его она тоже не жаловала — и отца, торговавшего мотылем у дороги, и мать, починявшую людям одежду. Но особенно ненавистен ей был дядька Поля. Сперва я думала, что это обычное деревенское соперничество. Филипп Уриа был хозяин самой большой фермы в Ле-Лавёз, обладатель необозримых полей подсолнечника, картофеля, капусты и свеклы, имевший два десятка коров, свиней, коз и даже трактор, когда большинство местных крестьян по-прежнему пахали с помощью ручного плуга и лошади, и еще настоящий доильный аппарат. Я считала, что мать ему завидует, что это был бунт бьющейся в одиночку вдовы против зажиточного вдовца. Но все равно это было странно, потому что Филипп Уриа был закадычный друг отца. Они вместе рыбачили, вместе плавали в Луаре, имели общие секреты. Филипп собственноручно высек имя моего отца на памятнике героям войны и каждое воскресенье носил туда цветы. Но мать никогда не достаивала его больше чем кивком. И так не слишком

приветливая, после того случая с апельсином мать стала еще враждебней к нему.

Признаться, лишь много позже кое-что для меня прояснилось. И признаться, почти через полсотни лет, когда стала читать альбом.

«Уриа уже знает, — писала она. — Иногда, я замечаю, поглядывает на меня. Жалостливо и с любопытством, как на тварь, которую переехал на дороге. Вчера вечером видел, как я выходила из „La Rép“ с тем, что я у них вынуждена покупать. Ничего не сказал, но я поняла, что догадался. Понятно, он думает, что нам неплохо пожениться. Считает, что нормально, мол, вдовец с вдовой, хозяйство к хозяйству. Брата у Янника нет, чтоб после него взять ферму в свои руки, а женщине одной такое не осилить».

Была бы она нормальной и милой женщиной, может, и заподозрила бы я вскоре нечто этакое. Но милой женщиной Мирабель Дартижан назвать было никак нельзя. Тверда была, как каменная соль, сера, как речная тина; ярость накатывала на нее мгновенно, неукротимо, с неотвратимостью летней грозы.

14.

Больше на этой неделе поездок в Анже не случилось, и Кассис, и Ренетт, казалось, избегали упоминаний о нашем общении с немцами. Что касается меня, о своем разговоре с Лейбницем мне тоже говорить не хотелось, но забыть я его не могла. Мной попеременно овладевали то подозрительность, то странное ощущение собственного могущества.

Кассис нервничал, Ренетт была угрюма и раздражена, вдобавок ко всему целую неделю моросил дождь; Луара зловеще вздулась, и поля подсолнечника стали сизые от дождя. Со дня нашей первой поездки в Анже миновало семь дней. Наступил и прошел базарный день. На этот раз мать в город сопровождала Ренетт, а мы с Кассисом остались и угрюмо бродили по мокрому от дождя саду. Глядя на зеленые сливы на ветках, я вспоминала про Лейбница со смешанным чувством тревоги и любопытства. И все гадала, встречу ли я с ним еще.

Как вдруг неожиданно это произошло.

Был рыночный день, раннее утро, на сей раз наступила очередь Кассиса запастись провиантом. Рен вытаскивала из ледника увернутые в

виноградные листья сыры, мать собирала в курятнике яйца. Я только что возвратилась с реки с утренним уловом: парой небольших окуньков и парой уклеек, которые порубила для наживки и оставила в ведерке у окна. В этот день немцы обычно в деревню не наведывались, и потому, когда постучали, дверь как раз открыла я.

Их было трое; двое мне незнакомых и Лейбниц, теперь очень подтянутый в своей форме, с ружьем через плечо. При виде меня его глаза слегка округлились от удивления, потом он улыбнулся.

Если бы не Лейбниц, я бы тотчас захлопнула дверь перед носом у незнакомых немцев, как Дени Годэн, когда они явились забирать его скрипку. Я бы непременно позвала мать. Но тут был иной случай; я неловко переминалась на пороге, не зная, как быть.

Лейбниц повернулся к остальным и что-то сказал им по-немецки. Как мне показалось по жестам, которыми он сопровождал свои слова, что он намерен осмотреть наш дом сам и чтоб остальные шли дальше к Рамондэну и к Уриа. Один из незнакомых немцев взглянул на меня, но ничего не сказал. Все трое засмеялись, потом Лейбниц кивнул им и, по-прежнему улыбаясь, прошел мимо меня в кухню.

Я понимала, что надо бы позвать мать. Когда приходили солдаты, она всегда становилась угрюмой обычного, замирала с каменным лицом, не скрывая своего недовольства их появлением и той бесцеремонностью, с которой те хватали все, что хотели. А сегодня и подавно. Уж и без них ей угомона нет, только их прихода еще не хватало.

Когда я спрашивала Кассиса, зачем немцы ходят, брат объяснил, что продовольствия становится все меньше и меньше. Ведь и немцам кушать хочется.

— А они жрут, как свиньи, — с презрением рассказывал он. — Заглянула бы в солдатскую столовку — хлеб наворачивают прямо буханками, с вареньем, с паштетом, с гусятиной, с сыром, с солеными анчоусами, с ветчиной, с кислой капустой, с яблоками — ты не поверишь!

Лейбниц прикрыл за собой дверь и огляделся. В отсутствие прочих солдат он уже держался не так подтянуто, уже не как военный. Сунул в карман руку, достал сигарету.

— Зачем пришли? — осмелилась я наконец. — У нас ничего нет.

— Приказ, Уклейка, — сказал Лейбниц. — Отец твой где?

— Нету у меня отца, — сказала я с некоторым вызовом. — Немцы убили.

— Ах, прости. — По-моему, он смутился, а я ощутила даже некоторый прилив гордости. — Ну а мать?

— На заднем дворе. — Я метнула на него взгляд: — Сегодня рыночный день. Если отберете что мы продать хотим, у нас ничего не останется. Мы только на это и живем.

Лейбниц огляделся несколько пристыженно, как мне показалось. Его взгляд скользнул по чистому кафельному полу, по лоскутным занавескам, по выщербленному струганому сосновому столу. Он застыл в нерешительности.

— Я должен забрать, Уклейка, — мягко сказал он. — Меня накажут, если не выполню приказ.

— Скажите, что ничего не нашли. Скажите, что когда пришли, уже ничего не осталось.

— Можно и так. — Его взгляд задержался на ведре с рыбными обрезками у окна. — В доме есть рыбак? Кто? Твой брат?

Я замотала головой:

— Не брат. Я.

Лейбниц удивленно на меня уставился.

— Ты рыбачишь? — переспросил он. — Сколько же тебе лет?

— Мне? Девять, — сказала я, слегка задетая.

— Девять? — В его глазах плясали искорки, но рот оставался строг. — Знаешь, я ведь и сам рыбак, — шепотом сказал он. — А что ж ты тут ловишь? Форель? Карпа? Окуня?

Я мотнула головой.

— Кого же?

Щука — умнейшая из пресноводных рыб. При том, что у нее острые зубы, хитрющая и осторожная, и выманить ее можно только с помощью тщательно подобранной наживки. Ее настораживает любая мелочь: малейшая перемена температуры воды, один намек на движение. Быстро и просто поймать щуку невозможно; если не выпадет случайная удача, вылавливание щуки требует времени и терпения.

— Тогда дело другое, — задумчиво сказал Лейбниц. — Нехорошо, пожалуй, бросать брата рыбака в беде. — Он усмехнулся: — Щуку, говоришь?

Я кивнула.

— А на что ловишь, на мотыля или на мякиш?

— И так, и так.

— Понятно.

Он уже не улыбался; разговор пошел серьезный. Я глядела на него, но молчала. От такого моего взгляда Кассису обычно становилось не по себе.

— Не забирайте то, что мы везем на рынок, — повторила я.

Опять пауза. И Лейбниц кивнул.

— Думаю, мне удастся что-нибудь им присочинить, — медленно сказал он. — Только и ты помалкивай. Иначе мне грозят крупные неприятности. Поняла?

Я кивнула. Баш на баш. В конце концов, не сболтнул же он про апельсин. Я плюнула себе в ладонь, скрепить уговор. Лейбниц без улыбки, с полной серьезностью пожал мне руку; как будто между нами состоялось вполне взрослое соглашение. Я уж было подумала, сейчас он взамен что-то у меня попросит, но он промолчал, и это я отметила с одобрением. Лейбниц не такой, как другие, сказала я себе.

Я смотрела ему вслед. Он шел не оглядываясь. Я смотрела, как он неторопливо шагает по улочке к ферме Уриа, как загасил сигарету о стену флигеля. Чиркнувший кончик озарил серый луарский камень яркими искрами.

15.

Кассису с Ренетт я ничего не сказала о том, что виделась и говорила с Лейбницем. В пересказе пропала бы вся прелесть случившегося. Нет, я хранила свою тайну глубоко в себе, время от времени мысленно возвращаясь, рассматривая тайком как украденное сокровище. С этой тайной пришло ко мне новое, взрослое чувство собственной значимости.

Теперь Кассис со своими журналами про кино и Ренетт с ее помадой вызывали у меня легкое презрение. Корчат из себя больших умников. А чем таким особым отличились? Ведут себя как дети, тешат себя, как маленькие, дурацкими байками. Немцы к ним и относятся как к детям, задабривают всякими безделушками. Меня Лейбниц задобрить не старался. Говорил со мной уважительно, как с равной.

Ферму Уриа разграбили основательно. Отобрали все собранные за неделю яйца, половину молока, пару целых соленых окороков, семь фунтов масла, бочку растительного, две дюжины бутылок вина, плохо припрятанных в погребе за перегородкой, вдобавок кучу тушеного мяса и всяких заготовок. Про это мне рассказал Поль. Я почувствовала легкий укор совести — дядька Поля был главным кормильцем для всей семьи, — и я дала себе слово, что всегда поделюсь с Полем последним куском. Правда, лето было в самом разгаре. Филипп Уриа довольно скоро сможет возместить потери. Да и у меня были заботы поважней.

Апельсиновый мешочек хранился у меня в тайнике. Не под матрасом,

где Ренетт по-прежнему прятала, как ей казалось втайне от всех, свою косметику. Насчет тайника я оказалась куда изобретательнее ее. Поместив мешочек в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой, я погрузила банку в бочку с солеными анчоусами, хранившуюся у матери в погребе. С помощью бечевки, обвязанной вокруг горлышка банки, можно было, когда потребуется, выудить ее из бочки. Разоблачение мне вряд ли грозило, так как мать терпеть не могла едкий запах анчоусов и обычно посылала меня за ними в погреб.

Я знала, что мешочек сработает еще раз.

Я выжидала до четверга. Вечером перепрятала мешочек в зольник под плитой, где он от жара быстрее запахнет. Ну и, понятно, вскоре мать, постояв у плиты, принялась тереть висок, резко окрикая меня, если я не вовремя подносила ей муку или дрова, ворчливо приговаривая:

— Смотри не кокни мне дорогие тарелки!

И все поводила носом — озадаченно, тревожно, как животное. Для пущего эффекта я прикрыла кухонную дверь, и апельсиновый дух снова наводнил комнату. Я опять засунула, как и прежде, мешочек ей в подушку, — кусочки апельсиновой корки уже ссохлись, почернели от печного жара, было ясно, что мешочек мне служит в последний раз, — протолкнув в порванную щелку.

Еда подгорела.

Правда, никто ей ни слова не сказал, и мать водила пальцем по черному, вспучившемуся краю своих обуглившихся блинчиков, и прикладывала руку к виску снова и снова, и это было уже просто невыносимо. На сей раз она не спрашивала, откуда в доме апельсины, но было видно, что вопрос застрял у нее в горле. Трогает висок, крошит блин, водит пальцем, ерзает, временами срывается пронзительным, злым окриком на малейшее нарушение заведенного порядка.

— Рен-Клод! Режь хлеб на доске! Не смей мне крошить на чистый пол! — кричит визгливо, раздраженно.

Отрезав кусок, я нарочно выворачиваю хлеб на доске нижней плоской стороной наружу. Мать почему-то это всегда бесит, как бесит и моя привычка срезать хрустящие куски с боков, оставляя середину.

— Переверни хлеб, Фрамбуаз! — Снова трогает висок, как бы походя удостовериться, на месте ли. — Сколько раз можно твердить...

И застывает на полуслове с открытым ртом, голова набок.

И сидит так с полминуты, с остановившимся взглядом туповатой ученицы, силящейся вспомнить теорему Пифагора или правило употребления причастного оборота. Оливково-стеклянный взгляд,

застывший, оледеневший. Переглянувшись, мы ждем, сколько это еще продлится. Но вот она шевельнулась, привычно раздраженно дернулась и принялась собирать тарелки, хотя есть мы еще не кончили. Но и тут никто не сказал ни слова.

Назавтра, как я и предполагала, мать с постели не поднялась, и мы, как и прежде, отправились в Анже. На сей раз не в кино; просто пошататься по городу. Усевшись на terrasse центрального городского кафе «Le Chat Rouget»,^[48] Кассис картинно закурил сигарету. Мы с Ренетт заказали diabol-menthe, а Кассис решил было заказать себе пастис,^[49] но стусевавшись под презрительным взглядом официанта, попросил rapaché.^[50]

— Мы кого-то ждем? — с любопытством спросила я. — Немцев ваших? Кассис метнул на меня взгляд:

— Погромче ори, идиотка! — И шепотом добавил: — Иногда мы встречаемся здесь. Можно сообщения передавать. Незаметно. Сведения им продаем.

— Какие сведения?

Кассис презрительно хмыкнул, бросил раздраженно:

— Да мало ли! Кто приемник прячет. Кто что по-черному сбывает. Кто чем приторговывает. Кто в Сопротивлении.

На последнем слове он сделал особое ударение, произнеся его еще тише.

— В Сопротивлении, — повторила я. Попытайтесь понять, что это тогда значило для нас. Мы были просто дети. У нас была своя жизнь. Мир взрослых для нас был как дальняя планета, сами они — как инопланетяне. Мы мало что понимали в их жизни. И меньше всего в Сопротивлении — по слухам, какой-то организации. Гораздо позже об этом много можно было узнать из книг и телепередач, но тогда ничего подобного не было. Тогда в умах существовала полная мешанина, одни слухи сменялись на полностью противоположные, пьяницы в кафе вслух кляли новый régime, городские бежали к родственникам в деревню, подальше от захватчиков, наводнивших города. Единого Сопротивления — тайной армии в понимании народа — как такового не существовало. Было много разных групп — коммунисты, гуманисты, социалисты, и просто люди, готовые на самопожертвование, и еще балабоны, и пьяницы, и соглашатели, и блаженные, и все они были вызваны к жизни временем, но в те дни не было никакой армии и никаких особых тайн. Мать говорила о них с презрением. Считала, что куда вернее было бы жить, не поднимая головы.

Но при всем этом слово, произнесенное Кассисом шепотом, внушало благоговейный страх. Оно нашло отклик в моей страсти к приключениям и драматическим событиям. Вызывало в воображении схватки соперников-бандитов за власть, ночные вылазки, выстрелы, тайные сходки, клады, отвагу перед лицом опасности. В каком-то смысле оно перекликалось с играми, в которые прежде мы вместе играли, Рен, Кассис и я, — перестрелка картошкой, тайные пароли, свои святыни. Но эта игра была покруче, только и всего. И ставки повыше.

— Где ты видел это Соппротивление? — презрительно буркнула я, притворяясь, будто его слова не произвели на меня никакого впечатления.

— Ну, пока, может, и не видел, — сказал Кассис. — Поискать надо. Мы и так уже столько всякого нарыли.

— Ты не думай, — вставила Ренетт, — про наших, из Ле-Лавёз, мы ничего им не говорим. Мы на своих не доносим.

Я согласилась, что это было бы не по-людски.

— И потом, Анже — это вообще дело другое. Тут все этим пробавляются.

Я прикинула в уме и сказала:

— И я могу кое-чего разузнать.

— Да куда тебе! — насмешливо бросил Кассис.

Я чуть было не проговорила, что сказала Лейбницу про мадам Пети и про парашютный шелк, но решила, что не стоит. Вместо этого спросила Кассиса про то, что не давало мне покоя с тех самых пор, как он впервые упомянул об их связи с немцами.

— Ну а что они делают, когда вы им все выкладываете? Расстреливают тех людей? На фронт посылают?

— Да нет же, что за глупости!

— Ну а все же?

Но Кассис уже меня не слушал. Его внимание переключилось на газетный киоск у церкви напротив; там стоял черноволосый парень примерно его лет и, не отрываясь, глядел на нас. Потом нетерпеливо махнул рукой в нашем направлении. Кассис расплатился с официантом и сказал:

— Пошли!

Мы с Ренетт потянулись за ним. Видно, этот парень был знакомый Кассиса, — наверное, по школе, решила я. Я уловила обрывок фразы насчет работы в выходные; приглушенный короткий нервный смешок. Потом увидела, как парень сунул Кассису в руку свернутую бумажку.

— Ладно, пока, — сказал Кассис, отходя с равнодушным видом.

Записка была от Хауэра.

Только Хауэр с Лейбницем хорошо говорят по-французски, пояснил Кассис, пока мы по очереди читали записку. Остальные — Хейнеман и Шварц — с пятого на десятое, а вот Лейбниц, может, даже и сам француз, например, из Эльзас-Лотарингии, у него и выговор, как у эльзасцев, гортанный. Было видно, что эта мысль тешит Кассиса, как будто доносить наполовину французку вовсе не так предосудительно.

«Встреча в двенадцать у школьных ворот, — говорилось в короткой записке. — Есть кое-что для тебя».

Ренетт провела пальцами по записке. Щеки у нее возбужденно пылали.

— Который час? — спросила она. — Не опоздаем? Кассис тряхнул головой:

— Мы же на велосипедах! Поглядим, что там у них.

Он старался говорить сжато.

Когда мы вытягивали наши велосипеды с их обычной стоянки в проулке, я заметила, как Ренетт, вытащив из кармашка пудреницу, быстро взглянула на себя в зеркальце. Нахмурилась, достала из того же кармана свою позолоченную помаду, оживила краску на губах, улыбнулась, еще подмазала, снова улыбнулась. Прикрыла пудреницу. Нельзя сказать, чтоб это слишком меня удивило. Еще с первой поездки было ясно, что в городе ее привлекает не только кино. Тщательность, с которой она одевалась, внимание, уделяемое прическе, помада на губах, духи — все это явно для кого-то предназначалось. По правде говоря, меня это не особо интересовало. Ничего нового в поведении Рен для меня тут не было. В двенадцать она уже выглядела шестнадцатилетней. А с такой замысловатой завивкой и с помадой на губах могла сойти и за девицу постарше. Я уже замечала, как на нее поглядывают деревенские. Поль Уриа в ее присутствии столбенел и лишался дара речи — и даже такой старик, как Жан-Бене Дарью, которому уже почти сорок, да и Огюст Рамондэн, да и Рафаэль из кафе. Парни на нее заглядывались, я это знала. И Рен поглядывала на них. Едва в школу пошла, тут же начались рассказы, с какими мальчишками она там познакомилась. Сначала был Жюстэн — с такими потрясающими глазами, потом Реймон, смешивший весь класс, потом Пьер-Андре, который умел играть в шахматы, потом Гийом, которого родители привезли в прошлом году из Парижа. Оглядываясь назад, я могла бы даже сказать, когда именно кончились все эти рассказы. Пожалуй что с появлением в городе немецкого гарнизона. Я внутренне отмахнулась от всего этого. Понятно, крылся в этом какой-то секрет, только секреты Ренетт мало меня волновали.

Хауэр стоял при воротах на часах. В дневном свете я смогла получше его разглядеть: широкомордый немец с почти ничего не выражающей физиономией. Он тихо буркнул нам еле заметно:

— Вверх по реке, примерно минут десять.

И махнул с нарочитой поспешностью, как бы шуганув нас прочь. Даже не оглянувшись на него, мы — в том числе и Ренетт, и это навело меня на мысль, что не Хауэр объект ее увлечения, — вскочили на велосипеды.

Не прошло и десяти минут, как мы заметили Лейбница. Сначала мне показалось, будто он без военной формы, но потом я увидела, что, просто сбросив китель и сапоги, он сидит, перекинув ноги через парапет над коварно бурлящей, бурой Луарой. Приветливо махнув, он поманил нас к себе. Мы оттащили велосипеды с насыпи вниз, чтоб их было незаметно с дороги, подошли и уселись рядом с Лейбником. Теперь он мне показался моложе, чем раньше, почти ровесником Кассиса, хотя держался очень уверенно, чего всегда не хватало моему брату, как он ни старался. Кассис с Ренетт молча уставились на Лейбница, точно дети в зоопарке, стоя перед клеткой опасного зверя. Ренетт стала вся пунцовая. Лейбниц, словно не замечая наших пытливых взглядов, улыбаясь, закурил сигарету.

— Вдовушка Пети, — наконец произнес он, затягиваясь. — Молодец. — Он зашелся смешком. — Парашютный шелк и много кое-чего еще: вот уж настоящий черный рынок, на все вкусы. — Он подмигнул мне. — Отличная работа, Уклейка!

Брат с сестрой в изумлении взглянули на меня, но смолчали. Я тоже, меня распирала гордость и восторг от его похвалы.

— Мне выпала удачная неделя, — тем же тоном продолжал Лейбниц. — Жвачка, шоколад и... — он сунул руку в карман и вынул сверток, — ...вот это!

Этим оказался носовой платочек с кружевами; он протянул его Ренетт. Сестра пуще запылала от смущения.

Потом он повернулся ко мне:

— Ну а ты, Уклейка, ты чего бы хотела? — Он усмехнулся: — Помаду? Крем для лица? Шелковые чулки? Хотя, скорее, это для твоей сестры. Куклу? Мишку?

Его слова звучали ласково-насмешливо, в глазах играли серебряные лучики.

Теперь самое время было бы сказать, что имя мадам Пети чисто случайно сорвалось у меня с языка. Но Кассис по-прежнему глядел на меня с изумлением, Лейбниц улыбался, и тут внезапно мне в голову пришла идея.

— Рыболовные снасти! — выпалила я, не колеблясь. — Настоящие, исправные снасти. — Я помолчала, глядя с вызовом ему прямо в глаза. — И еще апельсин.

16.

Через неделю мы снова встретились с ним на том же месте. Кассис явился, чтоб сообщить, что вчера в «Le Chat Rouget» до поздней ночи играли в рулетку, и еще то, что, стоя у кладбища, подслушал, как кюре Транкэ обмолвился о тайнике, где спрятано церковное серебро. Но Лейбниц слушал его невнимательно.

— Я сделал это втайне от наших, — сказал он мне. — Они бы вряд ли одобрили, узнав, что это для тебя.

Из-под небрежно брошенного на берегу кителя он достал узкую зеленую холщовую сумку фута в четыре длиной. Подпихнул ко мне. В ней что-то звякнуло.

— Это тебе, — сказал он мне, застывшей в нерешительности. — Бери.

В сумке была удочка. Не новая, но даже я понимала, что отличного качества, бамбуковая, почерневшая от времени, с поблескивающей металлической катушкой, крутившейся под пальцами послушно, как на подшипнике. От изумления у меня захватило дух.

— Это... мне? — переспросила я, не смея поверить такому счастью.

Лейбниц рассмеялся, весело, от души.

— Тебе, конечно! Рыболов рыболову друг, разве нет?

Я осторожно, любовно провела пальцами по удочке. Катушка была прохладная и чуть маслянистая на ощупь, будто специально смазанная жиром.

— Только держи ее в секрете, поняла, Уклейка! — сказал Лейбниц. — Ни слова ни родителям, ни друзьям. Ты ведь умеешь хранить тайны, правда?

Я кивнула:

— Умею!

Он улыбнулся. Глаза у него были ясные, темно-серые.

— Чтоб поймала щуку, про которую мне говорила, идет?

Я снова кивнула, и он снова засмеялся:

— Знаешь, на такой спиннинг даже немецкую подлодку можно подцепить!

Мгновение я оценивающе смотрела на него, просто чтобы понять, издевается он или подтрунивает. Он явно подсмеивался, но, как мне показалось, вполне добродушно, да и свою часть сделки он выполнил. Только одно не давало мне покоя.

— А мадам Пети, — робко начала я, — ей ничего плохого не будет, а?

Лейбниц вынул изо рта сигарету, стряхнул пепел в воду.

— Не думаю, — бросил он небрежно. — Если она будет держать язык за зубами. — Тут он резко перевел на меня взгляд, одновременно не

выпуская из поля зрения и Кассиса с Ренетт. — К вам, всем троим, это тоже относится, ясно?

Мы кивнули.

— Ах да, вот еще что тебе, — он сунул руку в карман. — Боюсь, придется поделить на всех. Только один удалось достать.

И он протянул мне апельсин.

Ну как после этого не пойдет голова кругом. Мы все были очарованы. Кассис меньше, чем мы с Рен; наверно, потому, что был старше, больше соображал, по какому острому краю мы ходим. Ренетт краснела и смущалась, а я... что ж, я, должно быть, была покорена больше всех. Началось все с удочки, но и кроме этого было много всякого — и его выговор, и ленивые манеры, и его бесшабашность, и его смех. Да, уж он был по-настоящему неотразим, это точно, не то что суетливый, с бегающими глазками сын Кассиса Янник пытается из себя изобразить. Нет, Томас Лейбниц был хорош своей естественностью, даже в понятии диковатой девчонки, голова у которой забита всяким вздором.

Я не могла сказать точно, что в нем притягивало. Рен, наверно, сказала бы — то, как он на тебя смотрит и ничего не говорит; или как его глаза меняют цвет — то серо-зеленые, то серо-карие — как наша река; или как он ходит, пилотка чуть сдвинута на затылок, руки в карманах, точно мальчишка-прогульщик. Кассис, наверно, сказал бы, что все дело в его отчаянной храбрости: он мог переплыть Луару в самом широком месте или повиснуть вверх тормашками с помоста Наблюдательного Пункта с безрассудством подростка, которому неведом страх. Он не успел еще и ступить в Ле-Лавёз, как сразу нашел к нам подход. Сам родом из шварцвальдской деревни, он сыпал прибаутками про свою семью, про сестер и братьев, про свои жизненные задумки. Он вечно строил планы. Бывало, о чем бы ни говорит, каждая фраза начинается словами: «Когда война кончится и я разбогатею...» Его замыслам не было конца. Это был первый в нашей жизни взрослый, до сих пор думавший, как мальчишка, строивший планы, как мальчишка, и, может, в конечном счете именно это нас к нему и привлекало. Он был такой же, как мы, вот в чем дело. Он жил по нашим правилам.

На войне он убил одного англичанина и двух французов. Он не делал из этого тайны, и то, как об этом рассказывал, убеждало, что выбора у него не было. После мне приходила в голову мысль, что среди убитых им мог быть мой отец. Но даже и это я была готова ему простить. Я была готова простить ему все.

Конечно же, поначалу я вела себя с оглядкой. Мы встречались с ним

еще три раза, дважды только с ним у реки, один раз в кино, где были и остальные — Хауэр, кургузый и рыжий Хейнеман и толстый, неповоротливый Шварц. Дважды посылали записки через мальчишку у газетного киоска, еще пару раз получали сигареты, журналы, книжки, шоколад и пакетик с нейлоновыми чулками для Ренетт. Дети обычно вызывают меньше подозрений. При них меньше остерегаются лишнего сболтнуть. Вы даже не представляете, сколько всякого мы разузнавали и все это передавали Хауэру, Хейнеману, Шварцу и Лейбницу. Другие солдаты не стремились с нами общаться. Шварц, по-французски говоривший плохо, иногда кидал плотоядные взгляды на Ренетт, нашептывая ей что-то сальное на своем скрипучем немецком. Хауэр был какой-то надутый и деревянный. А Хейнеман — какой-то суетливо-нервный, беспрестанно почесывал рыжую щетину, составлявшую основную часть его физиономии. В остальных немцах было что-то пугающее.

Только не в Томасе. Томас был такой же, как мы. Он нашел к нам подход, как никто другой. Оно и понятно: матери было явно не до нас, отец погиб на фронте, даже особых приятелей у нас не было, ну а тягот войны мы сильно не испытывали. Мы вряд ли отдавали себе отчет в том, что происходит, просто жили по своим понятиям в своем невежественном мире. Жадная привязанность к Томасу обрушилась на нас неожиданно-негаданно. Не из-за того, что он таскал нам шоколад и жвачку, косметику и журналы. Нам необходимо было хоть кому-то рассказывать о своих подвигах, чтоб хоть кто-то нами восхищался, чтоб иметь соратника в наших секретах, молодого, энергичного, рассказывавшего столько всего увлекательного, что даже Кассису о таком можно было только мечтать. И в одночасье мы все это получили. Мы были диковаты, как утверждала наша мать, а тут позволили себя приручить. Должно быть, он с самого начала это понимал, потому что сразу же верно себя повел, привечая нас поодиночке, въязывая к каждому свое особое отношение. Даже и теперь, прости, Господи, я почти готова в его искренность поверить. Даже теперь.

Для верности я припрятала удочку в Сундук Сокровищ. Пользоваться ею надо было с крайней осторожностью, так как у нас в Ле-Лавёз, если позабудешь прикрыть ставни, другие не позабудут влезть к тебе в окно, а матери и полунамека хватит, чтоб насторожиться. Поль, конечно, прознал, но я сказала ему, что это удочка отца, а со своим заиканием Поль в сплетники не годился. Но даже если что-то и заподозрил, Поль держал язык за зубами, и я была ему за то благодарна.

Июль выдался жаркий и отвратный, с постоянными грозами, когда

багрово-серые тучи неистово сгущались над рекой. К концу месяца Луара вырвалась из берегов, течением унесло все мои сети и ловушки, вода залила кукурузное поле Уриа с едва начавшей желтеть кукурузой всего за три недели до урожая. В тот месяц дождь лил почти ежедневно, молния с треском разрывала небо, как громадный рулон серебряной бумаги; Ренетт визжала и пряталась под кровать, а мы с Кассисом, разинув рты, замирали у раскрытого окна, чтоб проверить, уловят ли наши зубы радиосигнал. Головные боли у матери сделались чаще, хотя в тот месяц я всего дважды, с запасом на следующий, подкладывала апельсиновый мешочек — обновленный кожурой нового апельсина, принесенного нам Томасом. Остальное добавлялось без моей помощи, мать часто мучилась по ночам, а вставая по утрам, еле ворочала языком и была мрачнее тучи. В такие дни я думала о Томасе, как страждущий о хлебе насущном. По-моему, и остальные тоже.

Фруктам нашим тоже досталось от дождя. Яблоки, груши и сливы непомерно разбухали, затем лопались и гнили на ветвях, а осы набивались в уродливые трещины в таком количестве, что кроны, наполняясь вялым жужжанием, бурели от них. Мать старалась изо всех сил. Она прикрывала своих любимцев от дождя брезентом, но даже это не спасало. Земля, пропекшаяся и побелевшая на июньском солнце, чавкала жижей под ногами, деревья стояли в лужах воды, от которой гнили выступавшие из земли корни. Мать наваливала горой вокруг стволов опилки вперемешку с землей, но и это мало помогало. Плоды падали на землю, превращая ее в липкое фруктовое месиво.

Мы спасали все, что можно было спасти, мы переваривали незрелые фрукты в джем, но было ясно, что зерновые безвременно погибли. Мать вообще прекратила с нами разговаривать. На все это время ее сжатые губы стянулись бесцветным рубцом, глаза ввалились. Тик, предвестник ее головной боли, теперь почти не исчезал, а количество таблеток в банке в ванной комнате таяло быстрее обычного.

Рыночные дни теперь протекали в безрадостном молчании. Продавали что могли — с зерновыми было худо по всей округе, не осталось на Луаре фермера, которого бы миновала беда, — а бобовые, картофель, тыквы и даже помидоры погубили жара и дожди, везти на продажу особо было нечего. Потому мы принялись продавать свои зимние запасы: консервированные фрукты, сушеное мясо, заготовки из домашней птицы и тушеную свинину, которую мать заготовила, когда в последний раз зарезала поросенка. Она впала в отчаяние, каждая распродажа была для нее последней. Порой вид у нее был такой безнадежный и безрадостный, что

покупатели скорей шарахались от нее, чем выстраивались в очередь, и мне одной приходилось кое-как изворачиваться ради нее — ради нас, — а она стояла как каменная, с невидящим взглядом и с пальцем, приставленным к виску, как взведенный курок.

Однажды, когда приехали на рынок, мы увидели, что лавка мадам Пети наглухо заколочена. Торговец рыбой мсье Лу рассказал, что в один прекрасный день она собрала вещи и уехала без всяких объяснений и не оставив адреса.

— Это ее немцы, что ли? — спросила я, слегка похолодев.

Мсье Лу как-то странно на меня посмотрел.

— Ничего мне про это неизвестно, — отрезал он. — Знаю только, что вдруг собралась и уехала. Про что другое ничего не слыхал. И если ты не дура, то и ты болтать кругом не будешь.

Он смотрел на меня так колюче и неприветливо, что я смущенно извинилась и попятилась, позабыв свой сверток с обрезками.

К чувству облегчения от известия, что мадам Пети не арестовали, примешивалось странное чувство неудовлетворенности. На какое-то время я затаилась, но потом стала потихоньку разузнавать в Анже и в нашей деревне про тех людей, о которых мы что-то сообщали. Мадам Пети; мсье Тупей, он же Тубо, учитель латыни; парикмахер из цирюльни напротив «Le Chat Rouget», которому приходила уйма посылок; подслушанный однажды в четверг у «Palais-Doré» после кино разговор двоих мужчин. Удивительно: мысль, что мы, — возможно, вызывая насмешки, а то и презрение у Томаса и его приятелей, — собираем всякую ерунду, меня заботила больше, чем мысль, что мы можем причинить вред тому, на кого доносим.

Думаю, Кассис с Ренетт уже понимали, как обстоит дело. Но девять лет — это все-таки не двенадцать и не тринадцать. Мало-помалу я стала соображать, что ни один из разоблачаемых нами людей не был арестован и даже не подвергнут допросу, как ни одно из названных нами подозрительных мест не было подвергнуто немцами обыску. Даже таинственное исчезновение мсье Тубо нашло ясное объяснение.

— Так его дочь к себе в Ренн на свадьбу позвала, — весело сказал мсье Лу. — Ничего тут таинственного, киска. Я сам приглашение ему доставил.

Целый месяц меня изводила мысль о мсье Тубо, от неизвестности гудело в голове, будто там поселился рой ос. Я думала про это, когда ловила рыбу, когда ставила ловушки, когда мы играли с Полем в перестрелку, когда копали себе землянки в лесу.

Я осунулась. Мать критически оглядывала меня и заявляла, что я слишком быстро расту и что это сказывается на моем здоровье. Она повела

меня к доктору Лемэтру, который прописал мне пить по стакану вина ежедневно, но даже эта мера не принесла результатов. Мне стало чудиться, будто все на меня смотрят, будто все обо мне говорят. Я вообразила почему-то, что Томас со своими приятелями — тайные члены Соппротивления и что они вот-вот готовы меня разоблачить. Наконец я призналась в своих страхах Кассису.

Мы были с ним вдвоем на Наблюдательном Посту. Снова шел дождь, и Ренетт, простудившись, осталась дома. Выкладывать ему все я вовсе не собиралась, но стоило мне только раскрыть рот, как слова посыпались из меня, как зерно из рваного мешка. Я никак не могла их унять. В руке я держала зеленую сумку с удочкой, и в сердцах я швырнула ее с дерева вниз прямо в кусты, и она грохнулась в заросли ежевики.

— Что мы им, сопляки? — орала я как безумная. — Почему они не верят тому, что мы рассказываем? Тогда зачем Томас принес мне это, — отчаянный жест в сторону канувшей вниз сумки с удочкой, — если я не заслужила?

Кассис непонимающе смотрел на меня.

— Ты так говоришь, будто хочешь кого-то подвести под расстрел, — колюче сказал он.

— Да нет же! — сердито сказала я. — Я просто думаю.

— Чтобы думать, надо голову иметь! — Он произнес это прежним тоном, свысока, раздраженно и даже презрительно. — Ты что же, считаешь, что мы сотрудничаем с ними, чтоб кого-то засадить или сгноить? Вот как ты это понимаешь!

Он говорил с явным возмущением, но я чувствовала, что втайне он польщен. Да, подумала я, именно так я это понимаю. Если хочешь знать, Кассис, именно так оно и есть на самом деле. Но промолчала, только плечом повела.

— Ну и наивная же ты, Фрамбуаз! — важно произнес мой брат. — Видно, ты и впрямь слишком мала, чтоб влезать в эти вещи.

И тут я поняла, что даже он с самого начала не понял. Он соображал быстрее меня, но вначале и он не ухватил, что к чему. В тот первый день в кино он явно здорово струхнул, даже вспотел, так поджилки тряслись. И тогда, когда он разговаривал с Томасом, я видела страх в его глазах. Потом, только потом он разобрался по-настоящему.

Кассис раздраженно махнул рукой и отвернулся.

— Шантаж! — резко бросил он, как плюнул. — Неужели не поняла? В этом все дело. Думаешь, им там, в Германии, сладко? Думаешь, там им лучше живется, чем нам тут? Что у их детей все есть, и ботиночки, и

шоколад, и всякое такое? Думаешь, и им тоже иногда того же не хочется?

Я ошарашенно смотрела на брата.

— Да где тебе понять! — Я видела, что окрысился он не на мое невежество, а на свое собственное. — Там у них те же самые дела, дура! — кричал он. — Они подбирают тут всякое барахло, чтоб домой отсылать. Разузнают, кто тут чем живет, ну и требуют плату за свое молчание. Помнишь, что он сказал про мадам Пети: «настоящий черный рынок», «на все вкусы». Думаешь, ее бы просто так отпустили, если б он хоть кому-то о ней рассказал? — Дыхание у Кассиса зашлось, как будто он вот-вот расхохочется. — Как же! Ты слыхала, как они в Париже с евреями расправляются? Ты про лагеря смерти слыхала?

Я растерянно повела плечами. Ну да, я про это слыхала. Но ведь в Ле-Лавёз все казалось совсем не так. Конечно же, слухи до нас доходили. Но в моем мозгу они почему-то связывались с лучом смерти из «Войны миров». Представление о Гитлере путалось в моей голове с фильмами Чарли Чаплина, с киношными журналами Ренетт, реальность мешалась с вымыслом, слухами, придумками, ежедневные новости сливались с бесконечной историей звездных сражений за пределами далекой планеты Марс и ночными полетами через Рейн, вооруженными бандитами и расстрельной командой, немецкими подлодками и «Наутилусом», который в 20 000 лье под водой.

— Шантаж? — спросила я тупо.

— Сделка, — уточнил Кассис резко. — Думаешь, честно, когда у одних есть шоколад, кофе, хорошие ботинки, журналы, книги, а у других этого нет? Как ты считаешь, должны они платить за излишки? Поделиться хотя бы самую малость? Ну а ханжи, как мсье Тубо, вруны? Разве они тоже не должны платить? Что им стоит раскошелиться? И ничего им за это не будет.

Похоже, он повторял слова Томаса. И потому не прислушаться я не могла. Я неуверенно кивнула. По-моему, это Кассиса успокоило.

— Это же вовсе не воровство, — продолжал он настойчиво. — То, что на черном рынке, оно всем принадлежит. Я просто слежу, чтобы нам досталось по справедливости.

— Как Робин Гуд?

— Вроде того.

Я снова кивнула. Послушать его, так выходит все честно и правильно.

Удовлетворившись, я пошла извлекать свою удочку из ежевичных зарослей, теща себя мыслью, что в конце-то концов я ее заработала.

Часть третья

закусочная на колесах

1.

Прошло, наверно, месяцев пять, как умер Кассис, — года через три после той истории с Мамусей Фрамбуаз, — и Янник с Лорой снова заявили в Ле-Лавёз. Было лето, и моя дочь Писташ гостила у меня с двумя своими детьми, Прюном^[51] и Рикотом,^[52] и мы жили счастливо. Детишки быстро подрастали, прелестные, как и их мать: Прюн — курчавая, с глазками-шоколадками, Рикот — рослый мальчик, щечки как персики. И так бурлили они смехом и проказами, что, глядя на них, меня неудержимо, до боли в сердце, тянуло в молодость. Клянусь, когда они приезжали, лет сорок у меня как рукой сбрасывало. В то лето я учила их ловить рыбу, ставить закидушки с наживкой, готовить сласти из жженого сахара и варить варенье из зеленого инжира. С Рикотом мы вместе читали «Робинзона Крузо» и «20 000 лье под водой», а Прюн я вдохновенно врала про то, какую необыкновенную рыбу вылавливала, и рассказывала леденящие душу истории про коварные козни Матерой.

— Рассказывали, будто если ее поймашь, а потом отпустишь, она исполнит твое заветное желание, но стоит ее увидеть, хотя бы краешком глаза, и при этом не поймать — тебя ждет что-то ужасное.

Прюн заглянула мне в глаза своими бархатными глазками, уютно пристроив во рту большой палец. — Ужасное? Что? — прошептала она с замиранием. Понизив голос, я произнесла зловещим шепотом:

— Смерть, золотко мое. Пусть не твоя. Того, кого ты очень любишь. Ну, или еще хуже того. Но все равно, даже если тебе удастся уцелеть, проклятие Матерой будет преследовать тебя до самой могилы.

Писташ метнула на меня осуждающий взгляд.

— Не понимаю, мама, зачем ты рассказываешь ей такие истории, — с упреком сказала дочь. — Хочешь, чтоб ей кошмары снились и чтоб она описалась в кроватке?

— Я не писаюсь в кроватке! — запротестовала Прюн. Она жадно уставилась на меня, теребя за руку: — Бабуля, а ты видала Матерую?

Видала? Скажи, видала?

Тут я похолодела, жалея, что затеяла этот рассказ. Писташ, резко взглянув, потянулась снять Прюн у меня с коленей.

— Хватит, не приставай к бабушке, Прюнэтт. Уже спать пора, а ты еще и зубки не почистила, и...

— Ну, бабулечка, скажи? Ты ее видела?

Я прижала к себе внучку, и внутренняя дрожь слегка утихла:

— Знаешь, золотко, я охотилась за ней целое лето. Как только не пыталась ее поймать, и сетями, и на леску, и плетеной ловушкой, и приманивала. Каждый день устанавливала, проверяла дважды в день, иногда и чаще.

Прюн серьезно смотрела на меня:

— Наверно, тебе очень хотелось, чтоб она исполнила твое желание, да?

Я кивнула:

— Наверное.

— И ты поймала ее?

Глазки у нее горели. От нее пахло печеньем и свежескошенной травой, восхитительно теплым, нежным ароматом детства. Старикам нужно, знаете ли, чтоб молодое было рядом, лучше вспоминается.

— Поймала, — с улыбкой сказала я.

Широко раскрытые глазки в нетерпении впились в меня. Почти шепотом Прюн спросила:

— И что ты ей загадала?

— Ничего не загадала, золотко, — тихо ответила я.

— Так она не поймалась? Я покачала головой:

— Да нет. Я правда поймала ее.

Теперь и Писташ смотрела на меня, лицо ее было в тени. Прислонив пухлые ладошки к моим щекам, Прюн нетерпеливо спросила:

— И что?

Мгновение я смотрела на нее. Потом сказала:

— Я не бросила ее в воду. Все-таки я поймала ее, но я ее не отпустила.

Хотя ведь все было не совсем так, сказала я себе. Это не вполне правда. И я поцеловала внучку, пообещав, что доскажу эту историю после и что сама не знаю почему надумала морочить ей старыми рыбацкими бреднями голову на ночь. И несмотря на протесты Прюн, мы, уговорами и болтовней, уломали ее наконец отправиться спать. В эту ночь долго еще, когда в доме уже все спали, я не могла уснуть. Обычно заснуть мне ничего не стоило, но на этот раз многие часы я не могла найти себе покоя, и даже во сне мне явилась Матерая в глубинах темных вод, и я все тянула, тянула, тянула ее

кверху, и будто ни я, ни она ни за что не хотели сдаваться.

В общем, вскоре после этого и появились Янник с Лорой. Началось с ресторана, скромно так пришли, как обычные посетители. Взяли brochet angevin и tourteau fromage.^[53] Я потихоньку посматривала за ними с моего кухонного поста, но они вели себя тихо, скандалов не устраивали. Переговаривались между собой вполголоса, не запрашивали ничего эдакого из винного погреба и на сей раз «мамусей» меня не называли. Лора обворожительно улыбалась, Янник был ласков. Оба были крайне любезны и всем крайне довольны. Мне даже было приятно отметить, что теперь они уже не обнимались и не целовались при всех, и я даже снизошла немного поболтать с ними за кофе с птифуrom.

Лора постарела за эти три года. Похудела — возможно, в дань моде, что ей совсем не шло, — ее волосы медного цвета были коротко острижены и прилизаны на голове, как шлем. И какая-то она стала нервная, то и дело чешет себе живот, как будто у нее там болит. Янник на первый взгляд почти не изменился.

Бодрым голосом сказал, что с рестораном у них все в порядке. Полно денег накопили. Весной собираются слетать на Багамы, уже столько лет не отдыхали вместе. О Кассисе говорили уважительно и, как мне показалось, с искренним чувством утраты.

Мне уж показалось, что я была к ним несправедлива.

Я ошиблась.

Через пару дней они пожаловали ко мне на ферму, как раз когда Писташ собиралась укладывать детей спать. Принесли всем нам подарки — конфеты для Прюн и Рикота, цветы для Писташ. Дочь смотрела на них с натянуто-любезной улыбкой, так, по моим наблюдениям, у нее выражалась антипатия, но те наверняка углядели в этом выражении некоторую придурковатость. Лора с назойливым любопытством, показавшимся мне отвратительным, рассматривала детей; она то и дело стреляла глазами в сторону Прюн, игравшей на полу сосновыми шишками. Янник расположился в кресле у камина. Я чувствовала себя скованно в присутствии Писташ, молча сидевшей рядом, и надеялась, что незваные гости скоро откланяются. Однако они явно не собирались уходить.

— Еда была просто великолепна, — лениво сказал Янник. — Твоя brochet, непонятно, как это у тебя получается, но прямо чудо.

— Нечистоты, — улыбаясь, сказала я. — Теперь столько их сливают в реку, что рыба буквально только ими и питается. По-нашему — луарская икра. Очень минералов много.

Лора ошалело уставилась на меня. Тут Янник выдал легкий смешок

«хе-хе-хе», и она тотчас подхватила.

— Мамуся, в юморе тебе не откажешь. Хе-хе. Луарская икра. Ну ты даешь!

Но я заметила, что о щуке они больше не вспоминали.

Потом заговорили про Кассиса. Сперва так, ничего особенного, вот папаша порадовался бы племяннице и ее детишкам.

— Все твердил, как было бы хорошо, если б у нас родились детки, — сказал Янник. — Но Лоре при такой ее занятости...

— У нас впереди еще уйма времени, — почти грубо перебила его Лора. — Я ведь еще не старуха!

Я головой покачала:

— Нет, вовсе нет.

— К тому же в тот момент надо было думать, как добыть дополнительные средства по уходу за папой. Он ведь, мамуся, нам почти ничего не оставил, — сказал Янник, грызя мое песочное печенье. — Все, что у него было, купили мы. Даже его дом.

Звучало правдоподобно. Кассис был не из тех, кто накапливает добро. Деньги утекали у него между пальцев, превращаясь в дым, вернее, перетекали к нему в брюхо. Пока жил в Париже, только и знал, что себя тешил.

— Мы, понятно, на него не скупились, — сказала Лора вкрадчиво. — Мы очень любили бедного папочку, правда, chéri?^[54]

Янник усердно закивал:

— Как же, очень любили! Как не любить, такая широкая душа. Ни разу даже не заикнулся о своем праве на дом, на наследство всякое. Надо же!

И глянул на меня, дернувшись по-крысиному.

— Что? Что такое?

Я вскочила с места, чуть не расплескав кофе, с неловкостью чувствуя, что рядом сидит Писташ и все это слышит. Я никогда не рассказывала дочерям ни про Ренетт, ни про Кассиса. Они никогда их не видели; считали, что у меня нет ни братьев, ни сестер. И о своей матери я ни слова им не говорила.

Похоже, Янник оробел:

— Ведь он же, мамуся, должен был унаследовать этот дом...

— Мы к вам не в претензии, но...

— Он же старший, а по завещанию матери... — Так, минуточку! — Я пыталась унять визгливые нотки в голосе, но все-таки взвилась точно, как моя мать, что даже Писташ заморгала. — Я щедро заплатила Кассису за этот дом, — сказала я уже не так громко. — После пожара остались только

голые стены, внутри все выгорело, сверху одни балки торчали. Он бы ни за что здесь жить не смог, да и не хотел он. Я заплатила хорошие деньги, больше, чем могла себе позволить, и...

— Все, все, все. Нет проблем! — Лора сверкнула глазами на мужа. — Никто не утверждает, что ваш договор неправомерен.

Неправомерен!

Словечко под стать самой Лоре: броское, самодовольное, с точно рассчитанной подначкой. Я почувствовала, как мои пальцы сжали ободок чашки с горячим кофе, на кончиках проступили розовые пятна.

— Попытайся нас понять. — Это Янник, толстые щеки лоснятся. — Бабушкино наследство...

Разговор принял неприятный для меня оборот. Особенно неприятно мне было оттого, что при нем присутствует Писташ и с изумлением ловит каждое слово.

— Да никто из вас мать мою даже в глаза не видал, — резко перебила я племянника.

— Не в этом дело, мамуся, — быстро сказал он. — Главное в том, что вас у нее было трое. И что наследство было поделено на троих. Ведь так?

Насторожившись, я кивнула.

— А теперь, когда бедный папа скончался, спросим себя: справедлив ли заключенный между вами двумя неофициальный договор в отношении остальных членов семьи? — Янник произнес это без нажима, но глаза у него при этом блеснули, и тогда я неожиданно злобно выкрикнула:

— Какой такой неофициальный договор? Говорю тебе, я заплатила хорошие деньги! И бумаги подписала...

Лора положила ладонь мне на руку:

— Янник вовсе ничего против вас, мамуся, не имеет!

— Еще чего! — холодно сказала я. Пропустив это мимо ушей, Янник продолжал:

— Просто некоторые могут подумать, что такой договор, который был у тебя с бедным папой, человеком больным и нуждавшимся в деньгах...

Я заметила, что Лора следит глазами за Писташ, и ругнулась про себя.

— ...к тому же и не востребовавшая треть наследства, которая принадлежит тете Рен...

Наследство, хранящееся под полом в погребке. Десять ящиков бордо, отложенных в тот год, когда она родилась, заложенных сверху плиткой, зацементированных сверху от немцев, со временем выросших в цене до тысячи франков и больше за каждую бутылку. Скорее всего — навеки законсервированная коллекция. Черт побери! Вечно Кассис в

ответственных случаях не умел держать язык за зубами. Я резко взорвалась:

— Это все ей. Я не притрагиваюсь к этому.

— Понятно, что нет, мамуся. И все же...

Янник печально усмехнулся и стал так похож на моего брата, что у меня защемило сердце. Я бегло взглянула на Писташ: она сидела выпрямившись, застыв на стуле с каменным лицом.

— ...все же нельзя не допустить, что тетя Рен вряд ли в ее положении может на это претендовать, поэтому не считаешь ли ты, что было бы справедливо для всех остальных...

— Это все принадлежит Рен, — отрезала я. — Я к этому не прикоснусь. И вам не позволю, пока моя воля. Понятно?

Тут вступила Лора. В этом черном платье, в желтом свете лампы вид у нее был какой-то болезненный.

— Простите, — сказала она, многозначительно посмотрев на Янника, — мы затеяли этот разговор не из-за денег. Разумеется, мы не ждем от вас, чтобы вы отдавали свой дом или часть наследства тети Рен. Если так прозвучало в наших словах...

Я недоуменно вскинулась: — Тогда какого черта все это...

— У вас ведь книга? — перебила меня, сверкнув глазами, Лора.

— Книга?

— Нам папа рассказывал, — кивнул Янник. — Что ты ему показывала.

— Книга с рецептами, — произнесла Лора на удивление спокойно. — Вы, должно быть, все уже знаете наизусть. Может, дадите нам посмотреть — на время?

— Мы, конечно же, заплатим за все, что используем, — поспешил добавить Янник. — Представь, ведь это снова возродит славное имя Дартижан.

Уж лучше бы он этого имени не произносил. Если какое-то время во мне боролись смятение, страх и недоверие, то от этого «Дартижан» меня вдруг охватил такой ужас, что я смахнула со стола кофейные чашки, и они разбились вдребезги о терракотовую плитку, положенную матерью. Я видела, как странно смотрит на меня Писташ, но сдержать свой гнев была уже не в силах.

— Нет! Ни за что!

Мой голос, как огненный воздушный змей, взметнулся к потолку маленькой кухни, и на мгновение мне показалось, что я, вырвавшись из собственного тела, смотрю на себя бесстрастно свысока и вижу неопрятную, востроносую женщину в сером платье и с волосами, туго

стянутыми на затылке в пучок. Я увидела чужое выражение прозрения в глазах своей дочери, затаенную враждебность племянника с его женой, и снова ярость охватила меня, и на мгновение я сорвалась.

— Знаю я, что вам надо! — рычала я. — Не смогли заполучить Мамусю Фрамбуаз, нацелились на Мамусю Мирабель! Верно? — Дыхание колючей проволокой перехватывало в груди. — Не знаю, что вам Кассис наговорил, но не его это дело и не ваше. Этого нет больше, умерло. Ее уже нет, и ни черта вы от меня не получите, ждите хоть сто лет!

Я задыхалась, горло саднило от крика. Схватив с кухонного стола их последний подарок — коробку с льняными платочками в серебряной обертке, — я яростно швырнула им в Лору.

— Забирайте свою взятку! — рявкнула я хрипло. — Можете запихнуть это себе в задницу, если угодно, вместе с вашими парижскими деликатесами, вашими ядреными подливками и вашим бедным папочкой!

На мгновение наши с Лорой взгляды встретились, и я увидела теперь в них неприкрытую ненависть.

— Что ж, я проконсультируюсь со своим адвокатом, — сказала она.

Меня начал разбирать смех.

— Вот-вот! С адвокатом! Чего и требовалось ожидать, верно? — Я расхохоталась в голос. — С адвокатом!

Янник попытался ее успокоить, в глазах у него блеснула тревога:

— Но, chéri, ты ведь понимаешь, как мы... Лора злобно рявкнула:

— Да пошел ты на хрен со своими уговорами!

Я хохотала безудержно, в голос. Черные точки плясали в глазах. Лорины глаза ядовитой шрапнелью стрельнули в меня. Но она взяла себя в руки. Сказала холодно:

— Простите. Вы просто не понимаете, как это важно для меня. Для моей карьеры...

Янник пытался, не спуская с меня настороженного взгляда, подтолкнуть ее к двери.

— Никто не собирался, мамуся, тебя огорчать, — затараторил он. — Мы заедем после, когда ты немного отойдешь. Мы же не просим у тебя эту книгу насовсем.

Слова падали скользя, как рассыпавшиеся карты. Я захохотала громче. Ужас все сильнее охватывал меня, и даже когда они ушли и странно воровато отзвучал в ночи визг шин их «мерседеса», у меня все равно то и дело перехватывало в горле, взрывались всхлипы, по мере того как иссякал мой адреналин, оставляя меня немощную, дрожащую.

Старую.

Писташ смотрела на меня с непонятым выражением лица. Из спальни выглянула мордашка Прюн.

— Бабуля? Что случилось?

— Ложись, солнышко, — быстро сказала Писташ. — Все хорошо. Все в порядке.

— Почему же бабуля кричала? — недоверчиво спросила Прюн.

— Нипочему, — голос дочери стал резким, отрывистым. — Марш в постель!

Прюн неохотно удалилась. Писташ прикрыла дверь.

Мы сидели молча.

Я знала, что она заговорит, как только созреет; у меня хватило ума ее не подгонять. Лицо ее сохраняло видимость доброжелательства, но упрямая жилка в ней все же сидела. Уж я-то понимала; сама такая. Я помыла посуду, убрала. Потом взяла книгу и притворилась, что читаю.

Через какое-то время Писташ спросила:

— О каком это наследстве они говорили? Я повела плечами:

— Да так... Кассис делал вид, будто богач, вот они и опекали его в старости. Соображать надо было. Вот и все.

Я надеялась, что дочь на этом вопросы прекратит, но упрямая складка пролегла у нее между бровей, и это не сулило ничего хорошего.

— Я и не предполагала, что у меня есть дядя, — сказала она без особого выражения.

— Мы почти не общались.

Молчание. Видно было, как она переваривает все внутри себя. Как бы мне хотелось остановить петляние ее мыслей. Но я не знала как.

— Янник весь в него, — сказала я намеренно беспечным тоном. — Смазлив, но без царя в голове. И женушка вертит им как ей вздумается.

Тут я, надув жеманно губы, изобразила Лору, надеясь вызвать у Писташ улыбку, но брови у нее только сильнее сдвинулись.

— По-моему, они считают, что ты его в чем-то надула, — сказала она. — Больного вынудила взять выкуп.

Я сдержалась с трудом. В такой момент злость — плохой помощник.

— Вот что, Писташ, — спокойно сказала я. — Ни слову этих людей не верь. Вовсе Кассис не был болен. А если был, то не тем, о чем ты думаешь. Пьянство довело его до нищеты, он бросил жену с сыном и продал ферму за долги.

Дочь с любопытством смотрела на меня, и мне стоило усилия не сорваться на крик.

— Послушай, все это было давным-давно. Все кончилось. Брата нет в

живых.

— Лора сказала, есть еще сестра. Я кивнула:

— Рен-Клод.

— Почему ты мне не говорила? Я повела плечом:

— Мы не...

— ...общались тесно, хочешь ты сказать? — подхватила она тихо и как-то вяло.

Снова во мне зашевелился страх, и я сказала резче, чем хотелось бы:

— Уж ты-то это могла бы понять. Ведь и вы с Нуазетт особо...

Слишком поздно я прикусила язык. Дочь передернуло, и я уже проклинала себя за свои слова.

— Верно. Но я хоть пыталась. Ради тебя.

Черт подери. Как же я упустила, она у меня все понимает. Все эти годы я держала ее за тихоню, между тем вторая моя дочь дичала день ото дня. Да, Нуазетт всегда была моей любимицей, но до нынешнего дня я-то думала, что умею это скрывать.

Если бы Писташ была Прюн, я бы прижала ее к себе, но сейчас на меня пристально и холодно смотрела сонными кошачьими глазами тридцатилетняя женщина с едва уловимой мучительной улыбкой на губах... Я подумала о Нуазетт, о том, как я из гордости и упрямства отдалила ее от себя. Попыталась объяснить.

— Нас разбросало уже много лет тому назад. После... войны. Мать была... больна... и мы разбрелись по родственникам. Мы не общались. — Это была полуправда, по крайней мере столько могла я сказать Писташ. — Рен уехала, стала... работать... в Париже. Она... она тоже болела. Сейчас она в частной больнице недалеко от Парижа. Однажды я навестила ее, но...

Как это все объяснить? Заведение с характерным запахом — вареной капусты, прачечной и болезней, — ревущие телевизоры в кротких стенах, населенных брошенными людьми, которые хнычут, отказываясь от тушеных яблок, которые иногда орут друг на дружку с неожиданной злостью и, сжимая слабенькие кулачки, пихают обидчика к бледно-зеленой стенке. Там был один человек в инвалидном кресле, еще не старый, с физиономией, похожей на сжатый, весь в шрамах, кулак и с вращающимися, полными безнадежности глазами. Он все кричал: «Мне здесь нехорошо! Мне здесь нехорошо!» — все время, пока я там была, пока его голос не стих до еле слышного гудения, так что даже я перестала воспринимать его горе. Женщина стояла в углу, повернувшись лицом к стене, и рыдала, и никто не обращал на нее внимания. И еще одна — в постели, огромное, расплывшееся существо с крашеными волосами, с

круглыми белыми ляжками, с плечами, прохладными и мягкими, как свежее тесто, кротко улыбалась сама себе, что-то бормоча. Только голос был прежний, иначе я бы ни за что не поверила своим глазам, — голос маленькой девочки, бубнящей бессмысленные слоги, глаза пустые и круглые, как у совы. Я заставила себя коснуться ее руки.

— Рен, Ренетт!

Снова эта вялая улыбка, легкий кивок, как будто в своих мечтах она королева, а я ее подданная. Она забыла свое имя — так тихонько сказала мне медсестра, — но вполне счастлива; нашла свою «радость», обожает телевизор, особенно мультики, и еще когда играет радио, а ей расчесывают волосы.

— Правда, и у нас случаются сильные приступы, — говорила сестра.

Все во мне похолодело от этих слов, ужас жестким и жарким узлом скрутился в животе.

— Мы просыпаемся среди ночи.

Какое странное это «мы»: как будто, отчасти принимая на себя свойства другой женщины, эта способна вжиться в чувства старого, безумного человека.

— А иногда мы немножечко злимся, правда?

И она светло мне улыбнулась, юная блондиночка лет двадцати. И в этот миг я с такой силой возненавидела ее за молодость и беззаботное невежество, что даже чуть ли не улыбнулась в ответ.

И поняла, что точно так же улыбнулась я сама, когда глядела на свою дочь, и за это возненавидела себя. Сделала еще попытку смягчить ситуацию.

— Видишь ли, — сказала я виновато, — я ненавижу старость и больницы. Я посылала деньги.

Этого говорить не следовало. Но бывает, все, что ни говоришь, все невпопад. Мать хорошо это знала.

— Деньги, — презрительно сказала Писташ. — Неужели это в жизни главное?

Вскоре дочь отправилась спать, и снова между нами в то лето все разладилось. Через две недели она уехала, чуть раньше, чем предполагалось, сославшись на усталость и на подготовку к школе, но я видела, что не в этом дело. Пыталась еще раз или два поговорить с ней, но безуспешно. Она по-прежнему замкнулась, взгляд настороженный. Я заметила, что ей приходит много писем, но тогда ничего не заподозрила. Мысли мои были заняты совсем другим.

2.

Через несколько дней после истории с Янником и Лорой появилась эта закусочная на колесах. Ее привез громадный трейлер, припарковав в траве у дороги как раз напротив «Сгêре Framboise». Из трейлера вышел молодой парень в красной с желтым бумажной шапочке. В тот момент я была занята с посетителями и особого внимания не обратила, поэтому, когда позже днем выглянула из окна, с удивлением увидела, что трейлер укатил, оставив у обочины маленький фургончик, на котором крупными красными буквами было написано «СУПЕР-ЗАКУСОН». Я вышла из магазина, чтоб получше рассмотреть. С виду фургончик был необитаем, но ставни были стянуты тяжелой цепью, на которой висел замок. Я постучала в дверь, но ответа не последовало.

На следующий день фургон-закусочная открылся. Я обнаружила это примерно в половине двенадцатого, когда обычно начинают сходиться мои постоянные посетители. Между распахнутыми ставнями возник прилавок, над ним раскинулся красно-желтый навес, а ниже тянулась тесемка с цветными флажками, на каждом из которых значилось название и цена — «жареный бифштекс, 17 фр.», «жареная сосиска, 14 фр.» — и еще висела парочка ярких плакатов, рекламировавших «Супер-Закусон», «Большой Классный Бургер» и всякие безалкогольные напитки.

— Похоже, конкуренты появились, — заметил Поль Уриа, появившийся ровно в четверть первого.

Я не спрашивала его, что закажет; он всегда заказывал дежурное блюдо и demi.^[55] Вообще-то он много не говорит, сидит себе на своем обычном месте, ест да на дорогу поглядывает. Я и восприняла эти слова как одну из его редких шуток. Бросила насмешливо:

— Скажете тоже! Уж если, мсье Уриа, конкурентом моей «Сгêре Framboise» станет какой-то фургонный торговец машинным маслом, тогда пора мне складывать кастрюльки и убираться отсюда подобру-поздорову.

Поль усмехнулся. В тот день дежурным блюдом были его любимые жареные сардины, а к ним мой ореховый хлеб в корзиночке; он ел не спеша и, как обычно, посматривал на дорогу. Появление закусочной на колесах вроде бы не повлияло на число посетителей блинной, в последующие два часа я хлопотала на кухне, а моя официантка Лиз обслуживала клиентов. Когда я снова выглянула в окно, у фургона уже стояли двое, но из молодежи, не моя клиентура, — девушка и парень. В руках у них были кулечки с чипсами. Я повела плечами. Да пусть себе.

На следующий день их уже накопилась дюжина, одна молодежь, и радио на всю мощь гнало какую-то дикую музыку. Несмотря на сильную жару, я прикрыла дверь блинной, но и при этом жестяные отголоски гитар и барабанов пробивались через стекло, а мои постоянные клиентки Мари Фенуй и Шарлотт Дюпрэ жаловались на духоту и сильный шум.

На другой день толпа у фургона стала больше, музыка громче, и я не выдержала. Без двадцати двенадцать на подступах к фургону я мгновенно окунулась в толпу юнцов. Некоторых узнала, но было много и городских: девчонки в купальных лифчиках, легких юбочках или джинсах, молодые парни в мотоциклетных бутсах с брякающими пряжками и с поднятыми воротниками. Я заметила несколько мотоциклов, уже припертых к стенке фургона; к парам горелого масла и пива примешивался запах бензина. Молодая, стриженная под машинку девчонка с кольцом в ноздре нагло глянула, когда я подходила к прилавку, и оттеснила локтем, чуть не заехав мне в физиономию.

— Эй, мамаша, куда без очереди, — рывкнула она, не вынимая жвачки изо рта. — Че, не видишь, народ ждет?

— А, так ты ждешь? А я-то думала, наоборот, обслуживаешь, — парировала я.

Девушка обалдело уставилась; я, проигнорировав ее, пробились вперед. Что ни говори, а Мирабель Дартижан выучила своих детей за словом в карман не лезть.

Прилавок был высокий; задрав голову, я увидела перед собой молодого парня лет двадцати пяти. Хорош собой в крутом плане, сальные блондинистые волосенки по плечи, с одной висячей серьгой в ухе — вроде бы крестиком. Глаза, пожалуй, и произвели бы на меня впечатление лет сорок тому назад, но теперь я слишком старая и слишком разборчивая. Поэтому, старые часы перестали тикать примерно тогда, когда мужчины перестали носить шляпы. Если говорить серьезно, то что-то в его физиономии показалось мне знакомым, но тогда я не слишком заострила на этом внимание.

Мое имя, как выяснилось, знал.

— Доброе утро, мадам Симон! — сказал он игриво-вежливо. — Чем обязан? Могу предложить симпатичный burger américain,^[56] рискнете попробовать?

Меня разбирал гнев, но я старалась этого не показывать. Судя по улыбке, он ждал скандала и вполне готов был его выдержать. Я лучезарно ему улыбнулась.

— Не сегодня, благодарю, — сказала я. — Но была бы благодарна, если

б вы позаботились прикрутить свое радио. Мои посетители...

— Ну, какой разговор! — Все так гладко, культурно, глаза сияют фарфоровой голубизной. — Я просто не предполагал, что это кому-то может мешать.

Девушка с проткнутым носом у меня за спиной презрительно фыркнула. Я услышала, как она буркнула своей подружке, такой же ободранной и в шортах до того коротких, что из-под них проглядывали мясистые ягодицы:

— Слыхала, как она мне брякнула? Слыхала?

Молодой парень улыбался, и я без радости почувствовала в его улыбке обаяние, сметливость и еще что-то до боли, до колик знакомое. Потянулся, подкрутил радио. Золотая цепочка на шее; пятна пота проступают на серой майке; руки, чересчур нежные для кухонных дел. Что-то в нем было не то, что-то было не так, и внезапно в глубине моей злости зародился страх.

Участливо:

— Так достаточно, мадам Симон? Я кивнула.

— Чтоб вы не думали, что я беспокойный сосед. Слова были нормальные, только по-прежнему я не могла освободиться от чувства, будто что-то не так, что засела в его холодном учтивом тоне пока не слишком явная насмешка. И вот добившись своего, я повернула обратно, чуть не споткнувшись о бортовой камень под нажимом молодняка со всех сторон — тут их скопилось, должно быть, десятка четыре, а то и больше, — гул их голосов засасывал, топил. Я быстро выбралась из толпы — терпеть не могу чувствовать кого-то плечами — и, подходя к «Сгêре Framboise», услышала за спиной громовой хохот, как будто парень только и ждал, когда я уйду, чтоб высказаться на мой счет. Я резко оглянулась, но он уже стоял ко мне спиной и с отработанной легкостью вышлепывал на прилавок бургер за бургером.

Ощущение тревоги так и не прошло. Я поймала себя на том, что все чаще выглядываю из окна, а когда Мари Фенуй с Шарлотт Дюпрэ, те самые, которые вчера жаловались на шум, не явились в свое положенное время, я всполошилась не на шутку. Да нет же, ничего страшного, убеждала я себя. Подумаешь, всего один свободный столик. Большинство моих посетителей пришли, как всегда. И все же я ловила себя на том, что невольно с некоторым восхищением наблюдаю за фургоном-закусочной, за тем, как ловко он орудует, за очередью, которая постоянно выстраивалась у дороги, за парнями и девчонками, уплетавшими корм из бумажных кулечков и пластиковых коробочек, пока он их обхаживал. Похоже, он со всеми был уже на дружеской ноге. Стайка девчонок — в том числе и та, с проткнутым носом, — приклеилась к прилавку, некоторые с жестянками

содовой в руке. Другие с ленивым, апатичным видом стояли рядом, как бы невзначай выставляя напоказ свои сиськи и повиливая задом. Знаем мы это «невзначай»!

В половине первого я услышала из кухни рев мотоциклов. Жуткий звук, как будто одновременно включились несколько отбойных молотков. Бросив кастрюльку, в которой я помешивала bolets farcis,^[57] я выбежала на дорогу. Грохот стоял невыносимый. Я зажала уши руками, и все равно барабанные перепонки отдавали резкой болью — вероятно, результат моих бесконечных ныряний в старой Луаре. Пять мотоциклов, которые раньше были прислонены к стенкам фургона-закусочной, теперь пыхтели прямо напротив, через дорогу, и их владельцы — с тремя девчонками, ловко пристроившимися сзади, — газовали что есть силы, перед тем как рвануть, стараясь переплюнуть друг дружку по ухарству и грохоту. Я заорала на них, но рев терзаемых двигателей невозможно было перекричать. Юнцы, ошивавшиеся возле закуской на колесах, смеялись и хлопали в ладоши. Я неистово замахала руками, не в силах докричаться, мотоциклисты насмешливо махнули в ответ, один даже, взревев мотоциклом с удвоенной силой, вздыбился на задних колесах, точно гарцующая лошадь.

Это представление длилось минут пять, за это время мои грибки успели стореть, уши жгло от звона, и ярость моя уже не знала предела. Идти жаловаться к хозяину фургона уже было некогда, хотя я твердо решила это сделать, едва разойдутся мои посетители. Но к тому времени фургон уже оказался заперт, и хоть я остервенело колотила в ставни, никто мне не открыл.

На следующий день снова орала музыка. Я терпела, покуда могла, потом отправилась качать права. Народу там уже было даже больше, чем вчера, и некоторые, уже меня признав, отпускали разные наглые шуточки, пока я пробивалась через толпу.

Сегодня мне уже было не до вежливости; глянув на владельца фургона, я рывкнула:

— По-моему, мы условились!

Он широко, словно амбарную дверь распахнул, осклабил:

— О чем, мадам?

На эту удочку я теперь не поддаюсь:

— Нечего делать вид, что не понимаете! Немедленно выключите свою музыку.

По-прежнему любезно, но с несколько задетым видом после моей яростной атаки он прикрутил радио.

— Что вы, мадам. Я вовсе не хотел вас огорчать. Раз уж мы с вами

теперь такие тесные соседи, надо друг к дружке приспособливаться.

От гнева я даже не сразу уловила тревожный сигнал. Наконец дошло:

— Тесные соседи? Сколько же вы тут еще намерены проторчать?

Он повел плечами.

— Кто знает? — Голос такой бархатный. — Сами понимаете, что такое наш бизнес, мадам. Это вещь непредсказуемая. Сегодня густо, завтра пусто. Как пойдет.

Тревога бахнула набатом, внутри у меня похолодело.

— Ваш фургон стоит в общественном месте, — сухо сказала я. — Полагаю, полиция, если заметит, тотчас вас и турнет.

Парень покачал головой.

— У меня есть разрешение расположиться здесь, на обочине, — кротко сказал он. — Все мои документы в идеальном порядке. — Тут он взглянул на меня с такой вежливо-наглой улыбочкой: — Ваши, надеюсь, тоже?

На моем лице не дрогнул ни один мускул, но внутри я затрепетала, как рыба, выброшенная на берег. Он что-то знал. От этой мысли в голове пошло кругом. Господи, он знает что-то. Я оставила его вопрос без ответа.

— И вот что, — голос у меня держался молодцом, низкий, резкий. Голос женщины, не знающей страха. Сердце в подреберье колотилось все сильней. — Вчера тут мотоциклисты шум учинили. Если еще раз позволите своим дружкам тревожить моих посетителей, я заявлю, что вы нарушаете общественный порядок. Несомненно, в полиции...

— Несомненно, в полиции вам скажут, что виноват не я, а сами мотоциклисты, — как-то даже весело подхватил он. — Послушайте, мадам, я стараюсь, как могу. Но угрозы и обвинения не лучшее решение проблемы.

Я ушла со странным ощущением вины, как будто источник угроз именно я, не он. В ту ночь я то и дело просыпалась, наутро отчитала Прюн за то, что та пролила молоко, а Рикота за то, что играл в футбол у самых грядок. Писташ посмотрела на меня странно — с того самого вечера, когда приходили Янник с Лорой, мы почти не разговаривали — и спросила, здорова ли я.

— Здорова, — быстро ответила я и молча вернулась в кухню.

3.

В последующие дни ситуация заметно ухудшилась. Пару дней музыки слышно не было, затем она возобновилась, и еще громче, чем прежде.

Несколько раз наезжала банда мотоциклистов, каждый раз отчаянно ревя моторами при подъезде и при отъезде, неистово носясь по всей округе в погоне друг за дружкой и издавая при этом протяжные улюлюкающие вопли. Кучка посетителей у фургона вовсе не уменьшилась, и с каждым днем я все дольше и дольше подбирала разбросанные жестянки и бумагу по обеим сторонам дороги. Что еще хуже — фургон стал работать и по вечерам, с семи до полуночи — по странному совпадению в часы работы моего кафе, — и я каждый раз вздрагивала при звуке включавшегося генератора, понимая, что моей тихой блинной грозит все более разнузданный уличный разгул. Розовая неоновая надпись над прилавком гласила: «У Люка: Сэндвичи, Закуска, Жареная Картошка», и ярмарочные ароматы кипящего масла, пива и жарких сладких вафель наполняли тихий ночной воздух.

Часть моих посетителей выражала недовольство, часть просто перестала приходить. К концу недели семеро моих постоянных клиентов вообще перестали ко мне ходить, а в будни кафе совершенно пустело. В воскресенье приехало было человек десять из Анже, но в тот вечер шум был особенно невыносимый, и они нервно поглядывали на толпу у дороги, где стояли их машины, и под конец уехали, не запросив ни десерт, ни кофе и, что подозрительно, не оставив даже чаевых.

Больше так продолжаться не могло.

В Ле-Лавёз нет полицейского участка, но есть один *gendarme*,^[58] Луи Рамондэн, сынок Франсуа, правда, я особенно с ним дела не имела, потому что он из тех самых семей. Ему уже к сорока, рано женился на девчонке из местных, недавно развелся, внешне похож на своего деда Гийома, того самого, с деревянной ногой. Не хотелось мне с ним сейчас говорить, но все так стремительно рушилось, куда ни кинь — все клин, что в одиночку мне было уже не справиться.

Я рассказала Луи про фургон-закусочную. Про шум, про мусор, про моих посетителей, про мотоциклистов. Он слушал меня снисходительно, как всякий молодой человек старую брюзгу, кивал, улыбался так, что у меня руки чесались стукнуть его по лбу. Потом стал спокойно и весело, как будто имеет дело со старой глухой тетерей, втолковывать, что, мол, пока еще нету такого закона. Что «*Sgêre Framboise*» стоит на главной дороге. Что с того времени, как я появилась в деревне, уже многое не так, как раньше. Что он может, конечно, поговорить с Люком, владельцем фургона, но и я должна проявить понимание.

Уж я-то поняла. После видала Луи у фургона, уже без формы; он ворковал с хорошенькой девчонкой в белой майке и джинсах. В одной руке

держал жестянку с пивом «Стелла», в другой — сахарную вафлю. Насмешливо улыбаясь, взглянул на меня, когда я шла мимо с корзиной за покупками. Но я и бровью не повела. Мне все стало ясно.

Дальше дела в «Сгêре Framboise» пошли хуже некуда. Теперь у меня стало наполовину пусто, даже по субботним вечерам, а на неделе в дневные часы и того пустее. Правда, остался Поль, верный Поль, при своем неперменном ежедневном дежурном блюде и *demi*, и из чистой благодарности за это я стала подавать ему пиво бесплатно, хотя больше одного стакана он никогда не просил.

Моя официантка Лиз сообщила, что Люк остановился в «La Mauvaise Réputation», где по-прежнему сдаются комнаты.

— Не знаю, откуда он, — сказала она. — Кажется, из Анже. Заплатил за три месяца вперед, так что, выходит, скоро отсюда не уберется.

Три месяца! Это же почти до самого декабря. Интересно, так же ли дружно будет валить его клиентура, когда грянет мороз. Для меня холодные месяцы всегда были мертвым сезоном, ко мне мало кто заходил, зимой особо не заработаешь. Теперь, если и дальше так пойдет, я и последних посетителей могу лишиться. Лето — самая лучшая для меня пора, и за солнечные месяцы я обычно умудрялась скопить столько денег, чтоб в достатке прожить до весны. Но в это лето... В такой ситуации, безрадостно признавалась я себе, видно, убытков не избежать. Правда, сколько-то денег у меня было отложено, но ведь надо и Лиз жалованье платить, и в лечебницу для Рен посылать, и скот кормить, и запасы делать, и на топливо, и на прокат техники. И осень на носу, придется подсобников нанимать, им платить, да сборщикам яблок, да Мишелю Уриа за комбайн. Надо бы еще в Анже и зерно продать, и сидр, чтоб хоть как-то перебиться.

Все равно, похоже, придется круто. Тщетно я колдовала с цифрами, прикидывала. Даже с внуками перестала возиться и впервые пожалела, что Писташ приехала ко мне в это лето. Она пожила еще недельку и уехала, забрав Прюн и Рикота, и в глазах ее я читала, что веду себя неразумно. Но я не сумела найти в себе тепла, чтобы открыть ей все, что у меня на душе. Вместо нежных чувств к дочери внутри у меня засело что-то жесткое, холодное, твердое и сухое, как плодовая косточка. Когда мы прощались, я порывисто ее обняла и отвернулась, не проронив ни слезинки. Прюн подарила мне охапку цветов, которые собрала на лугу, и меня вдруг обуял дикий страх. Я поняла, что стала такая же, как моя мать. Внешне суровая, бесстрастная, тайно полная страхов и тревоги. Мне хотелось протянуть руки к дочери, объяснить, что она тут совершенно ни при чем, но почему-то никак не получалось. Мы воспитаны скрывать от всех свои чувства. Эту

привычку не так-то просто переломить.

4.

Шли недели. Снова и снова я обращалась к Люку, но, кроме издевательски-корректных ответов, ничего не добилась. И никак не могла отделаться от мысли, что где-то я его раньше видала, но где именно, вспомнить не могла. Попыталась узнать его фамилию, вдруг это что-то подскажет, но в «La Mauvaise Réputation» он платил наличными, а когда я пришла туда, кафе было битком набито все теми же приезжими, что крутились возле фургона-закусочной. Правда, был там кое-кто из местных — Мюрель Дюпрэ и братья Лелаки с Жюльеном Лекосом, — но в основном все нездешние, развязного вида девки в фирменных джинсах и купальных лифчиках и парни в мотоциклетных кожаных штанах или в шортах из лайкры. Я отметила, что молодой Брассо завел себе музыкальный автомат и бильярдный стол в придачу к уже имевшимся, выдавшим виды игральным автоматам. Похоже, не так уж плохо шла торговля в Ле-Лавёз.

Возможно, именно поэтому никакой поддержки я не нашла. «Сгêре Framboise» находится на дальнем конце деревни, на анжейской дороге. Наша ферма всегда стояла на отшибе от всех остальных, и вокруг на расстоянии полукилометра других домов тут не было. Только церковь да почта более или менее неподалеку; когда в церкви шла служба, Люк старался утихомирить свою публику. Даже Лиз, видевшая, какой вред он нам наносит, находила ему оправдания. Я еще дважды заговаривала с Луи Рамондэном, но с таким же успехом можно было обратиться к усатому коту.

Рамондэн стоял на своем: этот человек общественной угрозы не представляет. Если бы нарушил закон, дело другое. А так придется мне примириться с тем, что он ведет свою торговлю бок о бок со мной. Понятно?

Дальше стали приключаться и другие беды. Началось с малого. Сначала кто-то на нашей улице поздно вечером устроил фейерверк. Потом в два ночи у меня под окнами резвились мотоциклисты. Рано утром я обнаружила, что завалено мусором мое крыльцо, разбито стекло парадной двери. Раз ночью мотоциклист вперся на поле, где у меня зрела пшеница, принялся выписывать восьмерки, петлять там и сям, то и дело резко притормаживая. Мелочь. Мелкие шалости. С тем вроде не свяжешь или же

с приезжими, что притащились следом. Потом кто-то вскрыл дверь курятника, и туда забралась лиса и погубила всех моих бурых красавиц пулярок. В одну ночь я лишилась десяти кур, отменных несушек. Сказала Луи, вроде бы воры и нарушители — это его дело, но он по сути меня же и обвинил: дескать, я же и не заперла дверь в курятник.

— Может, дверь сама распахнулась ночью? — сказал он, одарив меня такой по-крестьянски добродушной и щедрой улыбкой, как будто от нее одной мои куры способны воскреснуть.

Смерив его взглядом, я язвительно заметила:

— Запертые двери просто так не распахиваются. А чтоб открыть всякий замок, очень хитрая нужна лиса. Это, Луи Рамондэн, намеренно учинил какой-то подлец, а тебе деньги платят за то, чтобы ты его нашел.

Глазки у Луи забегали, он пробубнил что-то себе под нос.

— Что, что ты сказал? — вскинулась я. — Со слухом у меня, парень, полный порядок, не обольщайся. Да и с памятью; я даже помню, как...

Тут я поспешно прикусила язык. Я чуть было не проговорила, что помню, как его престарелый дед, пьяный в стельку, с обмоченными штанами храпел во время пасхальной службы, спрятавшись в исповедальной кабинке. Но *la veuve Simon* никак об этом знать не могла. У меня даже внутри похолодело от страха, что я могу глупой сплетней себя выдать. Теперь вы понимаете, почему я старалась держаться подальше от всех этих семеек?

Все же Луи под конец согласился осмотреть мою ферму, только ничего не нашел, и мне оставалось дальше со всем справляться в одиночку. Признаюсь, потеря кур стала для меня тяжелым ударом. Денег, чтоб купить снова таких дорогих, у меня не было. К тому же — кто скажет, не повторится ли такое опять? Словом, пришлось покупать яйца на ферме старого Уриа, которой теперь заправляла семейная пара по имени Поммо; они выращивали сладкую кукурузу и подсолнухи, а зерно продавали перерабатывающему заводу, что выше по реке.

Я понимала: за всем этим стоит Люк. Понимала, но доказать ничего не могла, и это прямо сводило меня с ума. Хуже того, я не могла понять, зачем ему все это, и злость во мне нарастала с каждым днем.

И вот я почувствовала, что меня от нее распирает, что я, как переспелое яблоко, вот-вот лопну. С того самого дня, как лиса проникла в курятник, я, едва начинало темнеть, дежурила под окном с дробовиком, и, должно быть, странное это было зрелище, если б кто-то увидел меня, сторожившую свой двор в ночной рубашке, в легком плаще поверх и с ружьем. Я купила новые всякие замки на ворота и на калитку в загон, я каждую ночь стояла на

часах, поджидая незваного гостя. Но никто не появлялся. Мерзавец, видно, знал, что я его караулю, хотя откуда он мог узнать, было непонятно. Мне стало казаться, что он читает мои мысли.

5.

Очень скоро бессонные ночи мне здорово аукнулись. Днем я была рассеянна. Забывала рецепты. Не могла вспомнить, посолила омлет или нет, и солила повторно или не солила вовсе. Однажды, шинкуя лук, я задремала стоя и здорово порезалась и, только очнувшись, увидела, что из рассеченного пальца хлещет кровь. Я стала срываться на оставшихся клиентах, и хоть музыка теперь гремела чуть потише и мотоциклисты не так распоясывались, слух уже явно пошел, потому что, исчезнув, мои прежние посетители больше не вернулись. Правда, в крошечном одиночестве я не осталась. Сохранилось еще немного верных друзей, но, должно быть, и у меня в крови, как у Мирабель Дартижан, засела эта настороженность, эта вечная подозрительность, отчего в деревне мою мать и считали чужой. Я не нуждалась в жалости. Моя ожесточенность отталкивала друзей и отпугивала клиентов. Злость питала меня, только в ней я черпала силы.

Поразительно, но именно Поль раз и навсегда положил всему этому конец. В будни он был моим единственным посетителем, по нему можно было проверять часы, он приходил в одно и то же время и сидел ровно час, ел и молча смотрел на дорогу, под стулом у него послушно лежал его пес. По равнодушию, которое Поль проявлял к фургону-закусочной, я решила, что он глуховат. Даже мне он редко что говорил, только «здрате» и «до свидания».

Как-то раз он пришел, но за столик, как обычно, не сел. И я поняла: что-то не так. Это было как раз через неделю после того, как лиса забралась в курятник, и я уже чертовски устала. Пораненная левая рука у меня была основательно забинтована, и приходилось просить Лиз шинковать овощи для супа. Я по-прежнему упорно пекла сладкие изделия сама, — вы представьте, каково это, месить тесто, если одна рука обернута целлофаном? Словом, очень непросто. Когда я, полусонная, вышла на порог кухни, то едва кивнула на приветствие Поля. Он смотрел на меня косо, стягивая берет и гася черную сигаретку о притолоку.

— Bonjour, мадам Симон.

Я кивнула, попытавшись выдать улыбку. Усталость мерцающей серой

пеленой заволокла все вокруг. Его слова цепочкой букв втянулись в темный туннель. Пес поплелся на привычное место под столиком у окна, но Польша, не шевельнувшись, осталась стоять с беретом в руке.

— Выглядите плоховато, — произнес он в своей неторопливой манере.

— Я здорова, — коротко сказала я. — Просто спала плохо в эту ночь, вот и все.

— Похоже, не эту одну, — сказал Польша. — Что, бессонница?

Я буркнула:

— Обед на столе. Жаркое из цыпленка с горошком. Остынет, подогреть не буду.

Он лениво улыбнулся:

— Вы уж больно по-семейному со мной, мадам Симон. Что люди скажут?

Восприняв это как очередную из его шуток, я смолчала.

— Может, чем могу помочь? — продолжал Польша. — Неладно они с вами обходятся. Кто-то должен вступиться.

— Прошу, мсье, не утруждайте себя.

После стольких бессонных ночей у меня на глаза легко навертывались слезы, и даже после этих скупых дружеских слов я почувствовала, как защипало в глазах. Чтобы не выдать себя, сказала сухо и насмешливо, не глядя на Польша:

— Отлично управлюсь сама. Но Польша не отстал.

— Словом, можете на меня положиться, — просто сказал он. — Хочу, чтобы вы знали. Все это время я...

Я взглянула на него — и вмиг все поняла.

— Не упрямясь, Буаз... Я застыла, онемев.

— Не бойся, разве я хоть кому-нибудь сказал? Молчание. Ясность пролегла между нами растянутой жвачкой.

— Сказал, а?

Я покачала головой: — Нет.

— Ну так вот, — он сделал шаг ко мне. — Вечно ты не принимала ни от кого помощи, даже в те годы. — Пауза. — Ты совсем не изменилась, Фрамбуаз.

Странно. Я считала, что да.

— Когда догадался? — наконец спросила я. Польша повел плечами.

— Скоро, — кратко ответил он. — Пожалуй, как только отведал у тебя кошиг амапп твоей мамы.

А может, щуку. Что, не забыл я, выходит, добрую старую кухню?

И он снова усмехнулся в свои обвислые усы — ласково, добродушно и

невыносимо грустно.

— Видно, сурово тебе пришлось, — добавил он. Резь в глазах стала еще нестерпимей.

— Не будем об этом, — отрезала я. Он кивнул:

— Я не говорю, — только и сказал в ответ.

Потом засел за свое фрикасе, временами прерываясь, взглядывая на меня с улыбкой, а немного погодя я под села к нему — в конце концов, никого, кроме нас, в блинной больше не было — и налила себе стаканчик «Gros-Plant». Некоторое время мы сидели молча. Потом я уронила голову на стол и тихо заплакала. В пустом кафе слышались только мои глухие рыдания да звяканье ножа об тарелку, пока Поль машинально доедал своего цыпленка, не глядя на меня, не говоря ни слова. Но я чувствовала доброту его молчания.

Выплакавшись, я насухо вытерла лицо передником.

— Теперь, кажется, я смогу говорить, — сказала я.

6.

Поль умеет слушать. Я рассказала ему то, что не предназначалось ни единой живой душе; он слушал молча, кивая время от времени. Я рассказала ему про Янника и Лору, про Писташ и про то, как без звука отпустила ее, про кур, про бессонные ночи и как от гудения генератора в голове у меня будто муравьи копошатся. Рассказала про свои страхи за свое дело, за себя, за свой любимый дом, за то место, которое отвоевала себе среди деревенских. Сказала, что боюсь старости и что нынешняя молодежь кажется мне чуднее и круче, чем были мы в юности, даже при том, что нам довелось повидать во время войны. Рассказала про свои сны, про Матерую и про апельсин, про Жаннетт Годэн со змеями. И мало-помалу почувствовала, как желчь из меня утекает.

Наконец я умолкла. Стало тихо.

— Нельзя дежурить каждую ночь. Изведешь себя, — сказал Поль.

— Иначе нельзя, — возразила я. — Ведь они в любой момент могут заявиться снова.

— Будем сторожить по очереди, — просто сказал он. Вот так.

Теперь, когда уехала Писташ с детьми, я пустила его в гостевую комнату. С ним не было никаких забот, обслуживал себя сам, сам стелил себе кровать, сам прибирал за собой. В основном вел себя незаметно, и все же я чувствовала его присутствие, спокойное, ненавязчивое. Оказывается,

напрасно я всегда держала его за черепаху. На самом деле кое-что у него выходило даже быстрее, чем у меня: ведь именно он в конце концов нащупал связь между фургоном-закусочной и сынком Кассиса.

Две ночи мы охраняли дом от взломщиков — Поль с двух до шести утра, я — с десяти вечера до двух ночи; и я уже чувствовала себя вполне отдохнувшей, способной выстоять. Поддерживало и то, что я не одна, что есть рядом кто-то. Понятно, почти тотчас соседи принялись судачить. В таком месте, как Ле-Лавёз, ничего нельзя скрыть, и уже много народу прознало, что Поль Уриа забросил свою хижину у реки и перебрался к вдовушке. Едва я входила в магазин, разговоры там стихали. Почтальон, завозя письма, мне подмигивал. Кое-кто поглядывал на меня косо, например, кюре и его братия из воскресной школы, но в основном люди тихонько и снисходительно посмеивались. Луи Рамондэн будто бы сказал, что вдова последнее время чудит и теперь, мол, понятно почему. Как ни странно, на время ко мне вернулись многие из прежних посетителей, возможно, чтоб воочию убедиться, что слухи не пустая болтовня.

Я внимания не обращала.

Фургон, конечно же, никуда не делся, шум и беспокойство, доставляемые этой публикой, не унялись. Я прекратила попытки урезонить Люка; имевшаяся в наличии власть смотрела на все сквозь пальцы, потому нам с Полем оставалось полагаться только на себя. Мы занялись расследованием.

Теперь Поль каждый день пил свое demi в «La Mauvaise Réputation», где постоянно околачивались мотоциклисты и городские девчонки. Расспрашивал почтальона. Нам помогала еще и моя официантка Лиз, даже при том, что мне пришлось на зиму отказаться от ее услуг. Она посвятила в наше дело своего младшего брата Вяннэ, и теперь никто в Ле-Лавёз не был окружен стольким тайным вниманием, как Люк. И вот что мы обнаружили.

Он был парижанин. Переехал в Анже полгода назад. Имел деньги, и немалые, швырял направо и налево. Никто его фамилии пока не знал, правда, он носил перстень с печаткой и с инициалами «Л. Д.». Приглядел себе здесь пару девчонок. Разъезжал на белом «порше», который держал на заднем дворе «La Mauvaise Réputation». В целом снискал к себе симпатии, возможно, тем, что щедро угощал пьющий народ.

Пока немного для решения проблемы.

Затем Поль предложил осмотреть фургон-закусочную. Я, конечно, уже это проделывала и раньше, однако Поль подождал, пока фургон закроется, а его хозяин благополучно перебазирует в бар «La Mauvaise Réputation».

Фургон был закрыт на все замки да еще на висячий, но сзади оказалась металлическая табличка с регистрационным номером и контактными телефонами. Мы просмотрели по адресной книге номер телефона и обнаружили, что это... ресторан «Aux Délices Dessanges», улица де Ромарэн, Анже!

Могла бы и раньше догадаться.

Янник с Лорой не способны так легко отказаться от возможного источника прибыли. Теперь, узнав отправной пункт, я быстро сообразила, почему мне сразу показалось знакомым лицо этого парня. Тот же чуть орлиный нос, умный, ясный взгляд, выпуклые скулы: Люк Дессанж — брат Лоры.

Первым поползновением было немедленно заявить в полицию — не нашему Луи, а ехать в Анже, — сказать, что на меня наезжают. Поль отговорил.

Мягко объяснил, что доказательств нет. Без доказательств ничего сделать нельзя. Люк напрямую никакого закона не нарушал. Вот если поймать его с поличным, тогда — конечно, но тот был слишком осторожен, слишком хитер. А родственнички только и ждут, чтоб я сдалась, и тогда в нужный момент — тут как тут и со своими условиями:

— Мы с радостью поможем вам, мамуся! Сделаем все, что в наших силах. Кто старое помянет...

Я прямо рвалась сесть в автобус, поехать в Анже, застать их в их логове, опозорить в глазах друзей и клиентов, раззвонить на весь свет, чтоб все знали, что они подстрекатели и шантажисты, — но Поль сказал: надо выждать. Нетерпение и злость уже стоили мне больше половины моих клиентов. И впервые в жизни я согласилась ждать.

7.

Через неделю они сами пожаловали.

Это произошло в воскресный день, и вот уже три недели, как моя блинная была закрыта по воскресеньям. Фургон-закусочная тоже не работал — он с точностью до минуты повторял мои часы работы, — мы с Полем сидели во дворе, подставив щеки последним лучам осеннего солнышка. Я читала, а Поль — он и сейчас, как в прежние годы, любителем чтения не был — просто, как видно, довольствовался праздным сидением и то изредка на меня поглядывал, как обычно добродушно, ненавязчиво, то стругал какую-нибудь деревяшку.

Услышав стук, я пошла отворять калитку. Передо мной стояла Лора, деловая, в темно-синем, а позади нее — Янник в угольно-черном костюме. Зубы в улыбке напоказ, как клавиши пианино. У Лоры в руках было громадное растение в горшке, с красно-зелеными листьями. Дальше порога я их не пустила.

— Кто-нибудь умер? — спросила я холодно. — Я, например, пока жива, несмотря на все ваши подлые старания.

Лора обиженно поджала губы:

— Но, мамуся...

— Никаких тебе «но, мамуся»! — резко оборвала я ее. — Мне прекрасно известны ваши грязные шантажистские фокусы. Правда, они не срабатывают. Умру, но вам не позволю выжать из меня ни гроша, так что скажи своему братцу, чтоб сворачивал свою зашкваренную телегу и убирался отсюда. Мне ясно, зачем он явился, и если вы это не прекратите, то, клянусь, пойду в полицию и подробно расскажу, что вы тут учиняете.

Янник, явно встревоженный, начал лопотать какие-то извинения, но Лора была сбита покруче. Изумление на ее физиономии продержалось не более десяти секунд, уступив место жесткой, холодной усмешке.

— Я сразу поняла, что ей лучше сказать все напрямик, — заметила она, высокомерно взглянув на мужа. — Все эти глупости ни вам, ни нам ни к чему. Я уверена: как только я все разъясню, вы поймете, что некоторое сотрудничество нам обоюдно выгодно.

— Валяйте, разъясняйте, — сказала я, скрестив на груди руки, — только наследство моей матери принадлежит мне и Рен-Клод, что бы там ни наговорил вам мой братец. И не о чем тут разговаривать.

Лора одарила меня щедрой, полной ненависти улыбкой:

— Неужели, мамуся, вы считаете, что нам нужно это наследство? Ваши жалкие деньги? Боже избави! Как ужасно вы о нас думаете.

Внезапно я увидела себя их глазами: старуха в грязном фартуке; темные, как сливы, глаза; зачесанные назад и туго стянутые на затылке волосы. Ощерилась на них, как испугнутая собака; сама для верности за дверную ручку держусь. Дыхание сперло, в горле будто заросли терновника.

— Правда, особой свободы в деньгах у нас нет, — признался Янник. — Ресторанное дело сейчас не на подъеме. Статья в «Hôte & Cuisine» мало что дала. И у нас проблемы с...

Лора взглядом заставила его умолкнуть.

— Мне лично деньги не нужны, — повторила она.

— Знаю я, что тебе нужно, — резко сказала я, стараясь скрыть свою

беспомощность. — Рецепты моей матери. Но тебе я их не дам.

Лора, по-прежнему улыбаясь, смотрела на меня. Я поняла: не только рецепты ей понадобились, и ледяной ком застрял у меня в горле.

— Не дам... — еле слышно выдохнула я.

— Альбом Мирабель Дартижан, — мягко сказала Лора. — Ее личные записи. Ее мысли, ее рецепты, ее тайны. Это бабушкино наследство и принадлежит всем нам. Преступно навечно скрыть его от всех.

— Нет!

Слово грянуло неистово, будто полдуши с собой вырвало. Янник отступил на шаг, уступив место Лоре. Я задыхалась, как рыба с дюжиной крючков в глотке.

— Послушайте, Фрамбуаз, вы же не можете вечно носить в себе эту тайну, — наставительно сказала Лора. — Просто невероятно, что до сих пор никто не догадался. Мирабель Дартижан, — она раскраснелась, почти похорошела от возбуждения, — одна из самых загадочных и необъяснимых преступниц двадцатого века. Ни с того ни с сего убивает молодого солдата, потом равнодушно взирает на то, как половину населения деревни каратели за это расстреливают, затем просто, не вдаваясь в объяснения, исчезает.

— Все не так! — невольно вырвалось у меня.

— Так скажите же, как все было! — наступала Лора. — Я вам во всем стану помогать. Это такая уникальная возможность проникнуть в глубь тайны, я предвижу, может получиться потрясающая книга.

— Книга? — изумленно повторила я.

— А что вас так, собственно, удивляет? — уже раздраженно вскинулась Лора. — Я думала, вы все поняли. Сами сказали...

Язык у меня будто прилип к небу. С трудом я произнесла:

— Я решила, вы за рецептами охотитесь. Из ваших слов выходило, что...

— Нет же! — Лора с досадой тряхнула головой. — Мне нужен весь альбом для моей книги. Вы разве не читали мою брошюру? Разве вы не в курсе, что меня интересует эта тема? И когда от Кассиса мы узнали, что Дартижан просто-таки наша родственница... Бабушка Янника... — Она осеклась, сжала мою руку. Пальцы у нее были длинные и холодные, ногти перламутрово-розовые, такие же губы. — Мамуся, вы одна остались из ее детей. Кассис умер. Рен-Клод невменяема.

— Вы и ее посетили? — спросила я в лоб. Лора кивнула.

— Ничего не помнит. Чисто растительное существование. — Она скривила губы. — Да и в Ле-Лавёз никто ничего путного не знает. Если и помнят, не говорят.

— Откуда такая осведомленность?

Ярость сменило холодящее душу прозрение: все намного хуже, чем я подозревала. Лора повела плечами.

— От Люка, естественно. Я попросила его приехать сюда, задать кое-какие вопросы, подпоить пару-тройку старых пройдох, ну, сами понимаете. — И взглянула на меня испытующе, с вызовом: — Вы же заявили, будто все вам ясно!

Я кивнула молча, потрясенная, не в силах вымолвить ни слова.

— Признаюсь, вы умудрились продержаться дольше, чем можно было вообразить, — продолжала Лора с некоторым восхищением. — Никому и в голову не пришло, что вы вовсе не скромная *la veuve Simon*, уроженка Бретани. Здесь вас даже почитают. Вы постарались на славу. Никто ничего не заподозрил. Даже дочери своей ничего не сказали.

— Писташ? — по-дурацки вырвалось у меня; я и говорила, и соображала, точно во сне.

— Я черкнула ей пару писем. Думала, она знает что-то про Мирабель. Но оказывается, вы никогда ей ничего не рассказывали, так?

Господи, Писташ! Почва ускользала из-под ног, одно неверное движение — и грянет новый обвал, и снова рухнет мир, который я считала устойчивым.

— Ну а вторая ваша дочь? Давно у вас с нею были контакты? Она что-нибудь знает?

— Ты не имеешь права, не имеешь права, — слова прозвучали едко, как соль, заполнившая мне рот. — Тебе не понять, что значит для меня этот дом, эта деревня. Если узнают...

— Ладно, ладно, мамуся! — У меня уже не было сил отпихнуть ее, а Лора уже обнимала меня за плечи. — Мы, понятно, вашего имени не упомянем. И даже если оно всплывет — а вам придется примириться с мыслью, что такое может случиться, — тогда мы подыщем вам для жилья другое место. Получше этого. В ваши годы так или иначе уже не следует жить в таком старом ветхом доме. Кошмар! Тут даже нормального туалета нет. Мы подыщем вам приличную квартирку в Анже. Ни одного репортера к вам не подпустим. Что бы вы о нас ни думали, мы станем о вас заботиться. Мы же не чудовища какие-нибудь. Мы хотим, чтобы вам же было лучше.

С непонятно откуда взявшейся силой я отпихнула Лору от себя:

— Нет!

И тут сквозь пелену до меня дошло, что здесь Поль, что он молча стоит за моей спиной, и тогда сквозь мой страх проросло и расцвело пышным

цветом злорадное ликование. Я не одна! Теперь рядом со мной Поль, мой верный друг.

— Подумайте, мамуся, ведь это же в интересах всей семьи!

— Нет!

Я шагнула, чтобы закрыть дверь, но Лора уперлась в щель своим высоким каблуком:

— Нельзя скрываться вечно!

Тут вперед шагнул Поль. Он говорил спокойно, медленно растягивая слова, тоном человека, то ли в полном согласии с самим собой, то ли слегка заторможенного.

— Вы что, не слышали, что сказала Фрамбуаз? — произнес он с сонной улыбкой, а мне подмигнул; тут меня захлестнула нежность к нему, да так внезапно, что вся злость исчезла. — Если я правильно понял, не нужна ей эта сделка. Так?

— Это еще кто? — изумилась Лора. — Что он здесь делает?

Поль улыбнулся в ответ своей доброй, сонной улыбкой. И просто сказал:

— Друг. Самый старый.

— Фрамбуаз! — потянулась Лора из-за плеча Поля. — Подумайте над нашим предложением. Подумайте, как это важно. Иначе мы бы к вам не обратились. Подумайте.

— Подумает, будьте уверены! — добродушно сказал Поль и закрыл дверь.

Лора настойчиво принялась барабанить в дверь снаружи. Но Поль задвинул щеколду и для верности цепочку накинул. Через толщу дерева пробивался крикливым зудением голос Лоры:

— Фрамбуаз! Одумайтесь! Я велю Люку уехать! Все станет опять как прежде! Фрамбуаз!

— Кофе? — спросил Поль, направляясь в кухню. — От него, понимаешь, легчает.

— Ишь какая! — сказала я дрожащим голосом, кивнув на дверь. — Вот негодяйка!

Поль повел плечами.

— Да бог с ней, — простодушно сказал он. — Отсюда ее не больно слышать.

У него все было просто, и я, выдохшись, подчинилась; он принес мне горячий черный кофе со сливками, корицей и сахаром и кусок черничного пирога с кухонного стола. Я ела и пила молча, и постепенно кураж снова вернулся ко мне.

— Она не отступит, — произнесла я после долгого молчания. — Так или иначе будет на меня наседать, пока не сдамся. И тогда она поймет, что тайны мне уже не удержат. — Я приложила руку ко лбу, ломило голову. — Понимает, не вечно же мне упорствовать. Это вопрос времени. Долго так не протянется.

— Так ты что же, капитулируешь? — спросил Поль спокойно, с некоторым любопытством.

— Нет! — резко ответила я. Он развел руками.

— Тогда чего городишь ерунду? Куда ей до тебя. — Тут почему-то он покраснел. — Сама знаешь: если захочешь, найдешь, как их одолеть.

— Одолеть? — Я чувствовала, что вскинулась сварливо, как мать, но ничего с собой поделывать не могла. — Кого? Люка Дессанжа и его дружков? Лору с Янником? Еще двух месяцев не прошло, а они уже пустили под откос все мое хозяйство. Раз вступили на этот путь, им только и остается, что вперед и вперед, а к весне... — Я в отчаянии махнула рукой. — А если у них языки развяжутся? Ведь много не надо... — Слова душили меня. — Всего-то назвать имя моей матери. Поль покачал головой.

— Не думаю, что они на это пойдут, — спокойно сказал он. — Уж только не сейчас. Им нужна зацепка, чтоб торговаться. Знают, чем тебя шантажировать.

— Кассис все разболтал, — устало сказала я. Поль пожал плечами:

— Это уже неважно. До поры они тебя оставят в покое: вдруг ты одумаешься, вдруг удастся тебя убедить. Им нужно, чтоб ты сама согласилась, по доброй воле.

— И что? — снова во мне встрепенулась прежняя злость. — И сколько это продлится? Месяц? Два? Что можно сделать за два месяца? Да мне хоть целый год ломай голову, все равно ни до чего не...

— Неправда. — Поль произнес это ровно, без тени упрямства, вынимая из нагрудного кармана единственную, смятую сигаретку и чиркая спичкой о большой палец. — Стоит что тебе задумать, непременно сделаешь. Так всегда было. — Тут он глянул на меня поверх огонька своей сигареты и улыбнулся слегка грустной своей улыбкой. — Как тогда, помнишь? Поймала все-таки Матерую, а?

Я замотала головой:

— Тогда — совсем другое дело!

— А по-моему, очень схоже, — сказал Поль, затягиваясь едким дымом. — Прими это к сведению. Охота на рыбу, она многому в жизни учит.

Я озадаченно взглянула на него. Он продолжал:

— Возьми эту Матерую. Ведь удалось же ее поймать тебе, а больше никому.

Я задумалась, вспоминая себя в свои девять лет.

— Я к реке присматривалась, — сказала я после молчания. — Изучала повадки старой щуки, где она кормится, чем. И ждала. Мне повезло, только и всего.

— М-да... — Снова вспыхнул огонек сигареты, Поль выпустил дым из ноздрей. — Представь, что этот Дессанж — рыба. Ну? — Тут он усмехнулся. — Выясни, чем кормится, определи верную наживку, и он твой. Что? Не так?

Я смотрела на Поля. — Что, говорю, не так разве?

Может, и так. Узкий серебряный лучик надежды сверкнул в моей душе. Может быть.

— Стара я, чтобы сражаться, — сказала я. — Старая стала, устала.

Поль прикрыл своей заскорузлой потемневшей ладонью мою руку и с улыбкой сказал:

— Для меня — нет.

8.

Конечно, он прав. Рыболовство — отличная школа жизни. Помимо всего, Томас и этому меня научил. В год, когда мы подружились, мы много разговаривали. Иногда присоединялись Кассис с Рен, и тогда разговор переходил на предметы мелкой контрабанды: жвачка, шоколадка, баночка крема для Рен, апельсин. Похоже, у Томаса имелся неиссякаемый запас этих прелестей, и он раздавал их с небрежной легкостью. Тогда он неизменно являлся один.

После разговора с Кассисом в нашем убежище на дереве я поняла, что у меня с Томасом все четко обозначилось. У нас были свои правила — не дурацкие, навязываемые нашей матерью, а простые, понятные и девятилетнему ребенку: всегда начеку; сам себе голова; равные возможности для всех. Мы трое уже столько времени слонялись беспризорниками, что для нас было неопишваемым, хотя и тайным, счастьем появление нового наставника — взрослого, олицетворявшего собой порядок.

Помню, однажды мы втроем его ждали, а Томас опаздывал. Кассис по-прежнему звал его «Лейбниц», а мы с Рен уже давно звали по имени. В тот день Кассис был какой-то нервный и угрюмый, уединился, сидел на берегу,

кидал в воду камни. Утром у них с матерью вышла шумная стычка по какому-то ничтожному поводу:

— Был бы жив отец, ты бы не посмел со мной так разговаривать!

— Был бы жив наш отец, он бы только тебя и слушал!

От ядовитого ее языка Кассис, как всегда, сбежал из дома. У него в хижине на дереве хранилась отцовская охотничья куртка, и он сидел нахохлившись, завернувшись в нее, как старый индеец в одеяло. Если Кассис в отцовской куртке — это не к добру, и мы с Рен его не трогали.

Вот так он и сидел у реки, когда пришел Томас.

Томас сразу все заметил и, не говоря ни слова, присел чуть поодаль на берегу, ниже по течению.

— С меня хватит! — наконец бросил Кассис, не глядя на Томаса. — Я уже не ребенок. Мне скоро четырнадцать. Хватит, наигрался.

Томас снял армейскую шинель, кинул Ренетт, чтоб пошарила по карманам. Я лежала на животе на берегу и следила за происходящим.

Кассис продолжал:

— Комиксы, шоколадки, всякая дребедень. Война идет. А тут фигня одна. — Он возбужденно поднялся. — Глупости. В игрушки играем. Отцу моему голову снесло, а тебе, чистоплюю, хоть бы хны.

— Ты так думаешь? — отозвался Томас.

— Я думаю, что ты грязный бош! — рубанул Кассис.

— А ну пойдем, — сказал Томас, вставая. — Девочкам оставаться здесь, ясно?

Рен крайне обрадовалось, что можно сколько угодно листать глянцевые журналы, извлеченные из карманов шинели. Оставив ее за этим занятием, я незаметно, прячась в кустах, пригибаясь к мшистой земле, скользнула за Томасом и Кассисом. Их голоса, как пылинки света сквозь листву, просачивались ко мне издалека.

Слышно было неважно. Я притаилась под поваленным деревом, стараясь не дышать. Томас снял с плеча ружье и протянул Кассису.

— На-ка, возьми. Почувствуй, каково.

Судя по тому, как взял его Кассис, ружье было тяжелое. Он вскинул его, прицелился в немца. Томас и бровью не повел.

— Моего брата расстреляли как дезертира, — сказал он. — Он только окончил военное училище. Ему было девятнадцать. Он испугался. Он был пулеметчик; видно, ошалел от пулеметного стрекота. Это случилось в одной французской деревушке в самом начале войны. Я думаю, если бы я был рядом, смог бы ему помочь, как-то подбодрить, уберечь от беды. Но меня там не было.

— Ну и что? — Кассис с ненавистью смотрел на него. Томас как будто и не слышал:

— Он был в семье любимчиком. Вечно Эрнсту доставалось вылизывать кастрюльки, когда мать готовила. Эрнста старались освободить от черной работы. Эрнст был гордостью родителей. А я... Я был работягой, считалось, что только и гожусь, чтоб выносить помои да кормить свиней. Только и всего.

Теперь Кассис слушал. Казалось, напряжение между ними накалилось до предела.

— Когда пришло извещение, я был дома на побывке. Принесли это письмо. Старались держать в тайне, но через полчаса в деревне уже все знали, что сынок Лейбница дезертир. Моих родителей это известие совершенно ошарашило; как молнией поразило.

Я решила под прикрытием упавшего дерева подползти поближе. Томас продолжал:

— Самое смешное, что у нас в семье именно меня всегда считали трусом. Я никогда не высовывался. На рожон не лез. Но с этого момента я стал героем в глазах моих родителей. Неожиданно я занял место Эрнста. Будто его и не было. Как будто я был у своих родителей единственный сын. Я стал для них всем.

— Это же ужас, что... — еле слышно прозвучал голос Кассиса.

Томас кивнул.

Кассис тяжело вздохнул, будто захлопнулась массивная дверь.

— Он не должен был умереть, — сказал брат. И я поняла, что это он о нашем отце. Томас стоял и, внешне невозмутимо, ждал.

— Ведь все знали, какой он умный. И владеть собой всегда умел. — Кассис взорвался: — Он был не трус! — и метнул взгляд на Томаса, будто уязвленный его молчанием.

Руки и голос брата дрожали. И вдруг он стал кричать, громко, мучительно, я едва разбирала слова, которые с безудержной яростью рвались из него вон:

— Он не должен был умереть! Он должен был жить, чтоб все стало ясней, чтоб все стало лучше. А вместо этого он ушел на войну и, как дурак, дал себя разорвать на куски! И вместо него остался я, и я... я... не знаю теперь... что делать и ка-а-ак...

Томас подождал, пока все кончится. Это длилось довольно долго. Потом он протянул руку и как ни в чем не бывало забрал у Кассиса ружье.

— Такова доля героев, — бросил он. — Они не успевают дожить до исполнения желаний, правда?

— Я мог тебя убить, — угрюмо буркнул Кассис.

— Противодействовать можно по-разному, — сказал Томас.

Почувствовав, что у них пошло на мировую, я стала потихоньку отходить сквозь кусты, чтоб они, когда обернутся, меня не заметили. Ренетт по-прежнему сидела на том же месте, погрузившись в разглядывание журнала «Cine-Mag». Минут через пять появились Томас с Кассисом, обнявшись, как братья. На Кассисе красовалась лихо надетая набекрень немецкая пилотка.

— Возьми себе, — предложил Томас. — Для меня не проблема вторую такую найти.

Наживка была заглочена. С этого момента Кассис стал его рабом.

9.

Наше рвение угодить Томасу удвоилось.

Любое, самое ничтожное известие сносилось к нему в копилку. Мадам Энрио незаметно от всех на почте вскрыла какой-то пакет. В мясной лавке Жиль Пети продает кошачье мясо, а выдает за кроличье. В «La Mauvaise Réputation» Мартэн Дюпрэ в разговоре с Анри Друо поносил немцев. Говорят, на огороде за домом у Трюрианов под капканом припрятан радиоприемник. А Мартэн Франсэн и вовсе коммунист. И Томас наведывался к этим людям якобы, чтоб изъять продовольствие для солдат, а уносил с собой и кое-что еще — то полные карманы бумажных денег, то тряпки с черного рынка, то бутылку вина. Иногда жертвы поставляли ему дополнительную информацию: про чьего-то парижского родственника, которого прячут в погребе в центре Анже; про то, как на задворках кафе «Рыжий кот» кого-то пырнули ножом. К концу лета Томас Лейбниц знал половину тайн в Анже и две третьих — в Ле-Лавёз, а в казарме под матрасом у него уже скопилось приличное состояние. Он именовал это противодействием. Чему, уточнять не требовалось.

Деньги он посылал домой в Германию, и я все гадала, каким же образом. Надо думать, находились каналы. Портфели дипломатов, курьерские баулы, продовольственные составы и санитарные грузовики. Столько возможностей для молодого предприимчивого человека при хороших-то связях. Он подменял приятелей по части, чтобы чаще наведываться на фермы. Подслушивал всякие разговоры у дверей офицерской столовой. Он нравился людям, ему доверяли, ему рассказывали. И он ничего не забывал.

Это было рискованно. Он как-то мне это сказал, когда мы однажды с ним встретились у реки. Малейший промах и — расстрел. Но при этом глаза у него озорно смеялись. Попадаются исключительно дураки, с улыбкой говорил он. Дурак способен расслабиться, потерять бдительность, а то и сделаться алчным. И Хейнеман, и прочие — дураки. Сначала они ему были нужны, но теперь он понял, что одному безопасней. Они — ненужный балласт. У каждого свои слабости. Толстяк Шварц падок на девочек. Хауэр — пьяница. Ну а Хейнеман с его бесконечными почесываниями и нервным тиком — прямой кандидат в психбольницу. Нет, рассуждал Томас лениво, лежа на спине со стебельком клевера в зубах, лучше работать в одиночку: следить, затаившись, и пусть другие лезут на рожон.

— Возьмем, к примеру, твою щуку, — сказал он задумчиво. — Если б она все время лезла на рожон, ни за что бы так долго в реке не прожила. Она пищу ищет на дне, хоть зубы у нее достаточно остры, чтоб поохотиться за любой речной рыбиной. — Он умолк, откинул стебелек клевера, приподнялся, сел, устремив взгляд на реку. — Она понимает, Уклейка, что за ней охотятся, и она затаилась на дне, питаясь всяким гнильем, отбросами и илом. На дне-то безопасней. Смотрит, как другие рыбы, поменьше, подплывают близко к поверхности, видит, как их брюшко посверкивает на солнце, и как только одна зазеваается, что-то ее отвлечет, щука — хап!

Он резко захлопнул ладони — будто щучьи челюсти ухватили невидимую жертву.

Я замороженно смотрела на него.

— Она обходит сети и ловушки. Она узнает их издали. Другие рыбы жадно хватают наживку, но старая щука все ждет, чтобы улучшить момент. Она умеет ждать. Она знает, что такое наживка; точно знает. Фальшивая приманка с ней не пройдет. Только на живую может пойти, да и то не всякий раз. На щуку нужен хитрый рыбак. — Он улыбнулся. — Знаешь, Уклейка, нам с тобой не мешает у старой щуки подучиться!

Его слова запали мне в душу. Мы виделись раз в две недели, иногда раз в неделю, раз или два вдвоем, чаще вместе с Кассисом и Рен. Обычно это происходило в четверг, мы встречались у Наблюдательного Пункта, откуда шли в лес или по берегу реки, подальше от деревни, чтоб никто нас не увидел. Томас часто надевал штатское, припрятав в хижине на дереве военную форму, — чтоб избежать лишних вопросов. По черным для матери дням я прибегала к мешочку с апельсиновыми корками, чтоб, пока мы встречаемся с Томасом, она не выходила из своей спальни. В другие дни я

вставала рано, в половине пятого, и уходила рыбачить до того, как полагалось выполнять обязанности по хозяйству, стараясь выбирать самые тенистые и тихие места на Луаре. В ловушки для раков у меня набиралась живая наживка, где я и держала ее, чтоб насадить на новую удочку. Потом легким движением раскидывала рыбешек по воде, чтобы они бледным брюшком проскользили по поверхности, чтоб течение взбудоражилось живой приманкой. Таким путем мне удалось поймать несколько щук, но молодых, длиной не больше фута каждая. Я все равно развесила их на Стоячих Камнях рядом с высохшими вонючими водяными змеями, торчавшими там с лета.

Я, как и щука, ждала.

10.

Начался сентябрь, лето повернуло на осень. Было по-прежнему жарко, в воздухе стоял аромат нового урожая, густой и вязкий, со сладким медовым привкусом гнилья. Безжалостные августовские дожди погубили много фруктовых плодов, уцелевшие почернели от облепивших их ос, но мы снимали и их. Потерь мы позволить себе не могли, и то, что нельзя было продать в свежем виде, могло быть переработано на зимние запасы, варенья и наливки. Мать организовывала эту операцию, снабдив нас толстыми перчатками и деревянными щипцами, чтобы подбирать с земли плоды. Помню, в тот год осы были особенно неистовы, — возможно, предчувствовали приход осени и свою скорую гибель. Несмотря на перчатки, они жалили нас беспрестанно, когда мы кидали подопревшие плоды в огромные кипевшие на огне кастрюли. Сначала в варенье попадало много ос, и Рен, не выносившая одного вида насекомых, буквально билась в истерике, когда ей приходилось вылавливать дуршлагом полуживых ос со вспененной густокрасной поверхности. Вздывая фонтан сливового сиропа, она с силой отшвыривала полудохлых ос на дорожку, и к ним тотчас сползались полчища живых соплеменниц. Мать это вывело из себя. Мы не имели права бояться такой мелочи, как осы, и если Рен визжала или хныкала, когда мы собирали с земли сливы, кишацие насекомыми, мать обращалась с ней гораздо круче, чем обычно.

— Что орешь, как придурочная? — взорвалась она. — Кто за тебя будет сливы собирать? Думаешь, мы за тебя это будем делать?

Рен с лицом, искаженным омерзением и страхом, тихо скулила, выставив перед собой растопыренные руки.

Мать разъярилась не на шутку. Голос взвился злобным осиным жужжанием:

— Собирай, не то ты у меня сейчас схлопочешь! Она отпихнула Рен к куче слив, над которой мы трудились, к вязкой, гниющей массе, кишевшей зловредными осаами. Оказавшись посреди осинового роя, Ренетт завизжала и отскочила назад к матери, зажмурившись, и потому не видела, как ту от ярости перекосило. Мать сперва будто замерла, перекошенная, потом вдруг схватила Ренетт, продолжавшую истерично орать, за плечо и, ни слова не говоря, поволокла ее к дому. Мы с Кассисом переглянулись, но не двинулись с места. Было ясно, что за этим последует. Ренетт взвыла еще громче, и каждый ее вопль предварял звук, напоминавший глухой хлопок духового ружья, мы же невозмутимо вернулись к прерванной работе среди скопища ос, препровождая деревянными щипцами обвислые куски попорченных слив в поставленные вдоль дорожки ведра.

Прошло довольно много времени, крики подвергаемой порке Ренетт затихли, они с матерью вышли из дома; мать еще держала в руке бельевую веревку. Обе снова в молчании принялись за работу, Ренетт время от времени шмыгала носом и утирала красные глаза. Вскоре у матери опять начался тик, и она ушла к себе в комнату, строго-настрога наказав нам закончить сбор падалиц и поставить вариться варенье. О случившемся она не вспоминала и даже, кажется, забыла об этом, но я слышала, как ночью Ренетт ворочалась и тихонько плакала, и я заметила красные рубцы у нее на ногах, когда сестра надевала ночную рубашку.

Случай этот был необычный, однако не последний в цепи необычных поступков моей матери в то лето, и был скоро забыт всеми, разве что кроме Ренетт. У нас были заботы поважнее.

11.

В то лето с Полем мы виделись редко; пока у Кассиса с Ренетт были каникулы, он держался от нас на расстоянии. Но к сентябрю, когда уже близились школьные занятия, Поль стал все чаще навещать нас. Хоть Поль мне очень даже нравился, но мне бы очень не хотелось, чтоб он столкнулся с Томасом. Поэтому я часто скрывалась от него, отсиживалась в кустах у реки, ожидая, пока он уйдет, не отвечала на его оклики или даже делала вид, что не замечаю, когда он мне махал. Немного погодя он вроде бы все понял, потому что приходиться перестал.

И в этот-то момент мать стала вести себя по-настоящему странно.

После истории с Ренетт мы поглядывали на нее настороженно, снизу вверх и с опаской, как первобытный народец на своего идола. Да она и была для нас чем-то вроде идола, посылавшего нам по своей прихоти милости и кару, и по ее улыбке или сдвинутым бровям мы учились определять, откуда ветер дует. Но с приближением сентября и начала школьных занятий у двух старших мать стала еще мелочнее, чем прежде, срывалась по любому пустяку — из-за скатерти, брошенной у раковины, тарелки, оставленной сушиться, пыльного пятнышка на стекле фотографии. Головные боли изводили ее чуть ли не ежедневно. Я прямо-таки завидовала Кассису с Ренетт, что они целыми днями в школе, ведь начальную школу в нашей деревне закрыли, и мне оставалось ждать еще целый год, когда можно будет ездить с ними в Анже учиться.

Я часто прибегала к помощи апельсинного мешочка. Тряслась, что мать раскроет мои фокусы, но все же не могла остановиться. Только после своих таблеток она успокаивалась, а пила их только тогда, когда пахло апельсином. Я запрятывала свой запас апельсиновой корки глубоко в бочку с анчоусами и доставала при необходимости. Дело было рискованное, но в результате я обеспечивала себе на пять-шесть часов необходимую передышку.

В промежутках между этими краткими передышками военные действия продолжали развиваться. Я росла быстро: уже почти догнала Кассиса и перегнала Ренетт. Я унаследовала острые черты лица матери, ее темные глаза, настороженный взгляд, прямые черные волосы. Это сходство мне докучало даже больше, чем ее собственные странности, и по мере вступления лета в осень недовольство мое росло и росло и уже не давало мне спокойно жить. В нашей спальне был осколок зеркала, и я тайно от всех в него посматривала. Раньше я почти не уделяла внимания своей внешности, но теперь верх взяло любопытство, на смену которому пришел критический взгляд. Подсчитывая свои недостатки, я пришла в ужас от их количества. Как было бы хорошо иметь вьющиеся, как у Ренетт, волосы, полные, алые губы. Я потихоньку таскала у нее из-под матраса фотографии актрис и уже знала их все наперечет. Их внешность не вызывала у меня восторженных вздохов — я скрежетала зубами от отчаяния. Я накручивала волосы на тряпочки, чтоб они курчавились. С яростью щипала, чтоб вырастали, свои светло-коричневые соски. Все впустую. Я оставалась точной копией своей матери: угрюмой, замкнутой и нескладной. Появились во мне и другие странности. Мне снились сны как явь, я просыпалась, тяжело дыша, в холодном поту, хотя ночи уже становились прохладными. У меня обострилось обоняние, и в иные дни я даже, при том что ветер дул в

противоположном направлении, чужая запах горящего сена с полей Уриа. Или могла точно сказать, что Поль ел копченую свинину. Или, еще и не выйдя в сад, — что именно мать готовит на кухне. Впервые я различила свой собственный запах — солоноватый, с рыбным душком, жаркий запах, который не улетучивался, даже если я терла кожу лимонным бальзамом и перечной мятой. И еще резкий, масляный запах своих волос. У меня, которая до того никогда не болела, появились колики в животе. И головные боли. Мне стало казаться, что, может, я унаследовала от матери и ее странности, и эту страшную, безумную тайну, к которой и я сделалась причастна.

А раз проснувшись утром, я увидела на простыне кровь. Кассис с Ренетт спешили к велосипедам, чтобы ехать в школу, и им было не до меня. Я инстинктивно прикрыла одеялом испачканную простыню, накинула старую юбку и джемпер и пустилась бегом к Луаре, чтоб получше рассмотреть приключившееся со мной бедствие. Ноги оказались в крови, я вымыла их в реке. Из старых носовых платков я попыталась соорудить себе повязку, но повреждение оказалось слишком серьезным, слишком глубоким. Казалось, будто меня, нерв за нервом, раздирает на куски.

Мне и в голову не пришло сказать об этом матери. О менструации я и слыхом не слыхала — в отношении физиологии мать была до ужаса стыдлива, — и я решила, что у меня страшная рана и что, возможно, я умираю. То ли неосторожно грохнулась где-то в лесу, то ли отравилась грибами, то ли от чьего-то сглаза кровь из меня так и хлещет. В церковь мы не ходили — мать с неприязнью отзывалась о, по ее выражению, «святом племени», и насмехалась над теми, кто ходил в церковь, — но при этом ей удалось внушить нам глубокое осознание греха. «Дурное так или иначе выходит наружу», — говаривала она. Для нее мы, как бурдюки, наполненные кислым вином, были вместилищем всевозможных пороков — за нами нужен глаз да глаз, не дай бог прорвется, и каждый ее взгляд, и каждое прищептывание лишней раз подчеркивали, как непоправимо черно у нас внутри.

Я была гаже остальных. Я это понимала. Я видела это в зеркале по своим глазам, по так похожему на мать неприкрыто звериному, дерзкому взгляду. Можно призвать смерть всего лишь одной черной мыслью, говорила она, и в то лето все мои мысли были черные. Я верила ее словам. И пряталась, как раненый зверь; влезала на самую верхушку Наблюдательного Пункта, замирала, свернувшись калачиком, на деревянном настиле, ждала смерти. Живот ныл, как воспаленный зуб. Смерть не являлась. И я листала комиксы Кассиса, потом лежала,

уоставившись в яркое переплетенье листьев, пока не приходил сон.

12.

Позже, выдавая мне чистую простыню, она объяснила. Без особого сострадания, если не считать оценивающего взгляда, который всегда у нее появлялся в моем присутствии: на бледном лице губы сжаты в ниточку, взгляд острый, колючий.

— Рановато эта кара нагринула, — буркнула она. — На-ка, возьми вот это.

Она подала мне комком муслиновые тряпочки, по виду похожие на младенческие подгузники. Даже не показала, как ими пользоваться.

— Кара?

Весь день я отсиживалась в домике на дереве, ожидая смерти. Безразличие матери взбесило меня, поставило в тупик. Я постоянно впадала в крайности. Представляла, как рухну трупом к ее ногам, цветы в изголовье, мраморный камень с надписью: «Незабвенной доченьке...». Наверно, твердила я себе, мне как-то незаметно привиделась Матерая.

— Проклятье это, — сказала мать, как бы подслушав мои мысли. — Теперь станешь такая, как я.

И больше ни слова. Дня два меня изводил страх, но ей я ничего не говорила, стирала муслиновые тряпочки в Луаре. Потом через какое-то время кара закончилась, и я про нее забыла.

Но чувство обиды не прошло. Стало даже острее, оттачиваемое моим страхом и нежеланием матери меня утешить. Ее слова: «Теперь станешь такая, как я» — преследовали меня. Мне стало казаться, что я незаметно меняюсь, каким-то хитрым, коварным образом становлюсь все более и более похожей на нее. Я щипала свои тощие руки и ноги, потому что они такие, как у нее. Била себя по щекам, чтоб стали розовее. Однажды отрезала себе волосы — так коротко, что местами оголилась кожа, — потому что те не желали виться. Попыталась выщипать брови, но делала это неумело, и Ренетт застала меня за этим занятием — я сидела скрючившись над зеркальцем, яростно сдвинув то почти невидимое, что осталось от моих бровей.

Мать едва заметила. Мое объяснение, что, дескать, спалила волосы и брови, пытаясь поджечь кухонный котел, по-моему, ее удовлетворило. Лишь однажды — кажется, это было в один из ее благополучных дней, — когда мы с ней вместе в кухне готовили *terrines de lapin*,^[59] она спросила

вдруг в каком-то странном порыве:

— Слушай, хочешь, Буаз, сегодня в кино съездить? Можем вдвоем, и я с тобой.

Это было так непривычно и так неожиданно, что я растерялась. Ферму она оставляла только в исключительных случаях. Никогда не тратила денег на развлечения. И тут я заметила, что на матери новое платье — насколько позволяло, во всяком случае, то трудное время — с довольно открытым красным лифом. Должно быть, она сшила его из обрезков в своей спальне в бессонные ночи, потому что видела я его впервые. Лицо матери слегка порозовело, в нем появилось что-то девичье; протянутые ко мне руки были в кроличьей крови.

Я опешила. Я понимала, это порыв к сближению. Что оттолкнуть его нельзя; но между нами столько скопилось невысказанного, что неприятие уже сделалось возможным. На мгновение мне представилось, как я подхожу, как даю ей себя обнять, как скажу ей...

Внезапно от этой мысли сдавило горло.

Что ей сказать? — жестко спросила я себя. Сказать надо так много. И значит — ничего. Ничего я ей не скажу. Мать вопросительно смотрела на меня:

— Ну что, Буаз? Поедем?

Спросила непривычно мягко, почти ласково. Внезапно я представила ее в постели с моим отцом, обнявшись, та же истома во взгляде.

— А то все работа да работа, — тихо сказала она. — Времени ни на что не остается. А я так устала.

Впервые в ее словах прозвучала жалость к себе. Снова я ощутила желание подойти, почувствовать ее тепло. Нет, невозможно. Так у нас заведено не было. Не помню, чтоб мы прикасались друг к дружке. От самой этой мысли мне даже стало неловко.

Я пробурчала какую-то несуразность, вроде того, что фильм уже видала.

На мгновение окровавленные, потянувшиеся ко мне руки застыли. Но вот взгляд потух. Меня тут же охватило буйное злорадство. Наконец-то в нашей бесконечной жестокой игре я отвоевала очко.

— Ну да, понятно, — произнесла она бесцветно.

Больше разговора о кино не было. А когда в ближайший четверг я отправилась в Анже с Кассисом и Ренетт смотреть тот самый фильм, который якобы видела, мать не сказала ни слова. Может, уже позабыла.

13.

В тот месяц у нашей крутой, непредсказуемой матери обнаружили новые выверты. То она весела и что-то напевает под нос, оглядывая в саду последние дозревавшие плоды, то грубо рявкает на нас, если осмеливаемся приблизиться. Выпадали неожиданные дары: в виде кусков сахара, драгоценной шоколадки, а Рен — блузка из пресловутого парашютного шелка мадам Пети с крохотными перламутровыми пуговичками. Она, видно, и ее сшила тайком, как свое платье с красным лифом, потому что я не помню, чтоб она что-то кроила или примеряла. Но вышло очень красиво. Как всегда, дары раздавались бессловесно, в каком-то внезапном, неловком молчании, при котором всякое выражение благодарности или радости неуместно.

«Она такая хорошенькая, — пишет мать в альбоме, — почти уже женщина. Глаза как у отца. Был бы он жив, я могла б и приревновать. Похоже, Буаз с ее комичным, лягушачьим, как у меня, личиком, это чувствует. Хочется сделать ей что-нибудь приятное. Еще не поздно».

Хоть бы она это мне сказала, вместо того чтоб писать в альбоме зашифрованным бисером. А тогда эти ее мимолетные всплески, если можно так сказать, великодушия только сильнее меня злили, я невольно искала способы ее уязвить, как тогда в кухне.

И не раскаивалась. Стремилась куснуть побольней. Старая мудрость права: дети жестоки. Уж если режут — то, в отличие от взрослых, всерьез и до самой кости. А мы были щенята дикие, беспощадные, в особенности если чуяли слабое место. Та попытка в кухне ко мне приблизиться оказалась для нее роковой; возможно, она это поняла. С этого момента я лишилась к ней жалости. Одиночество жадно распахнуло во мне свою пасть, разверзаясь все шире во всю глубину черных закоулков души. Но даже если иногда я понимала, что и я ее люблю, люблю с болезненной и отчаянной страстью, я прогоняла эту мысль, вспоминая безучастность матери, ее холодность, ее злость. Моя логика была изощренно безумна: она у меня поплачет, твердила я себе. Пусть возненавидит меня, я ее заставлю.

Мне часто снилась Жаннетт Годэн, белая могильная плита с ангелом, белые лилии в вазе у изголовья. «Незабвенной доченьке». Бывало, я просыпалась вся в слезах, челюсти сводило так, будто я долго-долго скрежетала зубами. Бывало, просыпалась в смятении, убежденная, что умираю. В затуманенном мозгу плыло: как я ни старалась уберечься,

водяная змея меня все-таки укусила. Хотя мгновенно от этого укуса — белые цветы, мрамор, стенания — я не умираю, а превращаюсь в свою мать. Превращаюсь со стоном в своем жарком полусне, сжимая руками свою стриженую голову.

Иногда я пользовалась апельсинным мешочком просто из ненависти, втайне мстя за свои сны.

Я слышала, как она ходит по комнате наверху, порой разговаривая сама с собой. Банка с морфином была почти пуста. Однажды она запустила в стену чем-то тяжелым, и что-то разлетелось вдребезги. Потом мы обнаружили в мусоре обломки часов ее матери, корпус — в щепки, циферблат с трещиной посередине. Жалости это у меня не вызвало. Я бы сама их об стенку грохнула, если б посмела.

Однако в тот сентябрь два обстоятельства удержали меня от помешательства. Первое — охота за щукой. Воспользовавшись подсказкой Томаса о живой приманке, я поймала несколько штук — их тушки в ряд болтались на Стоячих Камнях, там все переливалось, багровело и жужжало от обилия мух, — и, хотя Матерая мне не давалась, я была уверена, что все ближе и ближе подбираюсь к ней. Мне казалось, что она непременно следит за мной и что с каждой моей пойманной щучкой нарастают в ней ярость и отчаяние. Я убеждала себя, что в конце концов жажда мести заставит ее объявиться. Не может же она бесконечно сносить набеги на свое племя. Сколько бы ни было в ней терпения и выдержки, все равно придет время, когда она уже не сможет себя сдерживать. Она покажется, она выйдет на бой, и я ее поймаю. Не отступая от задуманного, я со все возраставшей изобретательностью вымещала свою ярость на мелких жертвах, используя остатки в качестве наживки для ловушек.

Вторым благим обстоятельством был Томас. Он появлялся у нас каждую неделю, если удавалось вырваться, почти всегда это приходилось на четверг, когда ему разрешалась отлучка. Он приезжал на мотоцикле, который вместе с военной формой прятал в кустах за Наблюдательным Пунктом, и часто привозил в свертке вещицы с черного рынка, предназначавшиеся для нас троих. Странно, но мы настолько привыкли к его приездам, что одного только его присутствия нам уже было достаточно, хотя мы это скрывали, каждый по-своему. При нем мы преображались. У Кассиса появлялся небрежный тон, он отчаянно стремился показать, какой он крутой: «Спорим, смогу переплыть Луару в самом быстром месте? Спорим, украду соты диких пчел из дупла?» Рен превращалась в пугливую кошечку, поглядывала на Томаса из-под ресниц, надув свои прелестные напомаженные губки. Я презирала Рен за ее кривлянье. Соперничать с

сестрой в ее играх мне было не под силу, и я пошла по своему пути, задавшись целью переплунуть Кассиса в его подвигах. Переплывала реку в более глубоких и опасных местах. Нырять, оставалась под водой дольше его. Зависала на самых высоких ветвях Наблюдательного Пункта, а если и Кассис осмеливался на подобное, я, зная его тайную боязнь высоты, свисала вниз головой, хохоча и оглашая обезьяньими воплями тех, кто стоял внизу. С остриженными волосами я теперь была вылитый мальчишка, и вот уже в Кассисе начали проявляться первые признаки слабоволия, которое в нем разовьется с годами. Я оказалась жестче и крепче его. В своем малолетстве я еще не соображала, как он, что такое страх. Я с восторгом шла на опасный риск, только чтобы переплунуть брата. Именно я придумала игру с корнями, ставшую нашим излюбленным развлечением, и без усталости тренировалась, чтобы почти всегда выходить из нее победительницей.

Принцип игры был прост. Вдоль берегов Луары, теперь сузившейся после дождей, выпирало множество обнаженных древесных корней, добела промытых быстрым течением. Одни диаметром в девичий торс, другие — не толще пальца, они тянулись прямо под воду и часто вращались в желтый песок дна в метре от поверхности, образуя таким образом там во мраке древовидные петли. Целью игры было, нырнув, проплыть сквозь эти петли — иные предельно узкие, — резко сложившись пополам, туда и обратно. Если с первого раза в петлю в темноте не попадешь, или всплывешь, не проплыв через нее, или побоишься соваться, значит — вылетел. Выигрывает тот, кто сумеет проплыть сквозь большее число петель, ни одной не пропустив.

Игра опасная. Петли всегда образовывались на самых быстрых участках реки, где берег круто подмывался. В норах под корнями жили змеи, а если берег обрушится, не исключено, что можно попасть в ловушку под завалом. Внизу было темно, хоть глаз выколи, и приходилось среди корневых отростков пробиваться на ощупь, чтобы выбраться наружу. В любой момент кто-нибудь мог застрянуть там, вдавленный неистовым течением, пока не захлебнется, но в этом-то и состоял весь смак игры, вся ее привлекательность.

Я достигла в этой игре виртуозности. Рен участвовала редко и постоянно впадала в истерику, когда мы с Кассисом начинали выставляться друг перед дружкой, но брат на мой вызов не ответить не мог. Он пока еще был посильней меня, но я была тоньше, а спина у меня гибче. Я извивалась ужом, а Кассис — чем больше хвастал и рисовался, тем скованней двигался. Кажется, я ни разу ему не проиграла.

Мы встречались с Томасом вдвоем, только если Кассиса с Рен наказывали в школе за плохое поведение. Тогда по четвергам они должны были остаться, после того как все разъедутся, и сидеть за своими партами в зале для задержанных после уроков, спрягать глаголы или писать упражнения. Как правило, такое редко случалось, но тогда им приходилось несладко. Школа по-прежнему была оккупирована немцами. Учителей не хватало, в классах набиралось по пятьдесят-шестьдесят учеников. Нервы у учителей были на пределе; для наказания достаточно было ничтожного повода: необдуманное слово, неуд в контрольной, драка на школьном дворе, невыполненное задание. Я молила Бога, чтоб случилось что-нибудь подобное.

Но этот день был необыкновенный. Я помню его так же ясно, как некоторые сны, он ярче и отчетливей высвечен в памяти, идеально сфокусирован среди расплывчатых и мутных событий того лета. Впервые все выстроилось в четкой последовательности, и в первый раз я испытала невиданное умиротворение, чувство, что я в ладу с собой и с жизнью, что если захочу, этот изумительный день будет длиться вечно. Подобного я больше, пожалуй, никогда в жизни не испытывала; хотя, наверное, нечто сходное случалось у меня оба раза при рождении моих дочерей, ну и разве что разок-другой с Эрве, и еще, если когда что-то готовлю, все получается именно так, как хочется. Но в тот день это чувство было подлинное; живительный эликсир, на всю жизнь.

Накануне вечером матери нездоровилось. На сей раз я была ни при чем; апельсиновый мешочек утратил силу, он столько раз за этот месяц нагревался, что кожура почернела, обуглилась, запах почти иссяк. Нет, у нее был обычный приступ головной боли, и через некоторое время она выпила таблетки и ушла в спальню, предоставив меня самой себе. Я встала рано и отправилась на реку до того, как проснулись Кассис с Рен. Стоял один из редких багряно-золотистых дней ранней осени, воздух был свежий, терпкий и кружил голову, как хмельное вино, и даже в пять утра небо было безоблачное, багрово-синее, какое бывает только в ясные осенние дни. В году, наверное, наберется дня три таких, и тот был один из них. Напевая, я просматривала свои ловушки, и мой голос дерзко несся вдоль мгlistой Луары. Была грибная пора, и, отнеся на ферму свой улов и почистив рыбу, я, прихватив с собой хлеб и сыр, отправилась в лес по грибы. Я слыла отменным грибником. По правде говоря, и по сей день так, но в ту пору нюх у меня был как у выискивающего трюфели поросенка. Я носом чуяла грибы, желто-серую chanterelle^[60] и медно-бурых, с абрикосовым запахом

bolet,^[61] и съедобный дождевик, и черный груздь, и серый. Мать вечно посылала нас к аптекарю, чтобы тот проверил, не набрали ли ядовитых, и я не промахивалась никогда. Безошибочно узнавала bolet по сочному запаху, а черный груздь по аромату сухой земли. Я знала места их обитания, их грибницы. Высматривала грибы с завидным терпением.

Домой я вернулась почти к полудню, когда Кассис с Ренетт обычно возвращаются из школы, только в тот день они что-то не появлялись. Я почистила грибы и опустила их в оливковое масло с тимьяном и розмарином, чтоб промариновались. Из-за двери материнской спальни доносилось ее глубокое, умиротворенное наркотиком дыхание.

Уже миновала половина первого. К этому времени они обычно возвращались. Томас, как правило, являлся попозже, к двум. В животе взвился жгучий ток ликования. Я прошла в нашу спальню и взглянула на себя в зеркальце Ренетт. Волосы начали отрастать, но сзади все еще было коротко, как у мальчишки. Хотя солнце уже давно перестало палить, я надела свою соломенную шляпу, решив, что так будет лучше.

Час дня. Уже целый час как их нет. Я представила, как брат с сестрой торчат в комнате для провинившихся, солнце светит сквозь высокие окна, запах натертого пола и старых книг щекочет ноздри. Кассис сидит с угрюмым видом, Ренетт исподтишка шмыгает носом. Я улыбнулась. Потом взяла из тайника под матрасом драгоценную помаду Ренетт и слегка помазала губы. Критически оглядела себя в зеркале, потом слегка подмазала той же помадой веки, затем снова повторила всю процедуру. С одобрением отметила, что стала совсем другая, почти хорошенькая. Не такая хорошенькая, как Ренетт или актрисы у нее на снимках, но сегодня это неважно. Сегодня Ренетт рядом нет.

В половине второго я отправилась к реке, на наше обычное место встречи. Я высматривала его с Наблюдательного Пункта, надеясь и нет, что наверх он не взглянет, — такое счастье, думала я, может выпасть кому-то угодно, но только не мне, — вдыхая теплый, сочный аромат упругих красных листьев на ветвях вокруг. Еще неделя, и Наблюдательный Пункт уже на целых полгода перестанет им быть, тогда его крона окажется у всех на виду, как одинокий дом посреди холма. Но сегодня на нем еще хватало листы, чтобы скрыть меня от посторонних глаз. Сладостная дрожь охватила меня, и, будто от чьего-то легкого прикосновения, позвонки в самом низу спины завибрировали, как клавиши саксофона. В ушах звенело от ощущения неопишуемой легкости. Сегодня возможно все, опьяненно говорила я себе. Все на свете.

Минут через двадцать с дороги послышался знакомый шум мотоцикла.

Я вмиг спрыгнула с дерева и рванула к реке. В голове так сильно кружилось, что я испытывала странное ощущение, будто земля рвется из-под ног. Меня охватило мощное, под стать моей радости, чувство своего могущества. Сегодня Томас — моя тайна, он принадлежит только мне. То, что мы скажем друг другу, только наше и больше ничье. То, что я ему скажу...

Он остановился на краю дороги, кинул быстрый взгляд вокруг — не смотрит ли кто, — потом потащил мотоцикл вниз, в заросли тамариска у длинной песчаной отмели. Я следила, почему-то не решаясь показаться ему теперь, когда желанный момент настал, внезапно с неловкостью почувствовав, что мы одни, что непривычно близки. Я ждала, пока он скинет свой китель и спрячет его в кустах. Потом он обернулся. В руках у него был сверток, перевязанный бечевкой. В уголке рта торчала сигарета.

— Их нет.

Я старалась говорить по-взрослому спокойно под его взглядом, внезапно вспомнив про свои напомаженные губы и веки: скажет что-нибудь или нет. Если будет смеяться, отчаянно стучало в висках, если засмеется... Но Томас просто улыбнулся.

— Отлично, — небрежно бросил он. — Значит, мы вдвоем. Ты и я.

14.

Как я уже сказала, был чудесный день. Не просто через пятьдесят пять лет выразить всю трепетную радость той пары часов. В девять лет так остро все чувствуешь, что порой одного слова достаточно, чтоб заиграла кровь, а я, более ранимая, чем многие сверстники, только и ждала, что вот сейчас он все испортит. Я вовсе не задавалась вопросом, люблю ли я его. В тот момент задавать такой вопрос было дико, как невозможно было и сопоставить мои чувства — мое до боли безнадежное счастье — с содержанием любимых кинокартин Ренетт. И вместе с тем это было то самое. Моя робость, моя заброшенность, странности моей матери и отторженность от брата с сестрой породили во мне голод, инстинктивную распахнутость навстречу любой толике тепла, пусть даже со стороны немца, этого веселого спекулянта-вымогателя, который не интересовался ничем, кроме того, чтоб регулярно к нему стекались сведения.

Теперь я убеждаю себя, что ничего другого ему не было нужно. Но и при этом что-то во мне противится. Было что-то еще. Было что-то большее. Ему нравилось встречаться, говорить со мной. Иначе — зачем тогда он так

долго не уходил? Я помню каждое слово, каждый жест, каждую интонацию. Он рассказывал про свой дом в Германии, про Bierwurst^[62] и Schnitzel,^[63] про Черный Лес,^[64] и улицы старого Гамбурга, и Рейнланд, про Feuerzangenbowle, когда в огненный пунш помещается утыканный пряной гвоздикой горящий апельсин, про Keks^[65] и Strudel,^[66] и Backofen,^[67] и Frikadelle^[68] с горчицей, и про то, какие яблоки росли в саду его бабушки до войны. А я рассказывала про мать, про ее таблетки, про ее странности, про апельсиновый мешочек, про ловушки для раков, про разбитые часы с треснутым посередине циферблатом, про то, что если бы можно загадать желание, я пожелала бы, чтоб этот день никогда не кончался.

Он взглянул на меня, и наши взгляды по-взрослому сошлись, притянулись, как бывало в нашей с Кассисом игре в гляделки. Но на этот раз первой отвела глаза я.

— Извини, — буркнула я.

— Да нет, нормально! — сказал он. И почему-то так оно и было.

Мы пособирали еще грибов и дикого тимьяна — от его маленьких лиловых цветков пахло даже резче, чем от культурного собрата, — и еще немного припозднившейся земляники у пня. Когда Томас пробирался сквозь сухой березовый валежник, я, будто бы невзначай, будто потеряв равновесие, слегка коснулась его спины, и его тепло еще долго после, точно тавро, жгло мне руку. Потом мы сидели у реки и следили, как красный солнечный диск проваливается за деревья. Внезапно мне показалось, будто в темной воде мелькнуло что-то черное, наполовину скрытое водой посреди клином возникшей ряби — рот, глаз, маслянистый извив переваливающегося бока, зубастая пасть, над ней усами свисают ржавые крючки, — что-то чудовищных, невероятных размеров, исчезнувшее, прежде чем я успела сообразить, что это, оставив в том месте на воде лишь рябь да взбаламученные круги.

Я вскочила, сердце бешено забилося.

— Томас! Ты видел?

Он взглянул лениво, с сигаретой в зубах. Коротко сказал:

— Бревно. Несет течением. Они тут постоянно встречаются.

— Да нет же! — возбужденно выкрикнула я с дрожью в голосе. — Я видела, Томас! Это ома, это была ома! Матерая, Матерая!

Молнией сорвавшись с места, я понеслась к Наблюдательному Пункту за своей удочкой. Томас со смешком сказал:

— Да ну, брось! Даже если это старая щука. Хотя поверь, Уклейка,

такого размера щуки не бывают.

— Это была она, Матерая, — упрямо твердила я. — Она. Она. Длинной в двенадцать футов. Поль говорил, черная, как ночь. Никакое это не бревно. Это ома.

Томас смотрел на меня и улыбался. Секунду или две я выдерживала его ясный, дерзкий взгляд, потом смутилась, отвела глаза.

— Это она, — повторяла я чуть слышным шепотом, — Это она. Я знаю.

Что сказать, я часто гадала потом. Возможно, это и впрямь, как говорил Томас, было плавучее бревно.

Конечно же, когда я под конец ее поймала, никаких двенадцати футов в Матерой не оказалось, хотя, нет слов, такой громадной щуки никто у нас не видал. Не вырастают щуки до такой величины, говорю я себе, а то, что я видала тогда, — или то, что мне померещилось, — в тот день на реке было величиной с крокодила, с которым боролся Джонни Вайсмюллер^[69] на утренних воскресных сеансах у нас в «Мажестик».

Но это по зрелом размышлении. В те годы не существовало еще таких преград для веры, как здравый смысл и логика. Мы верили своим глазам. И пусть иногда над этим потешались взрослые, но кто знает, где она, правда? В душе я была убеждена, что в тот день увидала что-то чудовищное, многоопытное, коварное, как сама река, то, что человеку ухватить не под силу. Оно забрало Жаннетт Годэн. Оно забрало Томаса Лейбница. Оно чуть не забрало меня.

Часть четвертая

«la mauvaise réputation»

1.

Вычистить и выпотрошить анчоусы, натереть солью внутри и снаружи. Засыпать внутрь каждой рыбки побольше крупной соли и веточки солероса. Уложить в бочку головками кверху, пересыпать слоями соли.

Очередной маневр. Открываешь бочку, видишь: стоят на хвостиках в мерцающей серости соли, пьются на тебя с немой рыбьей тоской. Берешь сколько надо для сегодняшней готовки, оставшуюся укладываешь как следует, добавив соли и солероса. В полутьме погреба глаза рыб полны безнадежного отчаяния, как у детей, тонущих в колодце.

Немедленно эти мысли долой, как головку с цветка.

Мать пишет синими чернилами, аккуратно выводит, но строчки косят. Внизу приписывает что-то уже кое-как, но на том самом «нелини-былини», немислимые каракули жирным красным, как помада, карандашом: «тенлини батлителникони» — нет таблеток.

Она стала пить их с начала войны, сначала не часто, раз в месяц, а то и реже; потом, в то странное лето, когда постоянно чувствовала запах апельсинов, — без особой оглядки.

«Я. все старается помочь, — коряво выводит она. — Нам обоим от этого немного легче. Ходит за таблетками в „La Rép“ к одному малому, его Уриа знает. По-моему, не только за этим. У меня хватает ума не спрашивать. Ведь не железный же он. Не то что я. Стараюсь не подавать вида. Зачем? Он не выдает себя. И на том спасибо. На свой лад он обо мне печется, только это все зря. Между нами трещина. Он там, где свет. Ему представить страшно, какие страдания я терплю. Я это знаю и еще больше ненавижу его за то, что он такой».

И потом, уже после гибели отца:

Нет таблеток. Немец говорит, может еще достать, но он не

приходит. С ума сойду. Своих детей бы продала, чтоб только раз нормально уснуть.

У последней записи, как ни странно, есть дата. Она-то и пролила свет. Мать тряслась над своими таблетками, прятала бутылочку подальше на дно ящика в своей спальне. Бывало, вынет, перевернет, посмотрит на свет. Коричневое стекло, на этикетке до сих пор можно различить полустертую надпись по-немецки.

Нет таблеток.

В ту ночь как раз и были танцы, и был последний апельсин.

2.

— Ах да, Уклейка, чуть не забыл!

И, обернувшись, метнул, как мальчишка мячик: поймаю — не поймаю. Такая у него была манера, прикинуться, будто забыл, и подразнить: мол, не ухватишь свой трофей, в Луару канет — и все.

— Твой любимец!

Я без труда поймала левой рукой апельсин, засмеялась.

— Скажи своим, чтоб сегодня приходили в «La Mauvaise Réputation». — Подмигнул, глаза хитро блеснули кошачьим изумрудом. — Там что-то веселенькое намечается.

Мать, конечно же, в жизни не позволила бы нам отлучаться на ночь глядя. Хотя комендантский час пока в целом соблюдался не строго, были и другие опасности. Под покровом ночи случалось много такого, о чем мы и не подозревали, и в поздний час получавшие увольнительную немецкие солдаты часто навевались в кафе, чтоб выпить. Они, понятно, стремились проделывать это не в Анже, где-нибудь подальше от бдительного ока «эсэс». Это мы знали из наших разговоров с Томасом, и иногда, заслышав с дальней дороги шум мотоцикла, я думала, что это он возвращается к себе. Я представляла себе его: ветром откинута волосы со лба, лицо озарено лунным светом, льющим над холодно-призрачной Луарой. Конечно, это мог быть кто угодно, но я всегда считала, что это Томас.

Сегодня все было не так, как всегда. Эта тайная встреча вдвоем, должно быть, вселила в меня смелость, и мне казалось, что все возможно. Накинув на плечи китель, Томас лениво махнул и укатил, вздымая из-под колес облачко желтой луарской пыли. И в тот же миг сердце у меня нестерпимо

заняло. Поток холодом охватило острое чувство утраты, и я ринулась за ним, вдыхая его пыль, размахивая руками, и еще долго бежала, хотя мотоцикл уже скрылся за поворотом дороги на Анже, и слезы, стекая со щек, оставляли на пропыленной маске лица розовые дорожки.

Мне было мало.

Прошел мой день, такой необыкновенный день, и сердце уже рвалось на куски в бешенстве разочарования. Я взглянула на солнце. Четыре часа дня. Это длилось невозможно долго, почти весь день, но все равно этого было мало. Мне нужно было больше. Больше. От томившейся в груди этой новой жажды я в отчаянии кусала губы. Память о мимолетном прикосновении до сих пор сжигала мне ладонь. Я то и дело подносила руку к губам, целовала хранимый кожей жаркий след. Вспоминала, как заветные стихи, каждое его слово. Оживляла в памяти каждый драгоценный миг свидания с растущим неверием — как в зимнее утро, когда силишься вспомнить лето. Но мою жажду ничто не способно было утолить. Я хотела снова видеть его, сегодня же, сейчас же. В голове проносились бредовые видения: как мы вместе бежим далеко-далеко, как живем в лесу вдали от людей, питаюсь грибами, и земляникой, и каштанами до самого окончания войны.

Они нашли меня на Наблюдательном Посту: с апельсином в руке я лежала на спине, глядя вверх на нависшую шатром осеннюю листву.

— С-сказала, что т-тут будет, — Поль вечно заикался в присутствии Рен. — К-когда р-рыбу удил, в-видал, как она в л-лес шла.

Рядом с Кассисом он казался таким робким, неуклюжим, он явно стеснялся своих обшарпанных полотняных штанов, перешитых из дядькиного комбинезона, голых щиколоток, торчащих из сабо. С ним приплелся и его старый пес Малабар на поводке из зеленого садового шпагата. Кассис с Рен даже не переодели школьную форму, волосы Ренетт были подвязаны желтой атласной ленточкой. Я всегда удивлялась, почему Поль ходит таким оборванцем, ведь у него мать белошвейка.

— Что это с тобой? — с опаской спросил Кассис. — Дома тебя нет, я уж было решил... — Он хмуро взглянул на Поля, потом предостерегающе — на меня. — Сюда ведь никто не приходил? Или приходил? — шепотом спросил он, явно стесненный присутствием Поля.

Я кивнула. Кассис раздраженно всплеснул руками.

— Я что тебе говорил? — сердито зашептал он. — Что я тебе говорил? Чтоб никогда не оставалась одна с... — Снова взгляд в сторону Поля. — Ладно, пошли-ка лучше домой, — сказал он уже громче. — Мать волноваться начала, она сейчас раве готовит. Ну же, скорей пошли, а то...

Тут Поль заметил апельсин у меня в руке.

— Ещ-ще д-достала? — спросил он смешно и с растяжкой.

Кассис с презрением посмотрел на меня, как бы говоря: Дурочка, что ж ты напоказ выставила? Теперь придется делиться.

Я застыла в нерешительности. Делиться в мои планы не входило. Апельсин мне был нужен на сегодняшний вечер. Но Поля уже охватило любопытство. Он мог проболтаться.

— Если никому не скажешь, дам тебе апельсина, — наконец проговорила я.

— От-ткуда он у-у тебя?

— Выменяла на рынке, — не моргнув глазом ответила я. — За кусок сахара и парашютный шелк. Мать не знает.

Поль кивнул, робко взглянув на Рен.

— М-можно прямо сейчас и поделить, — сказал он несмело. — У меня ножик есть.

— Дай сюда, — сказала я.

— Я порежу, — тут же вызвался Кассис.

— Это мой апельсин, — припечатала я. — Резать мне.

Мысли прокручивались молниеносно. Я, конечно, сумею припрятать немного апельсиновой корки, но не хотелось, чтоб Кассис что-то заподозрил.

Повернувшись ко всем спиной, я стала делить апельсин, стараясь не порезать руку. На четыре части разделить было бы проще простого: сначала пополам и каждую половинку надвое — но на сей раз мне надо было отрезать еще кусочек, достаточно большой для моих нужд и в то же время достаточно маленький, чтоб тут же от всех припрятать, такой, чтоб можно было до поры держать в кармане. Надрезав, я увидела, что дар Томаса оказался красным севильским апельсином, кровавиком; я как замороженная устала на кровавый сок, стекавший по пальцам.

— Что ты там копаешься? — нетерпеливо взорвался Кассис. — Не можешь апельсин на четыре части разделить?

— Могу, — огрызнулась я. — Кожа жесткая.

— Д-дай-к-ка... — Поль потянулся ко мне, и на миг мне показалось, что он успел заметить тот пятый, совсем крошечный кусочек, прежде чем я упрятала его в рукав.

— Готово, — сказала я. — Порезала.

Кусочки получились разные. Я старалась как могла, но все равно одна четвертинка получилась заметно крупнее других, а одна совсем маленькая. Я взяла ее. И отметила, что Поль самую крупную протянул Рен.

— Сказал ведь, я порежу, — негодовал Кассис, наблюдая за этой картиной. — Вон какая убогая мне досталась. Ну ты и криворукая, Буаз!

Я молча вонзила зубы в свой апельсин. В конце концов Кассис прекратил ворчать и съел свою долю. Поль все поглядывал на меня как-то странно, но ни слова не сказал.

Мы побросали корки в реку. Мне удалось сохранить кусок корки за щекой, всю остальную я выбросила — все казалось, что Кассис за мной следит; но он немного утихомирился, и у меня отлегло от сердца. Интересно, заподозрил он что-нибудь? Я незаметно вынула изо рта корку и сунула в карман, радостно воссоединив ее с запрятанной туда пятой четвертинкой. Я все же надеялась, что этого окажется достаточно.

Я показала им, как отчистить руки и рот мятой и фенхелем, как прочищать землей под ногтями, чтоб не осталось желтизны от апельсиновой корки, и мы пошли через поля домой, где мать, в одиночестве мурлыча себе под нос, готовила в кухне ужин.

Замочить репчатый лук и лук-шалот в оливковом масле, добавив свежий розмарин, грибы и небольшой лук-порей. Добавить пригоршню сушеных помидоров, базилик и тимьян. Четыре анчоуса разрезать вдоль, положить в кастрюлю. Оставить на пять минут.

— Буаз, принеси-ка анчоусов из бочки. Четыре штуки крупных.

Я спустилась в погреб с миской и деревянными щипцами, чтобы солью не разъело кожу на ладонях. Я вынула рыбу, потом апельсинный мешочек в защитной банке. Положила туда новый кусочек апельсина, выдавив масло с соком, чтоб оживить, на старую кожуру, потом мелко порубила ножом остатки, ссылала в мешочек. Сразу резко запахло. Я снова уложила мешочек в банку, вытерла соль с крышки и опустила банку в карман передника, чтобы не выветривался ценный запах. Наскоро провела ладонями по соленой рыбе, чтобы мать не учуяла.

Добавить чашку белого вина и отварной рассыпчатый картофель. Добавить кулинарных обрезков — остатки бекона, мяса или рыбы — и столовую ложку растительного масла. Тушить на самом слабом огне десять минут, не мешая и не поднимая крышки.

Слышно было, как она напевает на кухне. Голос у нее был не слишком мелодичный, даже несколько скрипучий, он то взвивался, то стихал:

— Добавить сырого, незамоченного пшена... у-ум у-ум-м... и убавить огонь. Держать под крышкой... у-ум у-ум-м... десять минут, не помешивая... у-ум... пока не пустит сок. Слить в неглубокую посуду... у-ум у-ум у-ум-м... смазать маслом и запечь, чтоб хрустело.

Поглядывая, что происходит на кухне, я в последний раз поместила

апельсинный мешочек под теплые трубы.

И стала ждать.

Некоторое время мне казалось, что не получилось. Мать по-прежнему возилась на кухне, прерывисто и бессвязно мурлыча себе что-то под нос. Помимо раве нас ждал еще и темный от обилия ягод пирог и в плосках зеленый салат с помидорами. Прямо-таки праздничный ужин, хотя праздновать было явно нечего. У матери случались такие закидоны; когда в настроении — пиршество, в ее черные дни мы ели холодные блинчики, умащивая остатками *gillettes*. Сегодня она была будто не в себе, волосы выбились прядями из обычно туго стянутого пучка, щеки блестят, лицо покраснелось от печного жара. Что-то лихорадочное было в ней, и в том, как она говорила, и в том, как порывисто прижала к себе Рен, едва та вошла, — такое, как и единичные случаи рукоприкладства, случалось с ней крайне редко, — сам тон ее речи, этот нервный трепет пальцев, когда она мыла посуду, когда резала овощи.

Нет таблеток.

Складка между глаз, складки вокруг рта, натянутая, вымученная улыбка. Когда я подавала ей анчоусы, она взглянула на меня с неожиданно ласковой улыбкой, которая, возможно, месяц назад и смягчила бы мое сердце.

— Буаз!

Мне представился Томас, сидящий на берегу реки. И то, как я увидела посреди реки что-то чудовищное, мелькнувшее роскошным маслянистым боком над поверхностью воды. Хочу, чтоб... хочу, чтоб... твердила я про себя, чтоб он сидел сегодня вечером в «*La Mauvaise Réputation*» и чтоб его китель был небрежно перекинут через спинку стула. Внезапно я представила себе, что я сказочно красивая кинозвезда, что на мне шелковое со струящимся шлейфом платье и что все на меня смотрят. Хочу, чтоб, чтоб... Ах, если б у меня сейчас в руках была удочка...

Мать смотрела на меня с выражением странного, даже какого-то волнующего сострадания.

— Буаз? — повторила она. — Ты здорова? Уж не больна ли ты?

Я молча мотнула головой. Нежданно-негаданно, точно внезапным ударом кнута меня захлестнула ненависть к самой себе. Хочу, чтоб... хочу, чтоб... Я нарочито придала лицу сердитое выражение. Томас. Только ты. Всегда.

— Мне надо ловушки проглядеть, — мрачно буркнула я матери. — Скоро приду.

— Буаз! — услышала я за собой ее оклик, но не обернулась.

Я кинулась к реке, я дважды просмотрела свои ловушки, убеждая себя: вот сейчас, именно сейчас... ведь мне так надо, чтоб мое желание исполнилось...

Везде пусто. В приступе внезапной жгучей ярости я пошвыряла застрявшую мелочь — уклеек, пескарей, камбалу, маленьких угрей — обратно в реку.

— Где ты прячешься? — прокричала я безмолвной реке. — Где ты, трусливая, старая карга?

У моих ног текла в сумраке неподвижная Луара, темная, насмешливая. Хочу, чтоб... хочу... Подобрал камень, я зашвырнула его вдаль со всей силы так, что заныло плечо.

— Где ты? Где ты прячешься? А ну покажись! Давай сразимся! ДАВАЙ!

Ни всплеска. Ничего, только темный извив реки да проступающие из воды песчаные отмели в сгущавшихся сумерках. В горле саднило и свербило.

Слезы осиными жалами жгли уголки глаз.

— Я знаю, ты слышишь, — сказала я тихо. — Я знаю, ты там.

Река будто соглашалась со мной. Шелковистый шепот прилива отозвался у моих ног.

— Я знаю, ты там, — снова повторила я почему-то ласково, вкрадчиво.

Казалось, все вокруг слушает меня: деревья, шелестя листвой, река, пожухлая осенняя трава.

— Ты ведь знаешь, чего я хочу, правда? — Снова прозвучал голос мой и как будто не мой. Неожиданно взрослый, сладко баюкающий. — Ты знаешь.

Тут мне пришла на ум Жаннетт Годэн, и та водяная змея, и длинные бурые змеиные трупки, свисавшие со Стоячих Камней, и возникло чувство — уверенность, — будто точно такое же лето было у меня раньше, миллион лет тому назад. Она ведь гнусь поганая, чудище. Как можно вступать с чудищем в сговор?

Хочу, чтоб... Хочу, чтоб...

Может, на том самом месте, где я стою сейчас, стояла и босоногая Жаннетт, смотрела на воду? Что она могла себе пожелать? Новое платье? Новую куклу? Что?

Белый крест. «Незабвенной доченьке». И тут мне подумалось, что не так уж и страшно умереть, чтоб стать незабвенной и чтоб гипсовый ангел у изголовья и тишина.

Хочу... Хочу...

— Я отпущу тебя обратно, — заискивающе шептала я. — Ты ведь знаешь.

На мгновение мне показалось, будто я что-то увидела, что-то черное вздыбилось на воде, бесшумно сверкнуло, будто мина, зубастый металл. Нет, просто показалось.

— Честно, отпущу, — тихо-тихо повторила я. — Брошу обратно в реку.

Но даже если что и было, ничего больше не появлялось. Внезапно рядом, как дура, квакнула лягушка. Становилось зябко. Я повернулась и пошла обратно полями, как и пришла, сорвав несколько початков кукурузы, чтобы оправдать свой поздний приход.

Мало-помалу я стала ощущать аромат готовящегося раве и ускорила шаг.

3.

«Потеряла ее. Теряю их всех».

Написано в альбоме моей матери против рецепта ежевичного пирога. Мелкие мигреневые буковки, черные чернила, строчки наезжают одна на другую, перекрещиваются, словно даже ей своего шифра недостаточно, чтоб схоронить свой страх, который она прячет и от нас, и от себя.

Сегодня смотрела на меня, будто меня нет. Так хотела прижать ее к себе, но она стала такая большая, я боюсь ее глаз. Только Р.-К. еще не совсем очерствела, а в Б. уже ничего родного. Я просчиталась, думая, что дети что деревья. Ветки подрежешь — станут лучше расти. Не так. Не так. Когда Я. погиб, понукала их в рост. Хотела, чтоб скорей выросли. Вот они и стали круче меня. Как зверьки. Сама виновата. Сама так хотела. Снова вечером апельсины в доме, а никто не чувствует запаха, только я. Голова болит. Если б она положила мне на лоб руку. Кончились таблетки. Немец говорит, может достать еще, но не приходит. Буаз. Уже к ночи явилась домой. Как и я, напополам.

Похоже на бред, но ее голос слышится мне почему-то удивительно ясно. Он звучит пронзительно резко, голос женщины, из последних сил удерживающейся на грани здравого смысла.

— Немец говорит, может достать еще, но не приходит.

Мама, мама! Если бы я знала.

4.

Все эти бесконечно долгие ночи мы с Полем понемногу вчитывались в альбом. Я расшифровывала слова, а он записывал все на маленькие карточки и сортировал по смыслу, пытаясь восстановить ход событий. Он не высказался ни разу, даже когда я, не объяснив ему причины, пропускала отдельные места. В среднем мы проходили за ночь две-три странички, совсем немного, но к октябрю проработали уже почти половину альбома. Все-таки теперь это было гораздо легче, чем когда я пыталась это проделывать в одиночку; мы часто засиживались допоздна, вспоминая детство, и Наблюдательный Пункт, и Стоячие Камни с навешанными трофеями, и безмятежную жизнь до Томаса. Пару раз я чуть было не открылась Полю, но всегда спохватывалась вовремя.

Нет, не нужно Полю это знать.

Альбом моей матери — это только одна история, с которой он отчасти уже был знаком. Но то, что стояло за этим альбомом... Я взглянула на Поля: мы сидели друг против друга, перед нами бутылка куантро,^[70] позади на печке попыхивал кофейник с кофе. Красные отблески озаряли его лицо, старые пожелтевшие усы рдели по контуру. Он поймал мой взгляд — похоже, теперь это случается все чаще и чаще, — улыбнулся.

Это была не просто улыбка, что-то крылось за этой улыбкой, — взгляд, такой испытующе-насмешливый, — от него сердце у меня встрепенулось, а щеки вспыхнули сильнее, чем от печного огня. И тут я сказала себе: если я ему расскажу, исчезнет у него этот взгляд. В жизни не скажу. Ни за что.

5.

Когда я вошла в дом, все уже сидели за столом. Мать встретила меня какой-то странной натужно-приветливой фразой, но видно было по всему, что она еле сидит. Мое чуткое обоняние уловило запах апельсина. Я не сводила с нее глаз. Мы ели молча.

Праздничный ужин тяжело, как комья глины, оседал в желудке, который отказывался принимать пищу. Я размазывала по тарелке еду, пока не убедилась, что мать не смотрит, и тогда запихала все в карман передника, чтоб после выбросить. Особо нервничать было нечего. Мать была уже такая, что вряд ли заметила бы, даже если бы я шваркнула еду с тарелки об стенку.

— Пахнет апельсином. — Голос срывается от отчаяния. — Кто принес апельсины в дом?

Тишина. Мы смотрим на нее недоуменно: что дальше?

— Ну? Признавайтесь! Кто принес апельсины? Теперь голос взвивается, припечатывает, уличает. И Рен тотчас поворачивается ко мне с виноватым видом.

— Ты что? — Я стараюсь говорить ровно, слегка раздраженно. — Откуда у нас апельсины?

— Не знаю. — Подозрительно сужены глаза. — Может, от немцев. Почему я знаю, где вы с утра до вечера шатаетесь!

Это так близко от правды, что на мгновение я теряюсь, но все же беру себя в руки. Повожу плечами, остро чувствуя, что на меня пристально смотрит Ренетт. Кидаю на нее предостерегающий взгляд: Ты что, хочешь все дело испортить?

Ренетт снова принимается за свой пирог. Я не свожу глаз с матери, стараясь ее переглядеть. Она в этом посильней Кассиса, глаза непроницаемые, как две темные сливы. Но вот мать встает, чуть не сбив со стола тарелку, чуть не стащив за собой скатерть со стола.

— Что уставилась, а? — орет она мне, взмахивая руками. — Что уставилась, чертовка? Что во мне увидеть хочешь?

Я снова повожу плечами:

— Ничего.

— Врешь! — Голос пронзительно-птичий, резкий, разящий, как клюв дятла. — Вечно меня глазами сверлишь и сверлишь. Что увидела? Что у тебя, мерзавка, в башке?

Я вдыхала ее раздражение, ее страх, и сердце наполнялось ликованием. Мать отвела глаза. Сломала, пронеслось у меня в голове, я ее сломала. Победа.

И она это поняла. Взглянула на меня еще раз коротко, но битва была уже проиграна. Я улыбнулась еле заметно, и она это увидела. Со знакомой беспомощностью ее рука потянулась к виску.

— Голова разболелась, — с трудом произнесла она. — Пойду прилягу.

— Вот и правильно, — бесстрастно сказала я.

— Не забудьте посуду помыть, — бросила мать, но это было уже чистое сотрясение воздуха. Она поняла, что проиграла. — Не убирайте мокрую. Не оставляйте...

Она осеклась, смолкла, уставившись на мгновение в одну точку. Как статуя, застыла на полуслове с полуоткрытым ртом. Конец фразы странно завис в воздухе на целых полминуты.

— Тарелки на сушке на ночь, — договорила она наконец и пошла, шатаясь, прочь по коридору, лишь раз остановившись, чтоб заглянуть в ванную, где таблеток уже не было.

Мы — Кассис, Ренетт и я — переглянулись.

— Томас хочет, чтоб мы пришли сегодня вечером в «La Mauvaise Réputation», — сказала я брату с сестрой. — Сказал, будет весело.

Кассис выпучился на меня:

— Как это ты...

— Чего «как»? — парировала я вопросом на вопрос.

— Да ладно уж... — прозвучало тихо, с нажимом, даже с некоторым страхом.

И тут он, похоже, утратил весь свой авторитет. Лидером, главным в нашей тройке, теперь стала я. Но, странное дело, хоть я вмиг это поняла, мне было не до ликования. Голова моя была занята другими мыслями.

Вопрос Кассиса я так и не удостоила ответом.

— Подождем, пока она уснет, — припечатала я, — часок-другой, не больше, потом пойдем полями. Чтоб никто не видал. А там — можно спрятаться в проулке, подождать, пока он приедет.

Глаза у Ренетт загорелись, но Кассис отозвался не сразу и вяло.

— Зачем нам туда? — бросил он. — Что нам там делать? Рассказать нечего, а журналы про кино он уже приволок.

Я сверкнула на него глазами:

— Журналы! И это все, что тебе надо? Кассис сердито надулся.

— Он сказал, там что-то затевается! Разве тебе не интересно? — не унималась я.

— Не особенно. Это небезопасно. Сама знаешь, мать может...

— Ты просто трус, — гневно припечатала я.

— Я не трус!

Но он явно трусил. Было видно по глазам. — Трус.

— Просто не понимаю, зачем...

— Докажи, что не трус, — не отставала я. Молчание. Кассис бросил умоляющий взгляд на Рен. Я перехватила, впилась в него своим взглядом. Секунды две Кассис держался, отвел глаза.

— Что за глупости, — сказал он с деланным равнодушием.

— Нет, ты докажи, докажи!

Кассис беспомощно развел руками, явно сдаваясь:

— Ну хорошо, только, сама увидишь, это пустая трата времени.

Я победно рассмеялась в ответ.

Кафе «La Mauvaise Réputation», или просто «La Rép» для завсегда. Деревянный пол, полированная стойка бара и старый рояль сбоку (понятно, половина клавишей теперь отсутствует, а поверх крышки стоит горшок с цветущей геранью), бутылки в ряд (в прежнее время зеркальной стенки не было), стаканы навешаны на штыри вокруг стойки и под ней. На смену прежней вывески пришла голубая неоновая, появились игральные и музыкальные автоматы, но в те времена был только рояль да несколько столиков, которые можно было сдвинуть к стенке, если кому-то вздумалось потанцевать.

Было настроение — за рояль садился Рафаэль, а иногда и кто-нибудь из женщин, Колетт Годэн или Аньез Пети, пел. В те времена магнитофонов не водилось, приемники были под запретом, но по вечерам, рассказывают, в кафе бывало оживленно, и случалось, если ветер дул в нашу сторону, даже до нас через поля долетала музыка. Именно в этом кафе Жюльен Лекос продул в карты свое южное пастбище — ходили слухи, будто он ставил и на свою жену, но на такой куш охотников не нашлось; и именно это кафе стало вторым домом для местных пьянчуг, которые либо курили, расположившись на terrasse, либо играли у крыльца в petanque.^[71] Отец Поля часто туда захаживал, к явному неодобрению нашей матери, и хоть пьяным его я ни разу не видала, вполне трезвым он тоже не казался, улыбался прохожим мутными глазами, скалясь желтыми искусственными челюстями. Мы туда не ходили никогда. Мы держались своей территории, считая некоторые места своей вотчиной, а остальные, взрослые, сосредотачивались в деревне, в местах загадочных или малозначительных. В церкви, на почте — там Мишель Уриа сортировала письма и оттуда распространяла всякие сплетни, — в маленькой школе, где мы провели раннее детство, теперь заколоченной.

И еще было кафе «La Mauvaise Réputation».

Мы обходили его стороной еще и потому, что так велела мать. Особенно люто она ненавидела пьянство, грязь и распущенность, а то заведение олицетворяло для нее все эти пороки. И хоть в церковь мать не ходила, она была сторонницей чисто пуританского образа жизни с его убежденностью трудиться не покладая рук, содержать дом в чистоте и прививать детям вежливость и хорошие манеры. Если ей доводилось проходить мимо, мать нарочито шла не поднимая глаз, платок стянут на груди крест-накрест, губы поджаты, не слыша звуков музыки и смеха, доносившихся из кафе. Непостижимо, что именно она, женщина с таким самообладанием, с таким рвением к порядку, стала жертвой наркотиков.

«Как те часы, — пишет она в альбоме, — меня рассекло пополам.

Восходит луна, и я сама не своя».

И шла к себе, чтоб мы не видели, что с ней творится.

Я не поверила своим глазам, когда, расшифровывая тайные записи, поняла, что, оказывается, мать регулярно навещалась в «La Mauvaise Réputation». Ходила туда раз в неделю или даже чаще, в потемках, тайно, каждый раз с отвращением, презирая себя за то, что не может иначе. Нет, она не попивала. Какое пьянство, если в погребе было полно бутылок и с сидром, и с prunelle,^[72] или даже calva^[73] из Бретани, с ее родины? Пьянство, сказала она нам как-то в редкий момент откровения, — прегрешение против самой природы плодов, фруктовых деревьев, самого вина. Это надругательство, это осквернение их, как насилие есть осквернение любви. Тут она вспыхнула и, резко повернувшись, бросила:

— Рен-Клод, масло и базилик, быстро!

Но эти слова я запомнила навсегда. Вино, по капле извлекаемое, выпестываемое от момента перерождения почки в плод и проходящее через столько стадий, пока не станет вином, достойно лучшей участи, чем наполнять брюхо бездумного пьянчуги. Оно достойно уважения, достойно радости, благоговейного к себе отношения.

Да, моя мать понимала, что такое вино. Она понимала весь путь ослащения, ферментации, бурления и вызревания жизни в бутылке, насыщения цветом, неспешных превращений, рождения нового отборного сорта в букете ароматов, подобно возникновению ярких бумажных цветов в руке у фокусника. Ах, если б и на нас хватало ей времени и терпения! Ребенок не яблоня. Слишком поздно она это поняла. Нет рецепта, как сделать для него беззаботным и сладостным переход в совершеннолетие. Ей следовало бы это учесть.

Конечно, в «La Mauvaise Réputation» наркотики продаются и по сей день. Даже мне об этом известно; не настолько я стара, чтоб не уловить джазисто-сладковатый душок марихуаны среди пивных паров и ароматов жарящегося мяса. Бог знает, сколько я нанюхалась этого от фургона на колесах через дорогу. Нюх у меня пока есть, не то что у этого идиота Рамондэна, ведь временами, когда по ночам наезжают мотоциклисты, желтый дым там прямо столбом стоит. Теперь это у них называется средство восстановления сил и ходит под всякими чудными названиями. Но в прежние годы ничего такого в Ле-Лавёз не было и в помине. Джаз-клубы в Сен-Жермен-де-Пре появились только лет через десять, правда, до нас они так и не дошли, даже и в шестидесятые. Нет, мать ходила в «La Mauvaise Réputation» по необходимости, по чистой необходимости, потому что только там и велась тогда основная торговля. Черный рынок: одежда и

обувь, а также и менее безобидные вещи, как, например, ножи, пистолеты, патроны. Чего только не водилось в «La Rép»: сигареты, коньяк, открытки с голыми женщинами, нейлоновые чулки и кружевное белье для Колетт и Анъез: они ходили распустив волосы, красили щеки застарелыми румянами и от этого были похожи на деревянных раскрашенных кукол — ярко-красные пятна по обеим щекам, губки алым бантиком, как у Лилиан Гиш. [\[74\]](#)

В глубинах кафе собирались тайные сходки: коммунисты, мятежники, завтрашние политики, герои. В баре обдeldывались дела, плыли из рук в руки какие-то свертки, там едва слышно шептались и пили за успех предприятия. Кое-кто, вымазав сажей лицо, мчал на велосипеде через лес в Анже, презрев комендантский час. Иногда, и даже довольно часто, с того берега реки до нас доносились выстрелы.

Как, должно быть, матери было мерзко туда ходить. Она подробно помечает в альбоме: таблетки от мигрени, морфин из больницы, сперва принимает по три, потом по шесть, по десять, двенадцать, двадцать. Поставщики были разные. Первый — Филипп Уриа. Потом какой-то приятель Жюльена Лекоса, подсобный рабочий. Кузен Анъез Пети; чей-то знакомый из Парижа. У Гийерма Рамондэна, того самого, с деревянной ногой, можно было получить кое-что из его лекарственных запасов взамен на вино или же за деньги. Маленькие пакетики — пара таблеток, закрученных в бумажку, ампула со шприцем, таблетки в прозрачной упаковке, — все, что угодно, лишь бы с морфином. Понятно, у врачей этим не разживешься. Да и ближайшая больница была только в Анже, а оттуда все медикаменты шли раненым солдатам. Когда собственные запасы истощались, мать выпрашивала, выторговывала, выменивала. И вела в своем альбоме учет:

2 марта, 1942. Гийерм Рамондэн, 4 таблетки морфина за дюжину яиц.

16 марта, 1942. Франсуаз Пети, 3 таблетки морфина за бутылку кальвадоса.

Она продала в Анже свои ценности — единственную нитку жемчуга, которая на ней на свадебном фото, кольца, сережки с алмазиком, доставшиеся ей от ее матери. Мать была изворотлива. Почти как Томас, на свой манер, но только она никогда никого не обманывала. Умудрялась выкрутиться без особых потерь.

Потом заявили немцы.

Сначала приходили по двое. Кто в форме, кто без. Едва входили, в баре все умолкали, но они восполняли тишину — веселились, хохотали, пили еще и еще, поднимались, пошатываясь, когда пора было закрывать бар, ухмыляясь Колетт или Аньез и небрежно швыряя пригоршню монет на стойку. Иногда привозили женщин. Те были не из наших, городские девицы в пальто с мехом. В нейлоновых чулках, в просвечивающих платьях, с волосами, завитыми, как у киноактрис, с торчащими повсюду заколками, с выщипанными бровями, с лоснящимися жгуче-красными губами и белыми зубами, с томными руками и длинными пальцами, сжимавшими стакан с вином. Они появлялись только ночью, позади немцев на их мотоциклах, визжали от восторга, пролетая на скорости в ночи с развевающимися волосами. Четыре девицы, четыре немца. Девицы постоянно разные, немцы одни и те же.

Она пишет про это в своем альбоме, когда увидела их впервые:

Грязные боши со своими шлюхами. Увидали меня в моем балахоне, прыснули в кулак. Так бы их и прибила. Вижу, как рассматривают меня, и чувствую, что старая. Страшная. Только у одного добрые глаза. Девица, что позади, явно ему наскучила. Дешевка, дурочка, на чулках черным карандашом навела швы. Мне ее даже немного жаль. А он мне улыбнулся. Пришлось закусить губу, чтоб не улыбнуться в ответ.

Конечно, у меня нет никаких доказательств, что мать пишет о Томасе. В этих нескольких корявых строчках может присутствовать и кто-то иной. Нет никаких подробностей, ничто не указывает, что это именно он, и все же я почему-то убеждена: он. Только Томаса можно было так описать. Только Томас мог вызвать у меня такое чувство.

В альбоме есть все. Если хотеть, можно все увидеть, если знать, где искать. Последовательность событий отсутствует. В отличие от подробно описанных тайных сделок матери, тут даже дат почти нет. Но она дотошна на свой манер. Описывает «La Rép» так зримо, что, читая уже столько лет спустя, я чувствую, как комок подступает к горлу. Этот шум, музыка, дым, пиво, голоса, переходящие в хохот или пьяную свару. Теперь понятно, почему нам запрещалось и близко подходить к тому месту. Она слишком стыдилась того, что ходила туда, слишком боялась, что кто-то из завсегдатаев нам проболтается.

В ту ночь, притаившись снаружи, мы ничего такого не увидели. Мы ожидали найти тайный притон, вместилище взрослых пороков. Я рисовала

в воображении обнаженных танцовщиц, женщин с рубинами в пупке, с распущенными волосами ниже талии. Кассис, по-прежнему прикидываясь равнодушным, втайне мечтал увидеть борцов Сопротивления, партизан в черном, их тяжелый взгляд под защитной ночной маскировкой. Ренетт представляла себе, что она сама, накрашенная и напомаженная, сидит там, накинув на плечи меховое манто, и потягивает martini.

Но в ту ночь мы, вглядываясь в мутное окно, положительно не увидели ничего для себя интересного. Несколько стариков за столиками, доска для игры в трик-трак, колода карт, старый рояль, Аньез в своей блузке из парашютного шелка, расстегнутой на три пуговички, облокотившись на него, что-то поет. Было еще рано. Томас пока не приехал.

9 мая, немецкий солдат (баварец), 12 сильных таблеток морфина в обмен на курицу, мешок сахара и свиную грудинку. 25 мая, немецкий солдат (с жирной шеей), 16 сильных таблеток морфина за 1 бутылку кальвадоса, мешок муки, пакет кофе, 6 банок домашних консервов.

И вот последняя запись, дата намеренно не уточнена.

Сентябрь, Т/Л, бутылка с 30 сильными таблетками морфина.

Впервые она не пишет, как именно расплачивалась. Возможно, по небрежности; слова крайне трудно разобрать, писалось явно наспех. Может, на сей раз плата оказалась такой, что стыдно писать. Какой же? Тридцать таблеток, должно быть, обошлись ей несусветно дорого. Теперь можно было долго еще не спешить в «La Rép». Не было нужды торговаться со всякой пьянью, вроде Жюльена Лекоса. Думаю, мать заплатила немало за ту передышку, которую ей предоставили эти тридцать таблеток. Так чем же она оплатила свой душевный покой? Сведениями? Чем-то еще?

Мы ждали в том месте, где теперь стоянка машин. Тогда там было просто что-то вроде мусорной свалки, стояли контейнеры и туда свозились поставки — бочки с пивом, а порой и иной недозволенный товар. Сзади кафе было обнесено стеной, которая наполовину терялась в зарослях бузины и ежевики. Дверь черного хода была открыта — даже в октябре стояла душная жара, — и желтый луч из бара веером ложился на землю. Мы сидели верхом на стене, готовые, если кто подойдет слишком близко, тотчас спрыгнуть в кусты, и ждали.

Как я сказала, сейчас там мало что изменилось. Несколько фонарей, несколько машин, людей побольше, но кафе «La Mauvaise Réputation» все то же, та же публика со всевозможными прическами, те же лица. Сегодня заходишь — и как будто попадаешь на полвека назад: старые пьяницы, молодые парни с девицами на хвосте, запах пива, духов и все сплошь в сигаретном дыму.

Словом, отправилась туда и я, когда появился этот фургон-закусочная. Мы с Полем спрятались на нынешней автостоянке, как когда-то мы с Кассисом и Рен. Ну, теперь, понятно, там стояли машины. Ох, и холодрыга была; шел дождь. Бузинно-ежевичных зарослей не осталось, теперь здесь все забетонировано и стоит новая стена, за которую уединяются парочки или же пьяницы, когда приспичит помочиться. Мы выслеживали Дессанжа, того самого, Люка, смазливенького. Мы притаились в тени напротив неоновой рекламы, кидавшей мигающие блики на мокрый бетон под ногами, и мне будто снова было девять, а внутри кафе — Томас с девицами, повисшими на нем с обеих сторон; странные шутки играет с нами время. На стоянке в два ряда застыли поблескивавшие на дожде мотоциклы.

Одиннадцать часов. Внезапно мне показалось диким, что я, как глупая, так и не вышедшая из девятилетнего возраста девчонка, вжавшись в новую бетонную стенку, подсматриваю за взрослыми в том самом месте, как тогда, и Поль здесь, и его старая собака на неизменной веревке вместо поводка. Смешные, чокнутые старики подглядывают за баром из темноты. Что за бред? Взрыв музыки из музыкального автомата — что за музыка, кто ее знает. Даже инструменты мне чужие, электронные, не надо ни к губам прикладывать, ни пальцами шевелить. Девчоночий смех, резкий, противный. Через мгновение дверь распахнулась, и мы отчетливо увидели его в обнимку с двумя девицами. На нем была кожаная куртка из тех, что в парижском магазине стоят две тысячи франков, а то и больше. Девки лощеные, с накрашенными губами, такие молоденькие в платьицах с узкими бретельками. Холод отчаяния охватил меня.

— Ну и картинка! — Волосы у меня промокли под дождем, пальцы онемели. — Прямо Джеймс Бонд с Матой Хари. Пошли домой.

Поль взглянул на меня, как всегда, раздумчиво. Кто другой мог бы и не приметить мысль в его глазах, но я видела. Он молча взял в ладони мою руку. Ей стало уютно и тепло, и я почувствовала кожей его выпуклые мозоли.

— Не дрейфь, — сказал Поль.

— Что попусту тут торчать, — вскинулась я. — Выставлять себя на посмешище. Уймись, Поль, нам никогда не одолеть Дессанжей, нам с тобой

надо это вдолбить себе в свои дурацкие черепашки. Я не...

— Не смей! — произнес он раздельно, чуть насмешливо. — Ты сроду не сдавалась, Фрамбуаз. Никогда.

Терпение. Его терпение; ненавязчивое, но все-таки упорное, которого хватит на целую жизнь.

— Что было, то прошло, — буркнула я, пряча от Поля глаза.

— Да ты не изменилась почти, Фрамбуаз. Может, он и прав. Во мне все еще сидело что-то жесткое, не скажу чтоб доброе. Я по сей день временами чувствую внутри что-то твердое, как лед, будто камень в сжатом кулаке. Оно было всегда, даже в прежние времена, что-то подлое, упрямое, с достаточной долей здравого смысла, чтоб продержаться до победного конца. Словно Матерая в тот самый день каким-то образом вошла в меня, но, метя в сердце, ухнула вместо этого рядом в глубокий раструб. Ископаемая рыба, зажатая в камень, — я видала однажды такое в книжке Рико про динозавров, — себя сжирающая в лютой ярости.

— Может, и неплохо бы мне поменяться, — сказала я тихо. — Может, уже пора.

Наверное, какое-то мгновение я в самом деле так думала. Поймите, я устала. Устала до крайности.

За эти два месяца, прости, Господи, чего мы только не перепробовали. И следили за Люком, и урезонивали его, чего только не выдумывали: подложить ему под фургон бомбу, нанять убийцу из Парижа, рубануть из снайперской винтовки с Наблюдательного Пункта. Ей-богу, я готова была его убить. Злость истерзала меня, но страх не давал мне спать по ночам, так что день был как треснутое зеркало, и постоянно болела голова. И боль была сильнее страха себя разоблачить; в конце-то концов, я — дочь Мирабель Дартижан. Во мне жив ее дух. Да, мне дорог был мой ресторан, и даже если Дессанжи лишат меня моего дела, даже если ни одна душа в Ле-Лавёз не захочет со мной общаться, я знала: все равно пробьюсь. Но истинный мой страх — державшийся в тайне от Поля и даже мной самой не вполне осознанный — был куда черней и необъятней. Он засел в глубинах моего сознания, как Матерая на своем илистом дне, и я молила Бога, чтоб никаким соблазном его оттуда было не выудить.

Еще я получила два письма, одно от Янника и одно, где мой адрес был выведен почерком Лоры. Я прочла первое с растущим раздражением. Янник плакался и не скупился на уговоры. Писал, что для него настали тяжелые времена. Лора его не понимает. Постоянно использует то, что он зависит от нее материально, как метод давления. Вот уже три года у них никак не выходит родить ребенка, она к тому же сваливает вину на него.

Говорит, что готова на развод.

Если верить Яннику, альбом моей матери может все изменить к лучшему. Лоре необходимо новое занятие, какой-то новый проект. Ей в ее карьере нужен толчок. Янник умолял, чтоб, если у меня есть сердце, я уступила.

Второе письмо я сожгла не читая. Не исключено, что оно содержало описание квартиры Нуазетт, всякие подробности из Канады. Признания племянника и так оставили у меня жалкое и неприятное впечатление. Мне их вполне хватило. Мы с Полем стойко приготовились к финальному штурму.

Теперь оставалась последняя надежда. Я не совсем понимала, на что мы рассчитываем. Мы действовали из чистого упрямства. Возможно, мне по-прежнему нужна была только победа, как и в то последнее лето в Ле-Лавёз. Возможно, во мне заговорил жесткий, неукротимый дух матери, не хотелось быть битой. Сдамся сейчас, твердила я себе, и ее жертва окажется бессмысленной. Я боролась за нас обеих, и мне казалось, что даже моя мать могла бы гордиться мной.

Кто бы мог подумать, что Поль станет для меня такой неоценимой поддержкой. Это он предложил по ночам дежурить в кафе, и именно он обнаружил адрес Дессанжей на тыльной стороне фургона-закусочной. За эти месяцы я привыкла полностью полагаться на Поля и доверять его суждениям. Мы часто сторожили вместе, сидели, укутав ноги одеялом, когда ночи стали холодней, на столе кофейник с кофе и стаканы с куантро. Кое в чем он был буквально незаменим. Чистил картошку на ужин, приносил в дом дрова и выпотрошенную рыбу. При том, что посетители в «Сгêре Framboise» были редки — в середине недели я вообще перестала открывать ресторанчик, но даже и в воскресные дни соседство с фургоном отбивало охоту почти у всех, кроме самых преданных клиентов, — Поль продолжал охранять мое заведение, мыл посуду, драил полы. И почти всегда — безмолвно, в уютном молчании близкого человека, в обычной для давних друзей тишине.

— Не вздумай меняться, — сказал он наконец.

Я повернулась было уйти, но он задержал мою руку в своей и не выпускал. На его берете и по контуру усов блестели капли дождя.

— По-моему, я кое-что откопал, — сказал Поль.

— Что? — вырвалось у меня грубо с досады. Мне не терпелось поскорей лечь и поспать. — Господи, что ты там еще откопал?

— Может, ничего особенного. — Он говорил с расстановкой, медленно-медленно, ну прямо хоть кричи. — Пока не знаю. Мне, понимаешь, надо

кое-что проверить.

— Ну что такое, что? — я чуть не сорвалась на крик. — Эй, Поль, погоди, пос...

Но он уже с проворством и бесшумностью браконьера двинулся к двери, ведущей в бар. Мгновение — исчез за ней.

— Поль! — злобно прошипела я. — Поль! Не надейся, что я буду тебя тут ждать! Пошел ты к черту!

Но я ждала. Дождь сочился за ворот моего добротного демисезонного пальто, потихоньку пропитывал волосы, стекал ледяными ручейками между грудей, и времени у меня оказалось предостаточно, чтобы признаться себе самой, что в конце-то концов я за эти годы мало в чем изменилась.

8.

Кассис, Ренетт и я прождали больше часа, прежде чем они появились. В какой-то момент мы подобралась к самому «La Rép», и тут Кассис мигом перестал корчить из себя равнодушного и жадно прильнул к дверной щели, отпихивая нас, желавших добиться своей очереди. Мой интерес был вполне конкретен. Пока Томаса нет, нечего там было особо разглядывать. Но Рен не унималась.

— Хочу посмотреть, — ныла она. — Кассис, не подличай, дай взглянуть!

— Ничего там нет, — нетерпеливо говорила я ей. — Только старики за столиками и те две шлюхи с размалеванными губами.

Мне удалось тогда взглянуть всего одним глазком. Как все живо встает перед глазами. Аньез за роялем, Колетт в тугой зеленой кофте с пуговицами, обтянутые груди торчат, как малокалиберные снаряды. По сей день помню всех, кто там был: Мартэн и Жан-Мари Дюпрэ играют в карты с Филиппом Уриа и, судя по всему, как всегда, обдирают его как липку; Анри Лемэтр сидит у стойки с извечным *demi*, пожирая глазами девиц; Франсуа Рамондэн и кузен Жюльена Артюр Лекос что-то тайно обсуждают в углу вместе с Жюльеном Ланисаном и Огюстом Трюрианом, а старый Гюстав Бошан сидит у окна один, берет надвинул на волосатые уши, кончик трубки зажат между зубами. Помню их всех. Если напрячься, вижу полотняную кепку Филиппа на стойке возле него, чувствую тот запах табака — к тому времени драгоценный табак щедро мешали с листьями одуванчика и он вонял палеными зелеными ветками и отдавал цикорием.

Все это ярко встает в памяти — в золотисто-ностальгическом мерцании, подернутом черно-алыми всполохами пожара. Да, я все помню. И только и мечтаю — забыть.

Когда наконец они прикатили, у нас уже ноги затекли от невыносимого сидения на корточках у стены, а Ренетт уже готова была разреветься. Кассис подсматривал в просвет двери, а мы с Рен пристроились под одним закопченным окошком, в котором виднелись лишь движущиеся в дымном свете силуэты. Я первой услышала, уловила со стороны анжейской дороги нараставший рев мотоциклов, россыпью приглушенных взрывов загромыхавших затем по пыльной дороге. Их было четыре. Наверное, то, что немцы прикатили с девицами, было вполне в порядке вещей. Если б мы тогда заглядывали в материнский альбом, для нас бы это новостью не явилось. Но мы тогда были страшно наивны, и их появление несколько нас обескуражило. Наверное, потому, что, когда те проходили в бар, мы ясно увидели, что они самые заурядные, — в обтягивающих кофточках, с искусственным жемчугом на шее, одна несла в руке туфли на высоких каблуках, другая рылась в сумочке, ища пудреницу, — не такие уж красотки и даже не слишком молоденькие. Я ожидала роскошных. А эти были совсем обычные, как моя мать, остроносые, с волосами, зачесанными назад и сколотыми заколками, сутулые от невыносимости хождения на высоченных каблуках. Все три — самые обыкновенные женщины.

Ренетт застыла, как замороженная:

— Смотри, какие туфельки!

Ее лицо, прижатое к грязному стеклу, пылало восторгом и восхищением. Я поняла, что мы с ней видим разное, что моя сестра все равно видит перед собой все кинозвездное, роскошное: нейлоновые чулки, настоящий мех, сумочки из крокодиловой кожи, пышные страусиные перья, бриллианты в ушах и изысканные прически. Рен в блаженном восторге приговаривала:

— О-о-о-о! Посмотри, какая шляпка! О-о! Какое платье!

Мы с Кассисом к ее восторгам остались глухи. Брат не сводил глаз с коробок, которые приехали на четвертом мотоцикле. Я не сводила глаз с Томаса.

Он стоял слегка поодаль от остальных, облокотившись о стойку бара. Вот сказал что-то Рафаэлю, тот принялся выставлять стаканы с пивом. Хейнеман, Шварц и Хауэр уселись за свободный столик у окна, и тут я заметила, как старый Гюстав вдруг с отвращением пересел со своим стаканом на другой конец зала. Прочие посетители вели себя так, будто уже вполне привыкли к подобным визитам, даже раскланивались с немцами,

когда те шли через зал, а Анри теперь уже пялился на новых женщин, даже когда те расселись за столиком. Меня внезапно охватило торжество оттого, что Томас был без сопровождения. Некоторое время он постоял у стойки, беседуя с Рафаэлем, и я могла как следует рассмотреть и выражение его лица, и его небрежные жесты, и лихо сдвинутую набок пилотку, и расстегнутый, наброшенный поверх рубашки китель. Рафаэль говорил мало, лицо напряженно-вежливое. Казалось, Томас чувствовал его неприязнь к себе, но это его скорее веселило, чем злило. Чуть насмешливо он поднял свой стакан и выгпил за здоровье Рафаэля. Аньез принялась брэнчать на рояле какой-то вальсок, с силой плямкая в высоких октавах западающими клавишами. Кассису это наскучило.

— Да ну их, — бросил он вяло. — Поехали домой!

Но мы с Ренетт так и прилипли к окну; ее манили яркие огни, драгоценные украшения, хрусталь, дым сигарет из изящных лакированных мундштуков в пальцах с ярко покрашенными ногтями. Меня... да, конечно же, Томас! И не имело значения, происходит что-то или нет. Мне достаточно было смотреть только на него одного и грезить. Особая прелесть состояла в том, что можно вот так, втайне им любоваться. Можно, приложив округленные ладони ребром к грязному стеклу, заключить в них его лицо. Можно прильнуть губами к окну и вообразить, что они касаются его кожи. Остальные трое немцев пили больше его; толстяк Шварц держал на коленях женщину, рукой забираясь все выше и выше ей под юбку, пока не обнажился темно-коричневый верх чулка и розоватая, поддерживающая его подвязка. Еще я заметила, что Анри подобрался к немцам поближе, вожделенно поглядывая на женщин, истошно взвизгивавших при каждой отпущенной шутке. Игроки за карточным столом прервали игру, уставившись на немцев, а Жан-Мари, который, как видно, остался при самом большом выигрыше, двинулся через зал и как бы невзначай подошел к Томасу. Кинул деньги на потертую стойку, Рафаэль подал еще стаканы. Томас бегло оглянулся на группу пьющих и улыбнулся. Возник короткий разговор, которому полагалось быть незаметным тем, кто намеренно за Томасом не следил. Казалось, что только я засекала их деловую операцию: улыбку, приглушенный разговор, клочок бумажки, метнувшийся на стойку бара и тотчас же исчезнувший в кармане Томаса. Меня это не удивило. Томас торговался со всеми. Был у него этот дар. Так мы стояли и пялились часа два. По-моему, Кассис начал клевать носом. Томас немного побрэнчал на рояле, Аньез пела, но я с удовольствием отметила, что он проявляет мало интереса к женщинам, которые ластились к нему, заигрывали с ним. И гордость за него переполнила меня. Томас не льстит на дешевку.

К этому времени все уже здорово напились. Рафаэль извлек бутылку fine,^[75] и они распили ее прямо из кофейных чашечек, только без кофе. Хауэр с братьями Дюпре принялись играть в карты, ставя на выпивку, а Филипп с Колетт подсели глазеть. Сквозь стекло до меня доносился их хохот, едва Хауэр в очередной раз проигрывал; правда, никто особо не злорадствовал, потому что питье уже было оплачено. Одна из городских женщин, свалившись со стула, сидела на полу, хихикая, волосы упали ей на лицо. Только Гюстав Бошан сидел особняком, отказавшись от предложенного Филиппом fine, явно стараясь держаться от немцев подальше. Раз, встретившись взглядом с Хауэром, буркнул что-то себе под нос, но Хауэр не расслышал, просто смерил старика холодным взглядом и снова занялся картами. Правда, через пару минут повторилось то же, и на сей раз Хауэр, единственный в немецкой компании, кроме Томаса, понимавший французский, встал, приложив руку к поясу, где у него был пистолет.

Старик хмуро на него глянул; трубка, зажатая между гнилых зубов, торчала, как пушка из старого танка.

Вмиг от внезапного напряжения все кругом замерли. Рафаэль сделал жест Томасу, который наблюдал за этой сценой с безмятежной улыбкой. Они молча переглянулись. Сначала я решила, что Томас не вмешается, будет наблюдать, чем кончится, и все. Старик с немцем глядели друг на друга. Хауэр был на добрых две головы выше Гюстава, голубые глаза налились кровью, вены на загорелом лбу вздулись жирными пиявками. Томас взглянул на Рафаэля, улыбнулся. «Ну не досадно ли встывать, — казалось, говорила его улыбка, — когда назревает такой спектакль?» И тут, будто невзначай, он шагнул к своему приятелю, одновременно Рафаэль оттащил старика в безопасное место. Не знаю, что Томас тогда сказал, только мне кажется, в тот момент, положив Хауэру руку на плечо, а другой сделав непонятный жест в сторону ящиков, которые они привезли с собой на четвертом мотоцикле, — тех самых, черных, которые так привлекли внимание Кассиса и которые все еще стояли нераскрытые у рояля, — он спас старику Гюставу жизнь.

Хауэр взглянул на Томаса, мне было видно, как его глаза над пухлыми щеками сузились в щелочки, как надрезы в шкурке окорока. Тут Томас еще что-то сказал, Хауэр осклабился, и его хохот, точно рев тролля, огласил внезапно оживившийся зал. Опасность миновала.

Гюстав прошаркал в уголок к своему недопитому стакану, а остальные потянулись к роялю, где ждали своего часа ящички.

Сначала из-за толпы я не увидела ничего. Потом был звук, мелодичный,

гораздо чище и приятней, чем у рояля, и когда Хауэр повернулся к окну, я увидела в его руках трубу. Шварц стучал на барабанах, а Хейнеман играл на инструменте, который я в жизни не видала, — потом выяснилось, что это кларнет, тогда я увидела его впервые. Женщины расступились, пропуская к роялю Аньез, и тут перед моими глазами возник Томас, теперь с саксофоном, как какое-то диковинное оружие свисавшим у него с плеча. Ренетт сбоку чуть не захлебнулась от восторга. Кассис, забыв про скуку, подался вперед, едва не оттеснив меня от окна. Он просветил нас с Рен в отношении инструментов. Дома у нас проигрывателя не было. Но Кассис как самый старший еще помнил, какую музыку передавали по радио, пока приемники не запретили, и он видел в своих обожаемых журналах фотографии Гленна Миллера и его оркестра.

— Это же кларнет! — выдохнул он совсем по-детски, точь-в-точь как Ренетт, когда та восхищалась туфлями городских девиц. — А у Томаса саксофон. Ой, где же они это раздобыли? Верно, реквизировали. Уж Томас в этом деле не промах... Ой, так они играть станут, они...

Не знаю, хорошо ли они играли. Сравнить мне было не с чем, но нас охватил такой неистовый восторг, такое изумление, что в тот момент все казалось чудом как прекрасно. Я понимаю, теперь это звучит смешно, но тогда нам музыку приходилось слышать крайне редко: только рояль в «La Mauvaise Réputation», орган в церкви для тех, кто ходит к мессе; скрипку Дени Годэна в день 14 июля или в праздник Марди Гра,^[76] когда танцевали на улице. Конечно, не так уж и много с начала войны, но все же мы танцевали по-прежнему, по крайней мере пока скрипку у Дени, как и все остальное, не отобрали немцы. Но в тот миг эти звуки — неслыханные, незнакомые, несопоставимые с брэнчаньем старого рояля в «La Mauvaise Réputation», как оперное пение с собачьим лаем, — лились из бара, и мы прилипли к окну, чтоб не пропустить ни единой нотки. Сперва инструменты издавали только странные, завывающие звуки, — наверное, музыканты разыгрывались, но тогда мы этого не понимали, — как вдруг взвился какой-то незнакомый, веселый, забористый мотив, видно, это было что-то джазовое. Легонько постукивал барабан, гортанно заливался кларнет, а саксофон Томаса разражался россыпью радостных, как рождественские огоньки, звуков, сладко взывая, хрипло нашептывая, вздымаясь и падая над всей этой легкой какофонией, как волшебным усиленным человеческим голосом, вмещающая весь спектр человеческой нежности, дерзости, вкрадчивости и печали.

Конечно, память — вещь крайне субъективная. Возможно, именно поэтому, когда я вспоминаю ту музыку, протрубившую конец всему, на

глаза наворачиваются слезы. Вполне вероятно, что во мне говорит память, не более, — велико ли искусство, несколько пьяных немцев проиграли пяток джазовых аккордов на ворованных инструментах, — но для меня это было настоящее чудо. Должно быть, и на остальных это тоже подействовало, потому что вмиг все бросились танцевать, и в одиночку, и парами: городские женщины в объятиях картежников братьев Дюпрэ, Филипп с Колеетт — щека к щеке. Таких танцев мы в жизни никогда не видели: пары ходили кругами, сталкивались, терлись друг о дружку, выбрасывая вперед ноги, двигая вихлявшими задами столы, залиvistый смех перекрывал аккомпанемент, и даже Рафаэль притоптывал ногой, и лицо у него уже не было таким каменным. Не могу сказать, как долго это длилось; возможно, меньше часа; возможно, всего несколько минут. Помню, что и мы снаружи влились в общее веселье, скакали и кружились, как черти. Музыка была знойная, и ее жар жег нас, словно воспламененный спирт, источая острый, кисловатый запах, и мы улюлюкали, точно индейцы, понимая, что при таком грохоте внутри можем шуметь сколько угодно и никто нас не услышит. Хорошо, что я все время поглядывала в окно, иначе мы бы не заметили, что Гюстав потянулся к выходу. Я немедленно подала сигнал тревоги, мы едва успели нырнуть за стену, как, пошатываясь, выплыла в свежесть темноты его скрюченная темная фигура, физиономию алой розой озарил огонь трубки. Гюстав был пьян, но не до беспамьятства. По-моему, он даже что-то услышал, потому что остановился напротив стены и стал вглядываться в темноту за домом, одной рукой опираясь о перила, чтобы не упасть.

— Кто здесь? — раздался его ворчливый голос. — Есть там кто-нибудь? Мы притаились за стеной, давась от хохота.

— Есть кто? — повторил старик Гюстав; потом, очевидно успокоившись, забормотал что-то едва слышно себе под нос и двинулся дальше.

Он подошел к самой стене, выбил трубку о камень. Поток искр брызнул вниз в нашу сторону, и я рукой зажала рот Ренетт, готовой вскрикнуть. На мгновение стало тихо. Мы ждали, затаив дыхание. Потом услышали, как старик обильно мочится, долго-долго, прямо на стену, издавая при этом довольное старческое кряканье. Понятно, почему ему так хотелось знать, нет ли тут кого. Кассис, прикрыв рот рукой, с силой ткнул меня локтем. Рен скорчила брезгливую гримасу. Потом стало слышно, как он застегнул пояс и сделал несколько шаркающих шагов в сторону кафе. Тишина. Мы выждали еще несколько минут.

— Где он? — наконец прошептал Кассис. — Он не ушел. Мы бы

услыхали.

Я пожала плечами. Серебристый свет луны озарил блестящее потом, испуганное лицо Кассиса. Кивнув в сторону стены, я тихо сказала:

— Посмотри-ка. Может, он в отключке или еще что. Кассис замотал головой и мрачно буркнул:

— А если он нас засек? Ждет, чтоб кто-то высунулся, и бах по голове.

Я снова пожала плечами и осторожно глянула поверх стены. Старик Гюстав не отключился; он сидел спиной к нам, опершись на палку, и глядел в сторону кафе. Неподвижно.

— Что там? — спросил Кассис, когда я снова нырнула за стенку.

Я рассказала о том, что видела.

— Он делает что-нибудь? — спросил Кассис, побелевший от страха.

Я замотала головой.

— Черт бы побрал старого идиота! Что мы, должны из-за него всю ночь тут торчать?

— Т-с-с! — Я приложила палец к губам. — Кто-то идет.

Должно быть, старый Гюстав это тоже услышал, потому что только мы поглубже вжались в ежевичные заросли за стеной, как услышали, как и он пятится туда же. Шумно, не то что мы, и если б еще пару метров левее, грохнулся бы прямо нам на голову. Он вмазался в заросли ежевики, чертыхаясь и пробиваясь палкой, мы же отползли еще глубже, в самую чащу. И оказались в чем-то наподобие тоннеля, образованного витками ежевичных зарослей и дикого крыжовника. И при нашей приткности забрезжила мысль проползти под ними вглубь, пока не доберемся до дороги. Если сумеем проползти, тогда, пожалуй, вовсе не придется взбираться обратно на стену, можно будет незаметно скрыться в темноту.

Я уже решила было попытаться, как вдруг по ту сторону стены послышались голоса. Один — женский. Второй говорил только по-немецки. Я узнала голос Шварца. Из бара по-прежнему неслась музыка; видно, Шварц со своей дамочкой выскользнули незаметно от всех. Из своего укрытия в ежевичных зарослях я смутно различила их замаячившие над стеной силуэты и махнула Ренетт с Кассисом, чтоб оставались на местах. Я увидела и Гюстава неподалеку от нас, не подозревавшего, что мы поблизости, вжавшегося в кирпичную стену со своей стороны и подсматривавшего в трещину за происходящим. До меня донесся смех женщины, визгливый, немного нервный, потом Шварц пробасил что-то по-немецки. Он был короче ее, топтался рядом, точно тролль, и в том, как он впился в ее шею, было что-то кровожадное, как и в тех звуках, которые он в это время издавал — хлюпающих, невнятных, как будто в спешке ел и у

него все вываливалось изо рта. Они отошли от заднего крыльца, их осветило луной, и я увидела, что ручищи Шварца копошатся на блузке женщины — «Liebchen, lieblich»,^[77] — и услышала, как та засмеялась еще визгливей — «хихихихи», — выпячивая груди прямо ему в руки. Но тут их уединение нарушилось. Из-за крыльца возникла третья фигура, но немец как будто и не удивился этому явлению, коротко кивнул подошедшему, в то время женщина как бы осоловела, и возобновил свои старания в присутствии того третьего, а тот смотрел молча и жадно, и глаза его сверкали в темноте, как у зверя. Это был Жан-Мари Дюпрэ.

Тогда мне не пришло в голову, что все это мог подстроить Томас. Некий спектакль с женщиной в обмен на что-то; возможно, на какую-то услугу или банку кофе с черного рынка. Я не связала тогда подсмотренный мной обмен фразами между ними с тем, что происходило. Нет, я даже не утверждаю, что так было, тогда я даже помыслить о таком не могла в своей наивности. Кассис, конечно, смог бы смекнуть что к чему, но он плотно засел в зарослях рядом с Ренетт. Я отчаянно ему замахала, решив, что теперь как раз самое время улизнуть, пока трое участников спектакля так увлечены своими делами. Кивнув в ответ, он стал пробираться ко мне сквозь заросли, а Ренетт осталась в тени под стеной, ее блузка из парашютного шелка белела в темноте. Мы ждали ее.

— Ну вот еще! Чего она там торчит? — тихо прошипел Кассис.

Немец с городской женщиной совсем придвинулись к стене, и теперь нам плохо было видно, что там происходит. Жан-Мари стоял совсем близко от них — достаточно, чтобы все наблюдать, подумалось мне, и вдруг мне сделалось одновременно и стыдно, и противно — я слышала, как они дышат, скотское сопение немца и отрывистое, возбужденное — наблюдающего, и между этим тонкое, приглушенное повизгивание женщины, и тогда я даже обрадовалась, что не вижу, что там делается, что я еще слишком мала, чтоб понять, потому что происходившее было невыносимо гадким, невыносимо грязным, но тем троим оно доставляло явное удовольствие; помню в лунном свете закатившиеся глаза и по-рыбьи раскрытые рты. Теперь немец короткими, подрагивающими толчками пихал женщину об стену, слышно было, как она стучается о камень затылком и задом, как взвизгивает: «Ах! Ах! Ах!», а он рычит: «Liebchen, ja lieblich, ach ja»,^[78] и мне захотелось вскочить и бежать отсюда без оглядки, вся моя выдержка канула в шквале захлестнувшего меня жгучего ужаса. Я уже привстала, повинувшись этому порыву, обернулась к дороге, прикидывая, сколько предстоит пробежать до безопасного места, — как вдруг звуки

внезапно стихли и мужской голос очень громко и резко среди внезапной тишины рявкнул:

— Wer ist da?^[79]

И в этот самый момент Ренетт, которая все это время медленно подползала к нам, запаниковала. Вместо того чтобы замереть, как мы и сделали тогда, когда Гюстав вопрошал темноту, она, видно, решила, что ее заметили, вскочила, слишком заметная при луне в своей белой блузке, кинулась бежать, подвернула ногу, грохнулась с ревом в заросли ежевики и сидела на земле, сжав лодыжку руками, всхлипывая, беспомощно обратив к нам побелевшее лицо, отчаянно силясь что-то сказать и не смея.

Кассис мгновенно сорвался с места. Чертыхаясь себе под нос, он кинулся через заросли в противоположную сторону. Он бежал, и ветви бузины хлестали его по щекам, колючки ежевики рвали нещадно ему ноги. Даже не оглянувшись на нас на бегу, он перемахнул через стену и исчез в темноте, ринувшись к дороге.

— Verdammt!^[80] — голос Шварца. Бледная и круглая, как луна, физиономия появилась над стеной, и я тут же вжалась в заросли. — Wer ist das?^[81]

Подошедший с заднего крыльца Хауэр, мотая головой, указал пальцем на стену:

— Weiß nicht. Etwas da drüben.^[82]

Над стеной торчали три головы. Мне оставалось только притаиться в темных кустах и надеяться, что у Ренетт хватит ума поскорее смыться. Я не Кассис, думала я с презрением, я все-таки не сбежала. Потихоньку до меня дошло, что музыка в «La Rép» смолкла.

— Пойдите, там кто-то есть, — сказал Жан-Мари, заглядывая через стенку.

Городская женщина тоже стала пялиться туда же, лицо белело в лунном свете. На неестественно белом лице рот казался черной, зловещей дырой.

— Ага, вон она, поблядушка! — истошно завопила она. — Эй! А ну иди сюда! Да-да, ты, что прячешься за стеной! Шпионить за нами вздумала?

Она орала громко, возмущенно, правда, слегка пристыженно. Рен медленно, покорно поднялась. Послушная девочка, моя сестренка. Всегда беспрекословно выполняет, что скажут старшие. Оно ей и аукнулось. Слышно было, как она дышит; прерывистый, испуганный присвист вырывался у нее из горла, когда Рен смотрела на них. Блузка выбилась из юбки, когда она падала, волосы выбились из прически, растрепались.

Хауэр что-то тихо сказал Шварцу по-немецки. Шварц перегнулся через

стену и перетащил Ренетт на их сторону.

Она, не сопротивляясь, мгновенно позволила себя поднять. Рен никогда быстрым умом не отличалась и из нас троих была самой ручной. Стоило взрослому приказать, она тут же подчинялась.

Но вот, кажется, до нее дошло. То ли от прикосновений Шварца, то ли сообразила, что пробормотал Хауэр, но Рен стала отбиваться. Слишком поздно. Хауэр крепко ее держал, а Шварц срывал с нее блузку. В лунном свете она белым знаменем взмыла над стеной. Потом кто-то — кажется, Хейнеман — крикнул что-то по-немецки, и тут сестра срывающимся голосом, пронзительно, в ужасе, в омерзении закричала: «А-а-а-а!» На мгновение я увидела над стеной ее лицо, ее развевающиеся волосы, отбивающиеся в темноте руки и пьяную, ухмыляющуюся физиономию Шварца, обращенную к ней. Потом она исчезла, хотя звуки, плотоядное мужское сопенье, не стихали, и женщина из города истошно заорала с какой-то победной радостью:

— Жарьте ее, сучку! Жарьте как следует!

И сквозь все это — смешок, скотское похохатывание «хе-хе-хе», что и по сей день порой врывается в мои сны; тот смешок и мелодия саксофона, так похожая на человеческий голос, на его голос.

Я, наверное, еще полминуты решала, как быть. Не больше. Хотя мне казалось, что прошла уйма времени, пока я, кусая пальцы, чтоб заставить себя собраться, скрючившись, сидела в зарослях. Кассис уже сбежал. Мне всего девять лет. Что я могу? Но при всем том, что я очень смутно понимала, что происходит, все же я никак не могла бросить сестру и убежать. Я поднялась и уже было раскрыла рот, чтоб закричать, — я воображала, что Томас где-то рядом и он сможет прекратить этот кошмар, — но кто-то уже неуклюже перебирался через стену и уже исступленно накинулся с палкой на наблюдателей, правда, без особого успеха. Истошно и хрипло выкрикивая:

— Грязные боши! Грязные боши!

Это был Гюстав Бошан.

Я снова вжалась в заросли. Теперь я почти не видела, что происходит, но поняла, что Ренетт, подхватив блузку, с плачем кинулась вдоль стены к дороге. Можно было пуститься следом, если бы не любопытство, а также внезапно взвившееся бурное ликование при звуках знакомого голоса, прорвавшегося сквозь весь этот ад:

— Спокойно! Спокойно!

Сердце чуть не выскочило из груди.

Слышно было, как он пробивается сквозь небольшую толпу — теперь в

драку ввязались и остальные, слышно было, как палка Гюстава дважды угодила в цель, как будто кто пинал кочан капусты. Усмиряющие слова — голос Томаса — по-французски и по-немецки:

— Ну все, все, успокойтесь. Verdammt. Полегче, ну же, Френцль, на сегодня хватит.

Потом злой голос Хауэра и смущенный, протестующий Шварца.

Хауэр, дрожа от ярости, проорал Гюставу:

— Ты уже дважды задирался ко мне за вечер, старая Arschloch.^[83]

Томас крикнул, я не разобрала, что именно, и вдруг раздался истошный вопль Гюстава, прерванный звуком, похожим на звук упавшего на каменный пол мешка с мукой; жуткий удар чего-то о камень, и вслед за этим — тишина, внезапная и резкая, как ледяной ливень.

Прошло с полминуты или больше. Все смолкло. Все застыло.

Потом голос Томаса, веселый, как ни в чем не бывало:

— Ну, довольно. Идите-ка в бар, там кое-что осталось. Должно быть, его под конец разобрало, перепил.

Неловкий шепот, бормотание, робкие протесты. Женский голос. Колетт, кажется:

— Глаза-то у него...

— Это спьяну, — легко, отрывисто сказал Томас. — Что со старика взять. Вовремя не умеет остановиться. — Он рассмеялся очень естественно, и все же я понимала, что он врет. — Ты, Френцль, останься, поможешь мне дотащить старика до дому. Уди, ну-ка, забирай остальных, идите в бар.

Все вернулись в бар, и снова до меня донеслись звуки рояля и женский голос, залившийся нервной трелью в какой-то популярной песенке.

Оставшись вдвоем, Томас и Хауэр обменялись быстрыми, напряженными фразами.

Хауэр:

— Leibniz, was muß...^[84]

— Halt's Maul!^[85] — резко оборвал его Томас.

Он подошел к тому месту, где, по моим представлениям, должен был лежать Гюстав, и раза два негромко сказал по-французски:

— Эй, старик! Давай, просыпайся!

Хауэр что-то быстро и зло рявкнул по-немецки, я не разобрала. Потом снова заговорил Томас. Он произносил слова медленно и явственно, и я уловила смысл скорее по его тону, не из самих слов. Медленные, отчетливые, слова будто смеялись в своем холодном презрении.

— Sehr gut, Fränzl, — жестко сказал Томас. — Er ist tot.^[86]

9.

«Нет таблеток». Должно быть, она была на грани отчаяния. В ту чудовищную ночь, чувствуя, что пахнет апельсином, и не имея под рукой спасительных таблеток.

— Детей бы отдала, чтоб только ночь поспать.

Дальше под вырезанным из газеты и вклеенным рецептом написано мелко-мелко, так что мои старые глаза могут разобрать только с помощью сильных очков:

ТЛ снова пришел. Сказал, были проблемы в «La Rép». Кто-то из солдат что-то натворил. Сказал, Р.-К. что-то видела. Принес таблетки.

Не эти ли таблетки те самые тридцать штук с повышенным содержанием морфина? В обмен на ее молчание. А может, в обмен на что-то совсем другое?

10.

Поль вернулся через полчаса. Со слегка виноватым видом, свойственным человеку, ожидающему взбучки; от него попахивало пивом.

— Пришлось и мне выпить, — извиняющимся тоном сказал он. — Глупо было бы сидеть и смотреть, как все пьют.

К тому времени я вся промокла и кипела негодованием.

— Ну? — спросила я. — Что это за великое открытие?

Поль повел плечом.

— Может, и ничего такого, — сказал он раздумчиво. — Я бы... ну... не спешил, проверил бы кое-что, прежде чем тебя обнадеживать.

Я взглянула ему прямо в глаза:

— Поль Дезирэ Уриа! Я целую вечность ждала тебя под дождем. Я торчала возле этого вонючего кафе, выслеживая Дессанжа, потому что ты решил, что мы кое-что здесь выведем. Заметь, я ни разу не пикнула, — тут он насмешливо на меня взглянул, но я и бровью не повела. — Воистину я проявила святую кротость, — грозно сказала я. — Но если ты посмеешь держать меня и дальше в этой тьме, если ты возомнил, что...

— Откуда ты знаешь, что мое второе имя Дезирэ? — лениво подняв руки кверху, спросил Поль.

— Я знаю все, — мрачно сказала я.

11.

Не знаю, что было, когда мы убежали. Через пару дней какой-то рыбак выловил в Луаре близ Курлэ тело старика Гюстава. Рыбы уже потрудились над ним. Никто не упоминал о том, что произошло в «La Mauvaise Réputation», правда, братья Дюпрэ ходили сумрачные, как никогда, и непривычная тишина воцарилась вокруг кафе. Ренетт не вспоминала о том, что случилось, а я, чтобы она не заподозрила, будто я что-то видела, наврала, что сбежала вслед за Кассисом. Но сестра переменялась; стала мрачней, даже как-то злей. Когда думала, что я не вижу, испытующе проводила пальцами себе по волосам, по лицу, будто проверяя, все ли на месте. Несколько дней она не ходила в школу, сославшись на то, что болит живот.

Мать, как ни странно, ей потакала. Сидела над нею, давала теплое питье, что-то тихонько втолковывала. Перетащила кровать Ренетт к себе в комнату, чего никогда не случалось ни со мной, ни с Кассисом. Раз я видала, как мать протянула ей две таблетки; их Ренетт взяла не сразу, только после уговоров. Подсматривая из-за двери, я уловила обрывок их перешептываний, где, как мне показалось, мелькнуло слово «месячные». После таблеток Ренетт совсем разболелась, но очень скоро оправилась, и больше о том речи не было.

В альбоме про это мало что сказано. На одной из страниц под засохшим цветком календулы и рецептом полынно-ячменного отвара мать пишет: «Р.-К. совсем поправилась». Но я и по сей день роюсь в догадках. Что это были за таблетки — сильное слабительное от нежелательной беременности? А может, те, о которых мать упоминает в своих записях? И не означает ли «ТЛ» — «Томас Лейбниц»?

По-моему, Кассис о чем-то догадывался, но он слишком погряз в своих заботах, про Ренетт как будто и думать забыл. Зубрил уроки, зачитывался журналами, шатался по лесам с Полем, делал вид, будто ничего не произошло. Может, для него так оно и было.

Раз я попыталась с ним об этом заговорить.

— А что такое? Нет, ты скажи, что, в чем дело?

Мы сидели с ним на самом верху Наблюдательного Пункта, уплетали хлеб, намазанный горчицей, и читали «Машину времени». В то лето это была моя самая любимая книжка, я перечитывала ее без конца. Кассис

повернулся ко мне с полным ртом, но глаза у него бегали.

— Ну, я не знаю... — Я старательно подыскивала слова, следя за выражением его лица над жестким книжным переплетом. — В общем, я только на минутку задержалась, но... — Это трудно было выразить словами. В моем личном словаре не было подходящих слов. — Они уже прямо схватили Ренетт... — через силу выдавила я. — Жан-Мари и эти. Они... они прижали ее к стене. Порвали блузку.

Этим дело не ограничилось, но слов найти я не смогла. Я попыталась снова представить чувство ужаса, вины, охватившее меня тогда; чувство, что сейчас, сию минуту возникнет передо мной эта гнусная, ненужная мне тайна; но почему-то в памяти все было смутно, неясно, как во сне.

— Там был Гюстав, — продолжала я, не сдаваясь.

— И что? — буркнул Кассис с раздражением. — Что из этого? Он вечно там околачивался, старый пьяница. Подумаешь, новость!

Но его глаза по-прежнему избегали моего взгляда, то приклеивались к странице, то металась, как сухие листья под ветром.

— Была драка... Кажется... — пришлось выдать мне из себя.

Я понимала, что он этого слышать не хочет, видела, что намеренно не поднимает на меня глаз, притворяется, будто читает, а сам только и мечтает, чтоб я заткнулась.

Молчание. В нем мы с ним и схлестнулись — старший брат с его жизненным опытом и я с грузом увиденного.

— А не могло получиться, что...

И тут он, расвирепев, с блестящими от ярости и страха глазами вскинулся на меня:

— Что могло получиться?.. Черт побери, что ты несешь! — выплевывал он слова. — Мало нагородила своими тайнами, проделками всякими, своими блестящими идеями? — Он тяжело дышал, надвинувшись на меня, лицо дергалось. — Мало тебе всего этого?

— Я не понимаю, о чем ты... — чуть ли не со слезами вырвалось у меня.

— Соображать надо, вот что! — орал Кассис. — Положим, ты что-то подозреваешь! Положим, знаешь, отчего умер старик Гюстав. — Он помолчал, чтобы посмотреть, как я отреагирую, потом понизил голос до хриплого шепота. — Положим, подозреваешь кого-то. Куда ты с этим пойдешь? В полицию? К матери? В говенный Иностраннный легион?

Мне было ужасно скверно, но я держалась: со свойственной мне наглостью, не мигая, я глядела на брата.

— Не можем мы никому об этом сказать, — сказал Кассис уже совсем

другим голосом. — Ни единой душе. Спросят, откуда мы знаем. С кем мы общаемся. И если признаемся, — он быстро отвел взгляд, — если мы когда-нибудь кому-нибудь что-нибудь...

Тут он внезапно смолк и уткнулся в книгу. Даже страх его куда-то делся: на лице осталась маска усталого безразличия.

— Даже хорошо, что мы не взрослые, — добавил он по-незнакомому холодно. — Известно, дети вечно всякое выдумывают. Что-то выискивают, за кем-то шпионят, всякая такая ерунда. Понятно, никто их всерьез не воспринимает. Мало ли что малолеткам в голову взбредет.

Я продолжала смотреть на него в упор:

— А как же Гюстав?..

— Что со старика взять, — бросил Кассис, безотчетно повторив слова Томаса. — Шел, свалился в реку. Выпил лишнего. Не первый случай.

Меня начало трясти.

— Мы ничего не видели, — твердо сказал Кассис. — Ни ты, ни я, ни Ренетт. Ничего не произошло, ясно?

Я мотнула головой:

— Нет. Я видела, видела!

Но Кассис, больше не достаивая меня взглядом, углубился в чтение книги, отгородившись спасительным барьером художественной фантастики, за которым отчаянно сражались морлоки и элои. И сколько раз после я ни пыталась заговаривать с ним о том, брат притворялся, будто не понимает, о чем речь, или говорил, что это все мои выдумки. Возможно, со временем он даже убедил себя, что в действительности ничего такого и не было вовсе.

Дни шли за днями. Я извлекла навсегда апельсиновый мешочек из материнской подушки, а также апельсиновую корку из бочонка с анчоусами и закопала все это в саду. У меня было чувство, что мне никогда это больше не понадобится.

«Проснулась в шесть утра, — пишет она, — впервые за многие месяцы. Странно, все теперь воспринимается иначе. Когда не спишь, окружающее потихоньку от тебя отползает. Земля будто выскользывает из-под ног. Воздух заряжен яркими, жалящими частицами. Кажется, часть меня осталась позади, только не помню, какая именно. Они глядят на меня так хмуро. По-моему, боятся меня. Все, кроме Буаз. Эта не боится ничего. Хочется предупредить ее, что так долго не продлится».

В этом она права. Не продлилось. Я поняла это вскоре после рождения Нуазетт — моей Нуазетт, такой же упрямой шельмы, как я. Теперь и у нее маленькая дочка, которую я знаю только по фотографии. Она назвала ее

Rêche.^[87] Я часто спрашиваю себя, как они там, вдвоем, в такой дали от родного дома. Вот так же и Нуазетт всегда смотрела на меня своими черными глазами. Вспоминая этот взгляд, я понимаю: она больше похожа на мою мать, чем на меня.

Всего через пару дней после танцев в «La Rép» к нам заявился Рафаэль. Не без повода — то ли вина купить, то ли еще что, — но мы поняли, что ему надо. Кассис, конечно, никогда не признавался, но я прочла это в глазах Рен. Рафаэль хотел разведать, что мы знаем. По-моему, он был встревожен; даже больше, чем остальные, ведь это все-таки было его кафе, — как-никак он к этому причастен. Может, о чем-то догадывался. Может, кто ему рассказал. Как бы то ни было, Рафаэль топтался на крыльце, как кот; мать открыла дверь, глаза у него забегали: стрельнули внутрь дома за спину матери, снова — к ней. После танцев дела в «La Mauvaise Réputation» пошли худо. Я слыхала на почте, как кто-то — кажется, Лизбет Женэ — рассказывал, будто там теперь — хуже некуда, что немцы ходят туда со своими шлюхами, что приличного человека теперь там не встретишь, и хоть пока никто напрямую не связывал то, что было в ту ночь, со смертью Гюстава Бошана, заговорить об этом могли в любую минуту. Деревня есть деревня, здесь никакая тайна долго не продержится.

В общем, мать теплого, как говорится, приема Рафаэлю не оказала. Может, боялась, что мы услышим разговор, ведь гость кое-что про нее знал. Может, от болезни она сделалась такой грубой, а может, просто такой у нее был сроду колючий характер. Как бы то ни было, но больше к нам Рафаэль не приходил, правда, через неделю ни его, ни всех тех, кто был в ту ночь в «La Mauvaise Réputation», уже не было в живых, так что, возможно, просто уже не пришлось.

Мать лишь однажды упоминает о его приходе:

Явился этот дурень Рафаэль. Как всегда, слишком поздно. Сказал, что знает, где можно достать таблеток. Я сказала — больше не надо.

Больше не надо. И все тут. Если б другая сказала так, я бы не поверила, но Мирабель Дартижан была не такая, как все. Сказала «не надо» — и точка. Насколько я знаю, больше морфия она не принимала, хотя, возможно, и это тоже из-за того, что случилось потом, а не благодаря усилию воли. Правда, с апельсинами теперь было покончено. Мне кажется, что с тех пор мне даже расхотелось брать их в рот.

Часть пятая

праздник урожая

1.

Я уже говорила, что многое из написанного ею, целые куски в альбоме, было чистой выдумкой, переплетшейся с правдой, как вьюн с кольями изгороди, еще более запутанной дурацким ее шифром, ее скрещивающимися и перекрещивающимися строками, искаженными и перевернутыми словами, и распутывание каждого сталкивало мою волю с ее волей ради извлечения спрятанного смысла.

«Сегодня ходила к реке. Видела женщину, запускавшую воздушного змея из фанеры и канистр из-под масла. Никогда бы не подумала, что такая штука может взлететь. Громадная, как танк, вся разукрашенная и хвост в развевающихся лентах. Я думала...» — в этом месте несколько слов исчезли под пятном оливкового масла, растворившим чернила на бумаге в темно-лиловое месиво, — «...но она скакнула на перекладину и взмыла в воздух. Сначала я ее не признала, но по-моему, все-таки это Минетт, хотя...» — более крупное пятно покрыло почти все остальное, но кое-какие слова еще проглядывают. Одно из них — «красиво». В начале абзаца поверх размашисто написано обычным ее почерком: «туда-сюда».

Ниже какой-то небрежный схематичный рисунок, который можно истолковать и так и сяк, но все-таки больше похоже на человечка из палочек, стоящего на свастике.

Впрочем, это не важно. Важно, что это не женщина с воздушным змеем. Даже упоминание имени Минетт ничего не объясняет; единственная Минетт, которую мы знали, приходилась дальней родственницей отцу, и считали ее, мягко говоря, «странной»; она звала своих многочисленных кошек «мои малютки» и давала на людях котяткам грудь, нисколько не смущаясь обнажать свою безобразную, обвислую плоть.

Я рассказываю об этом, чтоб вы поняли. У матери в альбоме каких только не было небылиц, историй о встречах с давно умершими людьми, выдаваемых за явь снов, всяческого вымысла — ненастные дни, обращенные в ясные; несуществующая собака-сторож; разговоры, которых

не было и в помине, иные довольно нудные; поцелуй неведомо откуда взявшейся подруги. Иногда правда перемешивалась с вымыслом так искусно, что даже я уже терялась, где истина, где ложь. Притом все это без видимых причин. Возможно, это были симптомы ее болезни или плод наркотических галлюцинаций. Я не уверена, что альбом вообще предназначался для чьих-то глаз, кроме ее собственных. Да и мемуарами это не назовешь. Местами почти дневник, но все же не дневник; отсутствие четкой последовательности лишает альбом всякой логики и делает никчемным. Вероятно, именно поэтому мне пришлось биться столько времени, чтобы наконец понять, что именно передо мной, увидеть смысл ее поступков и то, какие чудовищные параллели обнаружились с моей жизнью. Иногда едва различимы фразы, втиснутые мелкими каракулями между строк всяких рецептов. Возможно, она это делала намеренно. Чтоб под конец все осталось только между нами двумя. Из любви ко мне.

Варенье из зеленых помидоров. Порезать помидоры кусочками, как яблоки, взвесить. Сложить в миску — килограмм сахара на килограмм помидоров. Снова сегодня проснулась в три утра, пошла искать таблетки. Снова забыла, что их уже не осталось. Потом растворить на огне сахар — чтоб не подгорел, добавить, если нужно, 2 стакана воды — размешать деревянной ложкой. В голове точно сверло, что если пойти к Рафаэлю, он найдет, у кого достать. Ни за что не пойду больше к немцам после того, что случилось, лучше умереть. Потом добавить помидоры и на медленном огне довести до кипения, постоянно мешая ложкой. Снимать время от времени пену шумовкой. Иногда кажется, уж лучше умереть. По крайней мере, не надо заботиться, проснусь или нет, ха-ха! Все мысли о детях. Боюсь, у Красотки Иоланды завелась грибковая плесень. Надо выкопать и удалить зараженные корни, не то распространится на все дерево. Оставить кипеть на медленном огне часа два, может, чуть меньше. Если капля варенья липнет к блюдечку, значит готово. Я так зла на себя, на него, на них. Больше всего на себя. Когда этот идиот Рафаэль рассказывал, приходилось до крови кусать губы, чтоб себя не выдать. По-моему, он не заметил. Сказала, уже все знаю, что девчонки вечно влипают в историю, что никаких последствий. Кажется, он успокоился, а когда он ушел, я взяла большой топор и все колола, колола дрова до изнеможения, представляя, что рублю его на куски.

Сами видите, разобрать что к чему у нее нелегко. Только представив

себе, что это было за время, можно что-то понять. И конечно, о чем был разговор с Рафаэлем, она не сообщает. Могу лишь представить, что он был напуган, что приняла она его с каменным, бесстрастным видом; что он чувствовал себя виноватым. Ведь он был хозяин кафе. Но мать ничего ему лишнего не сказала. Соврав, что знает, она защищала себя, выставив заслон против его ненужных расспросов. Наверно, отрезала: Рен ни в чьей помощи не нуждается. Да и что такого произошло? Вперед будет осмотрительней. Слава Богу, еще счастливо отделались.

Т. сказал, он тут ни при чем. А Рафаэль говорит, что тот был рядом и пальцем не пошевелил. В конце концов немцы — его приятели. Возможно, они заплатили и за Рен, как за тех женщин, что Т. привез с собой из города.

Нас сбило с толку то, что она с нами ни разу не обмолвилась о случившемся. Может, просто не знала, как сказать, — питая крайнее отвращение ко всему, что было связано с физической стороной жизни, — а может, считала, что лучше об этом вообще не упоминать. Но альбом отразил ее разгоравшийся гнев, ее ярость, ее мысли о мести. «Так бы изрубила его всего на куски», — пишет она. Когда впервые прочла, я была уверена, что это она о Рафаэле, но теперь уже сомневаюсь. Мощь ее ненависти говорит о чем-то более глубоком, более темном. Возможно, о предательстве. Или о поруганной любви.

«Руки у него нежней, чем я думала, — пишет она под рецептом пирога с яблочным соусом. — Он на вид такой молоденький, а глаза точно море в ненастный день. Я думала, какая мерзость, думала, возненавижу его, но столько в нем ласки. Хоть и немец. Ну не спятила ли я, зачем верила его словам? Я же сильно его старше. Хотя и не такая уж старая. Может, самая пора».

На этом запись обрывается, как будто мать устыдилась собственной смелости, но теперь, когда знаю, где искать, я нахожу отголоски повсюду в альбоме. Отдельные слова, фразы, прерванные рецептом или пометками, что сделать по саду, зашифрованные даже от самой себя. И эти стихи:

сок сладостный,
как в спелой
дыне...

Долгое время я считала это игрой воображения, как многое из того, что встречается в ее альбоме. Нет, не могло быть у моей матери любовника. Нежность была ей совершенно не свойственна. Она была неприступна, как крепость, все ее чувства изливались в кулинарии, создании бесподобного *lentilles cuisinees*,^[88] восхитительного *crème brûlée*.^[89]

Я и помыслить не могла, что есть хотя бы доля правды в этих, не вяжущихся с ней фантазиях. Передо мной вставало ее лицо: сердито поджатые губы, эти упрямые скулы, волосы, туго стянутые узлом на затылке, — даже история про женщину с воздушным змеем казалась более правдоподобной.

И все же поверить пришлось. Может, это Поль заставил меня думать иначе. Может, потому, что я однажды поймала себя на том, что стою перед зеркалом: в красной шали на голове, в кокетливо свисавших сережках, подаренных к дню рождения, — подарок Писташ, никогда прежде не надеванный. Помилуйте, мне шестьдесят пять. Пора бы соображать. Но все же что-то есть такое в его взгляде, когда он на меня смотрит, отчего мое старушечье сердце начинает бухать, как трактор. Это не то отчаянное, сумасшедшее чувство, которое я испытывала к Томасу. Даже не то ощущение временной передышки, которым меня одарил Эрве. Нет, на сей раз — все по-другому: это чувство покоя. Так бывает, если готовишь что-то и получается прямо-таки безупречно — идеально взбившееся суфле, безукоризненный *sauce hollandaise*.^[90]

Это чувство говорит мне, что любая женщина может быть красавицей в глазах мужчины, который ее любит.

Я стала перед сном мазать руки и лицо кремом, а как-то раз вытащила старую помаду, растрескавшуюся и комковатую, и слегка подкрасила губы, но тут же смущенно и виновато принялась стирать. Что это? Зачем? После шестидесяти пяти просто неприлично о таком и думать. Но как бы ни был суров мой внутренний голос, он меня не убедил. Я расчесываю волосы с большей тщательностью, чем прежде, и скрепляю их сзади черепаховым гребнем. Старую дуру уже не исправить, упрямо твержу я себе.

А ведь моя мать была лет на тридцать моложе.

Теперь я гляжу на ее фотографию, и во мне что-то тает. Смешанные чувства, которые наполняли меня столько лет, смесь горечи и вины, рассеялись настолько, что теперь я вижу, по-настоящему вижу, ее лицо. Вот одна Мирабель Дартижан: сжатые губы на исхудалом лице, волосы с такой безжалостной силой стянуты сзади, что больно смотреть. Чего боялась она, эта одинокая женщина, глядящая на меня с фотографии? Женщина в альбоме — другая, томящаяся, сочиняющая стихи, смеющаяся и негодующая под своей маской, иногда игривая, иногда холодно-безжалостная в своих видениях. Я вижу ее очень отчетливо: ей нет и сорока, волосы лишь слегка тронуты сединой, черные глаза еще не утратили свой блеск. Бесконечные годы труда не сломали ее, у нее по-прежнему крепкие и сильные руки. И грудь ее тоже еще упруга под

безжалостными, бесконечно серыми передниками, и порой она рассматривает в зеркале гардероба свое обнаженное тело, представляя, что впереди долгая и безрадостная вдовья жизнь, неизбежная старость, и спадают с нее остатки молодости, и живот мешковатыми складками провисает у бедер, и резко выпирают кости и коленки. Так мало мне осталось времени, говорит себе эта женщина. Я почти слышу ее голос со страниц ее альбома. Так мало осталось.

И кто же явится после бесконечных ожиданий? Старик Лекос со слезящимися ревматичными глазками? Или Альфонс Фенуй, или Жан-Пьер Трюриан? Втайне она мечтает о незнакомце с вкрадчивым голосом. Рисует его в своем воображении, того, кто сквозь ее нынешнюю внешность разглядит то, что у нее внутри.

Конечно, мне неоткуда узнать, что она чувствовала, но я стала к ней ближе, чем когда-либо, настолько близко, что почти слышу с иссохших страничек альбома ее голос, который ожесточенно силится скрыть за внешней холодностью суть — женщину, полную страсти и отчаяния.

Вы понимаете, это просто мои домыслы. Никогда впрямую она не называла его имени. Я даже не могу утверждать, что у нее был любовник, не говоря уже о том, что это — Томас Лейбниц. Но что-то подсказывает мне, что хоть в деталях я могу и ошибаться, но в главном я права. Это мог быть кто угодно, убеждаю я себя. А сердце мне тайно твердит, что им мог быть Томас, и больше никто. Возможно, я гораздо сильнее похожа на нее, чем мне бы хотелось. Возможно, она это знала и завещала мне альбом специально для того, чтоб попытаться дать мне это понять.

Возможно также, что это ее попытка положить конец войне между нами.

2.

После танцев в «La Mauvaise Réputation» мы не видели Томаса почти две недели. Частично из-за матери — ополоумевшей от бессонницы и мигреней, — частично потому, что мы почувствовали: что-то изменилось. Почувствовали мы все: и Кассис, по уши ушедший в свои комиксы; и Рен в новом для нее глухом молчании; и даже я. Ах, как мы без него тосковали! Все трое. Любовь такая штука, ее не выключишь, как водопроводный кран, и мы уже старались, каждый по-своему, оправдать его поступок, его подстрекательство.

Но дух старого Гюстава Бошана витал где-то в глубинах, подобно

грозной тени морского чудовища. На всем лежала эта печать. Мы водились с Полем теперь почти так же, как было до Томаса, но игры наши были какие-то безрадостные, под нарочитым весельем мы пытались скрыть полное отсутствие интереса. Мы плавали в реке, бегали по лесам, лазали по деревьям с большей прытью, чем раньше, но при этом прекрасно понимали, что с болью и щемящим нетерпением ждем появления Томаса. По-моему, нам всем казалось даже тогда, что он появится — и все изменится к лучшему.

Уж я-то точно думала именно так. Он был всегда такой уверенный в себе, такой надменно-независимый. Он все стоял у меня перед глазами со свисавшей между губ сигаретой, в слегка сдвинутой назад пилотке, солнце играет в глазах, и солнечная улыбка озаряет лицо. Все вокруг озаряет.

Вот пришел и пролетел четверг, а Томас не появился. Кассис высматривал его в школе, но ни в одном из привычных мест Томаса не было видно. Хауэр, Шварц и Хейнеман тоже, как ни странно, пропали, как будто избегали встреч. Пришел и пролетел другой четверг. Мы притворялись, будто ничего не происходит, не упоминали даже его имени в разговорах друг с другом, хотя, возможно, шептали его в своих снах, проживая жизнь без него и делая вид, будто нам совершенно безразлично, увидим мы его еще или нет. Я теперь совершенно помешалась на своей охоте за Матерой. Проверяла расставленные ловушки чуть ли не по двадцать раз в день, каждый раз ставя новые. Воровала еду из погреба, чтоб готовить ей свежую, вкусную приманку. Заплывала к Сокровищному Камню и сидела там часами с удочкой, следя за изящным излетом лески, запущенной в воду, прислушивалась к звукам реки у ног.

Рафаэль снова явился к матери. Дела в кафе шли плохо. Кто-то вывел красной краской на тыльной стене «**НЕМЕЦКИЙ ПОСОБНИК**»; однажды ночью кто-то закидал камнями окна, так что их пришлось заколотить. Я из-за двери подслушивала: он говорил тревожным шепотом матери:

— Я тут ни при чем, Мирабель. Прошу тебя, поверь. Я не виноват.

Моя мать сквозь зубы буркнула что-то уклончиво.

— Не мог же я спорить с немцами, — сказал Рафаэль. — Я вынужден обращаться с ними как со всякими клиентами. Не один я такой.

Мать равнодушно повела плечами:

— В нашей деревне — один.

— И это говоришь ты? Сама, было дело, попользовалась властью.

Мать надвинулась на него. Рафаэль поспешно отступил, загремели тарелки на комод.

— Заткнись, дурак! — еле слышно, с яростью прошипела мать. —

Кончено с этим, понял? Баста! И если я узнаю, что ты хоть одной живой душе...

Физиономия у Рафаэля побелела от страха, но он еще хорохорился.

— Не смей обзывать меня дураком! — лепетал он дрожащим голосом.

— Ты и есть дурак, а мать твоя — шлюха! — громко рявкнула мать. — Ты, Рафаэль Криспэн, дурак и трус, и нам обоим это известно.

Она так близко подступила к нему, что теперь загородила от меня его лицо, но видно было, что он выставил вперед, будто обороняясь, руки.

— Если ты или еще кто сболтнет чего, берегитесь. Если мои дети через тебя что-нибудь прослышат, — ее дыхание, как шелест сухих листьев в летней кухне, — прибью! — еле слышно проговорила мать.

И Рафаэль, должно быть, понял, что она не шутит, потому что, когда вышел, лицо у него было белое, как молоко, а руки так сильно тряслись, что ему пришлось засунуть их в карманы.

— Прибью всякого подонка, кто станет обливать грязью моих детей! — проорала мать вслед Рафаэлю, и тот даже вздрогнул, будто слова матери его обожгли. — Прибью мерзавцев! — снова выкрикнула мать, хотя Рафаэль был уже почти у самых ворот и даже бегом припустил, вжав голову в плечи, как под сильным ветром.

Потом эти слова еще не раз вернутся к нам бумерангом.

Весь день настроение у нее было хуже некуда. Даже Поль схлопотал у нее на орехи, когда зашел за Кассисом позвать его погулять. После прихода Рафаэля мать, втихомолку вскипая сильнее и сильнее, внезапно с такой яростью набросилась на Поля, что он застыл перед ней, моргая, и, беспомощно шевеля губами, бормотал, заикаясь с испугу:

— П-п-прос-стит-тте... П-п-ро...

— Кретин, говорить не можешь по-человечески! — дико взвизгнула моя мать.

И тут мне показалось, что на миг кроткие глаза Поля вспыхнули неистовым огнем. Он повернулся и, ни слова не говоря, кинулся бежать в сторону Луары; издали долетали странные, воющие, отчаянно-заливистые звуки.

— Скатертью дорога! — крикнула моя мать ему вдогонку, захлопывая дверь.

— Зря ты так ему сказала, — холодно бросила я ей. — Поль не виноват, что заикается.

Моя мать взглянула на меня тусклыми, как агаты, глазами.

— Ты ему под стать, — сказала она глухо. — Если выбирать между

мной и фашистом, выберешь фашиста.

3.

Вскоре после этого стали появляться письма. Три письма, нацарапанные на тонкой бумаге в синюю линейку, просунутые под дверь. Я застала ее в тот момент, когда она поднимала с пола одно. Быстро сунула в карман передника, прикрикнула на меня, чтоб шла в кухню: нечего глазеть, бери мыло, давай мойся как следует. Что-то в ее голосе заставило меня вспомнить про апельсиновый мешочек, и я тотчас испарилась, но про письмо не забыла, и после, когда обнаружила его, прилепленное в альбоме между рецептом *boudin noir*^[91] и вырезкой из журнала про то, как удалять пятна гуталина, я сразу его узнала.

«Нам извесна пра всякие ваши дила, — было коряво выведено мелким почерком, — мы за вами слидим мы знаим что делать с пасобниками». Под этим приписано крупно красным карандашом: «Сперва выучись писать, ха-ха!» — но слова такие крупные, такие красные, будто мать отчаянно старалась скрыть за ними свою тревогу. Нам, понятно, она никогда про эти писульки не говорила, но теперь задним числом я понимаю, что внезапные перемены в ее настроении вполне могли объясняться их появлением. Из второй записки явствовало, что автор что-то знает про наши встречи с Томасом.

Мы видели тваих ребят с ним так што ни отмажишься. Мы видим тибя насквось. Думаиш умней всех а сама шлюха немецкая а дети тваи прадаются немцам. Чтоп ты знала.

Кто бы это мог быть? Правда, написано было чудовищно безграмотно, но кто именно писал, по безграмотности не определишь. Моя мать сделалась теперь еще чудней, чем прежде, целый день торчала одна в доме за закрытыми дверями, подозрительно, точно одержимая, вглядываясь в проходящих мимо.

Третье письмо самое отвратительное. По-моему, больше писем не было, хотя, возможно, она просто их потом не сохраняла; и все же, думаю, это было последнее.

Нет тибе пощады фашиская шлюха и детям твоим. Нибось ни знаиш что ани прадают нас немцам. Спрасика аткуда у них вещички.

Ани прячут их в одном месте в лису. Бирут от малаво каторова завут кажись Либнис. Твоево друшка. И мы тваи друшки.

В ту же ночь кто-то вывел снаружи на нашей двери красным «П», а на стене курятника «ФАШИСКАЯ ШЛЮХА». Правда, мы все это тут же закрасили, чтоб никто не увидел. Октябрь тянулся дальше.

4.

В ту ночь мы с Полем поздно возвратились домой из «La Mauvaise Réputation». Дождь прекратился, но все еще было холодно — то ли ночи стали холодней, то ли я стала мерзлявей, чем прежде, — у меня испортилось настроение, все меня раздражало. Я распаялась, а Поль тем временем, казалось, становился все спокойней и спокойней, и мы поглядывали хмуро друг на дружку, на ходу выдыхая клубами белый парок.

— Девочка эта, — наконец произнес Поль тихо и раздумчиво, как бы разговаривая с самим собой. — Пожалуй что девчонка совсем, а?

Я взвилась от этой совершенно не к месту брошенной фразы.

— Господи, теперь девчонка! Я-то думала, мы ищем, как избавиться от Дессанжа и его вонючего фургона, а ты на девочек заришься!

Поль как будто и не слышал.

— Сидела с ним, — медленно сказал он. — Видная. Красное платье, высокие каблуки. Ее и у фургона часто видать.

Действительно, я вспомнила, есть такая.

В памяти забрезжили в густой красной помаде губы, плоская черная прядь. Часто приезжает к Люку. Городская.

— Ну и что?

— Дочка Луи Рамондэна. Пару лет назад перебралась в Анже, с этой, с Симоной, с мамашей своей, после их развода. Ну да ты знаешь. — Он кивнул, как будто я не фыркнула ему в ответ, а нормально ответила. — Симона опять под своей девичьей фамилией живет, Трюриан. Девчонке теперь, должно быть, лет четырнадцать-пятнадцать.

— И что?

Я по-прежнему не могла взять в толк, откуда такой интерес. Вынула ключ, вставила в замок.

— Ну да, думаю, пятнадцать, не больше, — снова произнес Поль в своей замедленной, задумчивой манере.

— Замечательно, — резко сказала я. — Рада, что подыскал себе на

вечерок развлечение. Жаль, не спросил, какой у нее размер ноги, уж об этом бы тебе точно поразмыслить не мешало б.

Поль взглянул на меня с ленивой ухмылкой:

— Ревнуешь, значит!

— Вот еще! — возмутилась я. — Просто хватит тебе мой коврик топтать ножищами, грязный старый развратник!

— Ну, я подумал... — протянул Поль.

— Наконец-то!

— Я подумал, может, Луи, он ведь у нас gendarme все ж таки, может, ему не все равно, что его дочка в свои пятнадцать, а то и четырнадцать, гуляет с мужчиной, причем женатым, по имени Люк Дессанж. — Тут он бросил на меня насмешливо-победный взгляд. — Правда, теперь уже многое не так, как когда мы с тобой были молодые, но он отец, к тому же полицейский...

— Поль! — взвизгнула я.

— Еще и сигаретки эти покуривает, — добавил Поль тем же задумчивым тоном. — Те, какие прежде водились в джаз-клубах.

Я в восхищении смотрела на него:

— Поль, ты же почти детектив! Он скромно потупился.

— Да так, порасспросил народ малость. Решил, рано или поздно что-нибудь да попадется. — Помолчав, добавил: — Потому слегка и задержался. Не знал, получится или нет уговорить Луи подойти, самому взглянуть.

Я опешила:

— Так ты приводил Луи? Это пока я ждала снаружи? Поль кивнул.

— Соврал, будто у меня в баре кошелек стянули. Чтоб уж наверняка клюнул. — Очередная пауза. — Дочка как раз с Дессанжем целовалась, — пояснил он. — Оно даже к лучшему.

— Поль, — торжественно сказала я, — можешь в моем доме грязными ногами хоть все ковры истоптать. Даю тебе полную свободу.

— Тебя б я лучше потоптал, — сказал Поль с дурацкой ухмылкой.

— Старый пошляк!

5.

На следующий день, когда Люк заявился в свой фургон, Луи уже его подждал. Gendarme был при полной форме, его обычно маловыразительная, улыбающаяся физиономия теперь носила выражение

по-военному непроницаемое. В траве у фургона лежало что-то, по виду напоминавшее детскую каталку.

— Ну вот, теперь гляди, — сказал мне стоявший у окна Поль.

Я отошла со своего поста у кухонной плиты, где уже начинал закипать кофе.

— А ну иди сюда! — повторил Поль.

Окно было слегка приоткрыто, и до меня долетел прокатившийся через поля запах туманной мглы с Луары. Такой же знакомый до боли, как аромат тлеющей листвы.

— Hé là!^[92]

Отчетливо прозвучал голос Люка, он шел с небрежной раскованностью человека, убежденного, что неотразим. Луи Рамондэн без особого выражения смотрел на него.

— Что это он с собой принес? — тихонько спросила я Поля, указав глазами на непонятную штуку в траве. Поль усмехнулся: — Ты гляди, гляди!

— Эй, как дела? — Люк сунул руку в карман, нащупывая ключи. — Что, позавтракать невтерпеж, hein?^[93] Давно тут торчишь?

Луи молча смотрел на него.

— Тогда слушай, что могу предложить! — Люк изобразил щедрый жест. — Есть блины, сосиски по-деревенски, яичница и *bason à l'anglaise*. *Le breakfast Dessanges*.^[94] Плюс к тому мой самый черный, накрепчайший *café noirissime*,^[95] ведь, как я понимаю, ночка тебе выдалась крутая. — Он засмеялся. — Что было-то, а? Переполох в церковной лавке? Кто-то совратил местную овечку? Или она кого-то?

Луи по-прежнему молчал. Стоял не шелохнувшись, как игрушечный полицейский, положив руку на рукоятку похожей на каталку штуки.

Люк пожал плечами и открыл дверцу фургона.

— Надеюсь, после «Завтрака у Дессанжа» ты станешь разговорчивей.

Пару минут Люк на наших глазах откидывал тент и развешивал всякие висюльки, рекламировавшие его повседневный ассортимент. Луи, словно бы этого не замечая, продолжал как столб стоять у фургона. Поглядывая на ожидавшего полицейского, Люк между делом напевал что-то веселенькое. Потом я услышала музыку включенного радио.

— Чего он ждет? — нетерпеливо спросила я. — Почему он все время молчит?

Поль усмехнулся:

— Ты его не подгоняй. Эти Рамондэны вечно не торопятся запрягать, а

уж если тронутся...

Луи простоял так целых десять минут. Люк, несмотря на свою веселость, был уже несколько озадачен и оставил попытки завязать разговор. Стал греть тарелки для блинов; бумажная шапочка, съехав со лба, лихо притулилась на затылке. И тут наконец Луи тронулся с места. Недалеко; зашел со своей каталкой за фургон и исчез из нашего поля зрения.

— Да что это за фиговина, в самом деле? — недоумевала я.

— Гидравлический домкрат, — сказал Поль, по-прежнему ухмыляясь.

На наших глазах фургон стал очень медленно крениться вперед. Сначала едва заметно, и вдруг — внезапно рывком осел, заставив Дессанжа проворней хорька вылететь из своего камбуза. Лицо у него было злое и одновременно испуганное — впервые с момента, как им был затеян этот гнусный спектакль, на него посягнули, и смятение на его физиономии очень меня порадовало.

— Какого хрена, что за дела? — изумленно заорал он Рамондэну. — Ты что?

Молчание. Фургон еще накренился, слегка. Мы с Полем, вытянув шеи, жадно следили за происходящим.

Люк поспешно оглядел фургон — не повредился ли. Навес косо повис, сама коробка криво осела, как дом на песке. На лице Люка снова появилось сосредоточенное выражение и следом — эдакий язвительный взгляд игрока, у кого не только тузы в рукаве, но, пожалуй, и вся колода.

— Да уж, ты меня напугал, — сказал Люк весело и как ни в чем не бывало. — Ей-ей, здорово напутал. Можно сказать, ошарашил.

Ответа от Луи не последовало, но нам показалось, что фургон накренился еще. Поль обнаружил, что из окна спальни лучше видно фургон сзади, и мы перешли туда. Голоса в холодном воздухе утра были слышны хоть и тихо, но вполне отчетливо.

— Ну будет, старина, — сказал Люк теперь явно озабоченно. — Шутки в сторону, ладно? Ставь фургон обратно, и я тебя обслужу по высшему разряду. Отпущу завтрак на дом.

Луи взглянул на Люка и, улыбаясь, ответил:

— Всенепременно, сударь!

Но фургон все же слегка двинулся вперед. Люк метнулся, будто хотел придержать.

— На вашем месте, сударь, я бы поостерегся, — вежливо сказал Луи. — По-моему, это небезопасно.

Фургон еще накренился.

— Что за дурацкие игры? — снова в голосе Люка зазвучали злые нотки. Луи улыбнулся.

— Ох, и ветреная выдалась ночь, сударь, — сказал он кротко, в очередной раз нажимая на домкрат, примостившийся у его ног. — Столько деревьев у реки ураган повалил.

Лицо Люка напряглось. Ярость исказила его, голова тряслась, как у бойцового петуха. Люк на вид был повыше Луи, но явно не такой крепкий. Невысокий, коренастый Луи, весь в своего двоюродного деда Гийерма, не раз в своей жизни ввязывался в драку. И главным образом именно потому стал полицейским. Люк сделал к нему шаг.

— Немедленно убери отсюда свой домкрат, — сказал он тихо и с угрозой в голосе.

Луи улыбнулся:

— Всенепременно, сударь! Как прикажете! Дальше все происходило, как при замедленной киносъемке. Фургон-закусочная, едва державшийся на самом краю, качнулся назад, лишь только лишился опоры. Грянул грохот, так как все содержимое камбуза — тарелки, стаканы, столовые приборы, кастрюльки — вмиг ухнуло с прежних мест в противоположный угол фургона, фонтаном взметнулись черепки. Фургон продолжал лениво и криво скользить назад по инерции и увлекаемый тяжестью переместившегося груза. На мгновение показалось, что он выровняется. Но он медленно, словно задумчиво, накренился и шмякнулся набок в траву с такой силой, что наш дом вздрогнул, а чашки на кухонном столе внизу зазвенели так, что было слышно с нашего наблюдательного пункта в спальне.

Несколько секунд оба стояли, глядя друг на друга. Луи с сочувственной и участливой миной, Люк — ошарашенно и со вскипающей яростью. Фургон-закусочная лежал в высокой траве на боку, и в его глубинах мало-помалу затихали звякающие звуки крушения.

— Оп-па! — сказал Луи.

Люк остервенело бросился на него. На миг они слились в моих подслеповатых глазах в одно пятно, так быстро мелькали их руки, их кулаки. Но вот уж Люк сидел в траве, прикрыв руками лицо, а Луи даже с неким сочувствием на лице помогал ему подняться.

— Батюшки, да что же это с вами! Прямо как столбняк какой нашел. Это от потрясения; бывает. Не переживайте.

Люк, задыхаясь от ярости, говорил: — Ты... придурок хренов... хоть... соображаешь, что... натворил?

Я еле разобрала, что он сказал; он по-прежнему не отрывал рук от лица.

Потом Поль говорил, будто Луи двинул Люку локтем прямо в переносицу, но все произошло так быстро, я не успела рассмотреть. Жаль. Такого удовольствия лишилась.

— Мой адвокат тебя прижучит, последние сраные портки снимешь! Будешь у меня с голой жопой ходить. Черт! Вон как кровь хлещет...

Подумать только: теперь я отчетливо слышала знакомые нотки, уже гораздо явственней, чем прежде. И в том, как говорил, и как капризно вопил этот избалованный городской юнец, привыкший получать все, что захочет. На секунду мне показалось, что я слышу истошный голос его сестрицы.

Потом мы с Полем сошли вниз — по-моему, дольше торчать дома теперь было нелепо, — чтоб уже снаружи наблюдать за спектаклем. Люк был на ногах, и уже не такой красавчик: кровь течет из носа, в глазах слезы. Я заметила, что его дорогой парижский ботинок весь в собачьем дерьме. Протянула носовой платок. Люк взглянул подозрительно, но платок взял. Стал утирать окровавленный нос. Видно, до него все еще не дошло: он был бледен, но глаза горели воинственным упрямством человека, у которого есть на кого опереться, достаточно адвокатов, советчиков и высокопоставленных друзей.

— Вы видали? — кинул он нам. — Видали, что этот засранец сделал? — Люк, словно не веря глазам, рассматривал свой окровавленный платок. Нос у него основательно распух, да и глаза тоже. — Видали оба, как он меня ударил, видали? — не унимался Люк. — Ни с того ни с сего. Да я тебя засужу, сдери все до последнего гроша!

Поль повел плечами.

— Мы ничего такого не видали, — протянул он в своей медлительной манере. — Мы люди пожилые, глаза уже не те. Да и слышим плоховато.

— Так вы же наблюдали! — не отставал Люк. — Как же вы не видели! — Тут он заметил мою усмешку, глаза у него сузились: — Ах вот оно что! — злобно процедил он. — Вот откуда ветер дует, а? Решили пугнуть меня с помощью вашего приятеля *gendarme*, так? — Он перевел взгляд на Луи. — Умней ничего не придумали... — Он сдавил пальцами ноздри, чтоб остановить кровь.

— По-моему, для такой клеветы у вас нет оснований, — твердо припечатал Луи.

— Ах так? — взорвался Люк. — В таком случае мой адвокат...

— Понятно, вы расстроены, — перебил его Луи. — Как же, ветром опрокинуло ваше кафе. Тут, ясное дело, чего не нагородишь в такой ситуации.

Люк, опешив, уставился на него.

— Суровая выдалась нынче ночь, — без зла продолжал Луи. — Первый за октябрь ураган. Уверен, вы сможете получить страховку.

— Да и как такому было не случиться, — сказала я. — Такой высокий фургон, да на подставке, да у самого края дороги. Удивляюсь, как раньше-то не опрокинулся.

— Понял, — еле слышно сказал Люк. — Неплохо, Фрамбуаз. Ей-ей, неплохо. Вижу, вы изрядно поработали. — Он произнес это даже как-то льстиво. — Но сами понимаете, даже и без фургона я на многое еще способен. Мы еще на многое способны. — Он попытался улыбнуться, заморгал, снова принялся утирать нос. — Уж вы бы от греха отдали им, что они просят, — продолжал он тем же почти заискивающим тоном. — Так-то, мамуся. А? Что скажете?

Что мне было ему ответить? Глядя на него, я почувствовала, что стара. Думала, он сдастся, но вид у Люка в тот момент был наглый, как никогда: лисья физиономия хищно ухмылялась. Я — то есть мы с Полем — нанесла ему лучший, на какой способна, удар; но Люк, оказывается, непобедим. Как дети, пытающиеся поставить на реке запруду, мы мгновение упивались своей победой — перепуганным выражением на его лице; хотя бы ради этого уже стоило постараться. Но в конечном счете, как ни дерзки наши потуги, река все же сильнее. Луи, как и мы, провел детство на берегу Луары, твердила я себе. Он-то должен понимать. Все, что он натворил, просто так ему не сойдет. Я уже представляла себе армаду адвокатов, консультантов, городской полиции, — наши имена в газетах, раскроют наши тайные делишки. И почувствовала, что устала. Очень устала.

И тут увидела лицо Поля. Он улыбался своей неспешной, мягкой улыбкой и внешне выглядел придурковато, если бы не ленивая лукавинка в глазах. Поль надвинул свой берет глубже на лоб жестом одновременно и финальным, и комичным, и героическим, как рыцарь из древних хроник опускает забрало перед последней схваткой с врагом. И я еле удержалась, чтобы не расхохотаться.

— По-моему, мы могли бы, э-э-э, это дело уладить, — сказал Поль. — Может, Луи кое в чем и перестарался. Все они, Рамондэны, малость горячи и обидчивы. У них это в крови. — Он смущенно улыбнулся, повернулся к Луи: — Помнишь, тот случай с Гийермом? Он тебе вроде по бабке родня?

Дессанж слушал с растущим раздражением и ненавистью.

— По деду, — поправил Луи.

— Вот-вот, — кивнул Поль. — Горячая у этих Рамондэнов кровь. У всех у них. — Тут он снова заговорил по-местному; это в нем моя мать особенно

не терпела: его косноязычие и его заикание, — теперь выговор у Поля сделался еще чудней, чем в прежние годы. — Помню, как пожаловали однажды ночью толпой к фермерской усадьбе, впереди всех старый Гийерм на своей деревянной ноге, помню все, что стряслось у «La Mauvaise Réputation». Похоже, дурная слава за этим кафе по сей день сохранилась.

Люк дернул плечом:

— Знаете, анекдотики прежних времен — тоже неплохо. Но в данный момент я бы...

— Всю заварушку подстроил один парень, — невозмутимо продолжал Поль. — Я бы сказал, чем-то на вас похож. Тоже городской, не здешний, иностранец, думал, наши деревенские — тупой и жалкий народ, вокруг пальца обвести ничего не стоит.

Поль бросил на меня беглый взгляд, как будто на лице у меня барометр, и он по нему проверяет нужный показатель.

— Правда, кончилось все плоховато. Разве нет?

— Хуже не придумаешь. — Язык плохо слушался меня. — Хуже не бывает...

Люк настороженно следил за нашими лицами:

— И что?

— Вдобавок тоже молоденьких девчонок любил, — мой голос мне показался глухим, далеким. — Поиграет — бросит. Использовал их, чтоб побольше разузнать. По-современному сказать, совращал малолеток.

— Понятно, в те годы у многих девчонок не было отцов, — вкрадчиво вставил Поль. — Понятно, война.

Я заметила, как в глазах у Люка блеснула искра. Он коротко кивнул, как бы отмечая про себя:

— Это вы на вчерашнюю ночь намекаете? Не ответив на его вопрос, я спросила:

— Вы ведь женаты, да? Он снова кивнул.

— Будет жаль, если ваша жена обо всем этом узнает, — продолжала я. — Совращение малолетних — дело некрасивое. Пожалуй, никак от нее такого не скроешь.

— Жена ничего не узнает, — быстро сказал Люк. — Девица не станет...

— Эта девица моя дочь, — просто сказал Луи. — А станет или нет, ее дело.

Снова кивок. Держался Люк вполне хладнокровно. В этом ему не откажешь.

— Ладно, — наконец произнес он. Даже почти выдавил из себя улыбку. — Ладно. Я понял.

Несмотря ни на что, он взял себя в руки. Бледность его была вызвана скорее злостью, чем страхом. Взглянул мне прямо в глаза, иронично скривил губы и многозначительно произнес:

— Надеюсь, мамуся, игра стоит свеч. Ведь, возможно, уже завтра вам понадобится немалое утешение. Возможно, завтра ваша маленькая горестная тайна просочится во все газеты и журналы страны. Достаточно мне до отъезда сделать пару телефонных звонков. Да и, честно говоря, скучища тут у вас редкостная, и если ваш приятель думает, что эта мелкая шлюшка, его дочь, хоть как-то ее скрасила... — тут он прервался, повернулся к Луи с язвительной ухмылкой и вмиг остолбенел, потому что полицейский резко щелкнул затвором наручников на одной его руке, потом на другой.

— Что такое? — прозвучало у Люка изумленно и даже насмешливо. — Ты что, совсем охренел? Мало того, что натворил, хочешь еще добавить? Что тут тебе? Дикий Запад?

Луи без всякого выражения смотрел на него.

— Моя обязанность вас предупредить, — сказал он, — что рукоприкладство и нанесение оскорблений караются законом и что мой долг...

— Что? — чуть ли не завопил Люк. — Рукоприкладство? Да это ты меня ударил! Не имеешь пра...

Луи взглянул на Люка с отеческой укоризной:

— Я имею все основания предполагать, что это ваше буйное поведение вполне может быть объяснимо воздействием алкоголя или какого иного возбуждающего средства, потому ради вашей же безопасности считаю своим долгом держать вас под надзором.

— Ты меня арестовываешь? — изумленно вскричал Люк. — По-твоему, я преступник?

— Ну а как же, это мой долг, — сказал Луи наставительно. — Вот и два свидетеля, — тут он кивнул в мою сторону, — могут подтвердить, что вы позволяли себе оскорбления, угрозы, выражались непристойно и нарушали общественный порядок. Попрошу вас следовать за мной в участок.

— Да у тебя и говенного участка-то нет! — вопил Люк.

— Он в свой подвал сажает пьяниц и дебоширов, — невозмутимо вставил Поль. — Правда ваша, вот уж пять лет нету у нас участка, с тех самых пор как Огюст Тино в последний раз напился.

— Зато у меня есть овощной погреб, который я могу, Луи, отдать в твое полное распоряжение, если боишься, что парень, не ровен час, по дороге в деревню впадет в буйство, — кротко сказала я. — Замок там у меня

надежный и крепкий, и ничего там с ним опасного не приключится.

Луи обдумывал мое предложение. Сказал, поразмыслив:

— Спасибо, *veuve Simon*. Пожалуй, это лучший выход. По крайней мере, пока приму решение, куда его девать после.

И он критически взглянул на Дессанжа, который на сей раз побелел уже не от злости.

— Вы все трое просто спятили, — тихо проговорил он.

— Но, конечно, первым долгом я должен вас обыскать, — невозмутимо сказал Луи. — Не то вы дом подожжете или еще что. Прошу вас, предъявите содержимое карманов.

Люк замотал головой.

— Нет, это просто бред какой-то, — бормотал он.

— Мне очень жаль, — не отставал Луи, — но я вынужден просить вас вывернуть карманы.

— Он вынужден! — кисло отозвался Люк. — Не знаю, зачем тебе все это, ведь достаточно мне обратиться к адвокату...

— Я ему помогу, — вставил Поль. — Ведь все-таки с наручниками шарить в карманах неловко.

Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, он проворно вторгнулся в карманы Люка и вытаскивал содержимое — зажигалку, несколько скатанных бумажек, ключи от машины, бумажник, пачку сигарет.

Напрасно Люк сопротивлялся и ругался. Озирался, видно, в надежде кого-то увидеть, чтобы призвать на помощь, но улица была пустынна.

— Один бумажник, — регистрировал Луи имущество Люка. — Одна зажигалка, серебряная; один мобильный телефон.

Он вскрыл пачку сигарет, вытряс к себе в ладонь. И тут на ладони Луи я заметила какую-то непонятную штучку. Маленький, неправильной формы кубик из чего-то коричневого, почти черного, как застарелый свалывшийся кофе.

— А это что такое? — флегматично спросил Луи.

— Пошел ты на хрен! — огрызнулся Люк. — Это не мое. Это ты подложил, старый мерзавец! — Это уже относилось к Полю, глядевшему на Люка с разгоравшимся изумлением. — Тебе не удастся мне это навесить...

— Может, и нет, — вяло сказал Луи. — Но можно и попытаться, а?

Луи оставил Дессанжа, как и обещал, в моем погребке. Сказал, что имеет право продержатъ его там без предъявления обвинения двадцать четыре часа. Взглянув на нас пытливо, он как бы походя заметил, что за это время нам надо все успеть. Славный малый этот Луи Рамондэн, хоть и не слишком расторопный. Правда, уж очень сильно похож на своего двоюродного деда Гийерма, и, видно, именно это обстоятельство затмило от меня на первых порах его природную добродетель. Надеюсь только, что у него не будет причин вскорости в ней раскаяться.

Сначала Дессанж в погребке бесновался и вопил. Требовал своего адвоката, свой мобильник, свою сестрицу Лору, свои сигареты. Кричал, что нос болит, что он сломан, что точно знает, осколки кости вот-вот врежутся ему в мозг. Барабанил в дверь, просил, угрожал, ругался. Мы старались не обращать внимания, и постепенно звуки затихли. В половине первого я принесла ему кофе, тарелку с хлебом и charcuterie;^[96] он сидел надувшись, но тихо, и снова в его глазах я прочла, что он что-то прикидывает.

— Вы просто, мамуся, тянете время, — сказал он, когда я нарезала хлеб на куски. — В вашем распоряжении всего двадцать четыре часа, ведь, как вы понимаете, едва я возьмусь за телефон...

— Нужна вам еда или нет? — резко спросила я. — Потому как поголодать вам немного вовсе не повредит, да и мне не придется выслушивать ваши гнусные угрозы. Ясно?

Он метнул на меня злобный взгляд, но заткнулся.

— Стало быть, ясно, — припечатала я.

7.

Мы с Полем изображали трудовую деятельность весь остаток дня. Было воскресенье, ресторан был закрыт, но еще полно работы оставалось в саду и огороде. Я рыхлила мотыгой грядки, обрезала ветки, полола сорняки, пока в поясице не стало жечь раскаленным стеклом и круги пота не выступили под мышками. Поль посматривал на меня из дома, не подозревая, что я посматриваю на него.

Двадцать четыре часа; от этой мысли во мне все горело и зудело, как от жгучей крапивы. Я понимала, надо что-то делать, но что можно сделать за двадцать четыре часа, додуматься была не в силах. Мы прижучили одного Дессанжа — по крайней мере, на время, — но остальные-то были на свободе и, как всегда, полны злых козней. А время истекало. Несколько раз я подходила к телефонной будке перед почтой, придумывала всякие дела,

чтоб около нее оказаться, однажды даже осмелилась набрать номер, но повесила трубку, даже не дождавшись ответа, понимая, что я решительно не знаю, что скажу. Выходило, куда ни глянь, везде вставала передо мной все та же жуткая явь, извечный кошмарный выбор.

Матерая с раскрытой пастью, оцетинившейся рыболовными крючками, с глазами, стеклянными от злости, и я тяну, несмотря на ее отчаянное сопротивление; сама, как минога на крючке, рвусь с него, как будто эта щука — часть меня, бьюсь, чтоб вырваться на свободу, но что-то черное в моей собственной душе извивается, корчится на леске, страшное, потаенное...

Из двух вариантов все свелось к одному. Можно было б рассмотреть и другие возможности, — например, чтоб Лора Дессанж пообещала оставить меня в покое в обмен на высвобождение своего братца, — но реальность из глубин сознания подсказывала: это не сработает. Единственное, чего мы добились своими действиями, — время, но я чувствовала, что этот выигрыш капля за каплей утекает у меня из рук, сколько ни ломай голову, придумывая, как им воспользоваться. Не воспользуюсь — и через сутки угроза Люка — «Возможно, завтра ваша маленькая горестная тайна просочится во все газеты и журналы» — и в самом деле воплотится в печатном слове, и тогда я потеряю все — ферму, ресторан, жизнь в Ле-Лавёз... Я понимала: единственный выход — использовать в качестве оружия правду. Но даже если я и отвоюю таким способом свой дом и свое дело, кто скажет, как отзовется все это на Писташ, на Нуазетт, на Поле?

Я скрипела зубами от безысходности. Не должно быть перед человеком такого страшного выбора, истошно выла моя душа. Не должно.

Яростно, ничего не видя перед собой, я охаживала мотыгой грядку с луком-шалотом и в запале уже рубила по самим растениям, выбивая из земли вместе с сорняками сверкающие луковички. Утерев с глаз пот, я поняла, что плачу.

Никто не должен выбирать между жизнью и ложью. Но ей все же пришлось. Мирабель Дартижан. Той, с фотографии: нитка фальшивого жемчуга, робкая улыбка. Той, с острыми скулами, с туго стянутыми назад волосами. Она все отдала — ферму, сад, своими руками вырытую крохотную жизненную норку, свое горе, свою правду, — все похоронила и, не оглядываясь, двинулась дальше. Лишь одна подробность отсутствует в ее альбоме, так тщательно собранном, со столькими параллелями, об одном-единственном факте, пожалуй, не могла она написать, потому что, скорее всего, о нем и не знала. Лишь его одного не хватает для завершения всей истории. Единственного факта.

Если бы не мои дочери, если б не Поль, говорила я себе, я рассказала бы все. Хотя бы в пику Лоре, чтоб не праздновала она свою победу. Но как же Поль? Мирный и непритязательный Поль, такой незаметный в своей молчаливости, тем самым умудрившийся незаметно для меня сломить мое сопротивление. Поль, такой смешной, заикающийся, в своих поношенных, мышинового цвета штанах; Поль, с его проворными пальцами, с его улыбчивой физиономией. Кто бы мог подумать, что через столько лет это будет именно он? Кто бы мог подумать, что я через столько лет снова вернусь домой?

Несколько раз я бралась за телефонную трубку. Номер я отыскивала в одном из старых журналов. В конце концов, Мирабель Дартижан уже давно в земле. Мне нет нужды беречь ее прах в тайных водах моей души, как Матерую на крючке. Теперь, говорила я себе, повторная ложь ничего не изменит. Как не позволит мне сейчас загладить свой грех то, что я открою правду. Но Мирабель Дартижан даже и в смерти своей остается непокорной. Я и теперь чувствую ее рядом, слышу ее голос, как завывание проводов под ветром, — приглушенно слышу ее пронзительно-резкий крик, и это все, что мне оставила память о ней. Пусть я никогда не пойму, сильно ли я ее в действительности любила. Ее любовь, эта тайна с изъяном, камнем тащит меня за собой в мрачную глубину.

И все же. Неправильно это. Голос Поля во мне, бесконечный, как река. Нельзя жить с ложью. За что мне такое испытание...

8.

Солнце уже клонилось к закату, когда он пришел за мной. Я уже так наработалась в саду, что все кости буквально зудели, орали от боли. В пересохшем горле будто застряла сотня рыболовных крючков. Голова кружилась. И все же я не обернулась, когда он тихонько встал сзади, ни слова не говоря, — зачем? — просто ждал, выжидал.

— Чего тебе? — рявкнула я наконец. — Прекрати пялиться на меня, ради бога, делом займись каким-нибудь.

Поль ничего не сказал. Плечи мне как будто жгло. И я развернулась, швырнув мотыгу прямо на грядки, и заорала на него, точь-в-точь как моя мать:

— Ну что за кретин! Да отцепись ты от меня, безмозглый старый дурень!

Наверное, мне хотелось его уязвить. Наподдать посильней, чтоб ему

было больно, чтоб он шарахнулся от меня разозленный, разобиженный, а он смотрел прямо мне в глаза — смешно, ведь я всегда считала, что в этой игре никому меня не победить, — в своем неистребимом долготерпении, не двигаясь с места, молча, просто поджидая, пока я выдохнусь, чтоб вступить самому. Я резко отвернулась, испугавшись услышать то, что он скажет, в страхе перед этой кошмарной его кротостью.

— Я сготовил нашему гостю ужин, — сказал он наконец. — Может, и ты поешь чего?

Я замотала головой:

— Я хочу одного, чтоб меня оставили в покое! Слышно было, как Поль вздохнул за моей спиной.

— И та такая же была, — сказал он. — Мирабель Дартижан. Ни от кого помощи не принимала. Нет. Даже от себя самой. — Он говорил тихо, задумчиво. — Знаешь, ты здорово на нее похожа. Слишком даже. Себе на горе, да и другим тоже.

Я прикусила губу, чтоб не сорвалось резкое слово; я по-прежнему на него не смотрела.

— Сама своим упрямством всех от себя отваживала, — продолжал Поль. — Так и не узнала, что, скажи она слово, ей бы тотчас помогли. Но она и слова не сказала, верно? Ни одной живой душе.

— Думаю, она не могла, — холодно сказала я. — Есть такое, что не скажешь. Слова... не идут.

— Посмотри на меня, — сказал Поль.

В последних лучах заката его лицо алело и казалось юным, несмотря на морщины и желтые от никотина усы. Небо у него за спиной было яркочерное, опущенное облаками.

— Приходит момент, когда надо рассказать, — произнес он серьезно. — Записки твоей матери я не зря столько времени изучал. И что бы ты там ни думала, не такой уж я дурак.

— Прости, — сказала я. — Нечаянно сорвалось. Поль тряхнул головой.

— Я понимаю. Конечно, не так я умен, как Кассис или ты, только иногда, мне кажется, умные-то как раз скорей и остаются в проигрыше. — Он улыбнулся и постучал себя пальцем по лбу. — Слишком много тут всего вертится, — добродушно добавил он. — Слишком много.

Я смотрела на него.

— Знаешь, болит-то не от правды, — продолжал он. — Если б она это поняла, ничего такого могло б и не случиться. Если б она их помочь попросила, вместо того чтоб упрямство свое выставлять, как она всегда и делала...

— Нет! — сказала я резко. — Ты не понимаешь. Правды она не знала. Так ее и не узнала. Но если б узнала, скрывала бы, даже от себя самой. Ради нас. Ради меня. — Я задыхалась, знакомый прилив кислоты, взрыв из желудка, сдавил горло. — Не ей надо было признаваться. Нам. Мне. — Я сглотнула жгучую слюну. — Мне, и только мне одной. — С трудом проговорила я. — Только я знаю все до конца. Это мне не хватило смелости...

Я осеклась, снова посмотрела на него, на его ласково и грустно улыбающуюся физиономию, на то, как он стоял, согнувшись, точно мул, под тяжестью давней и тяжелой ноши, в своем терпении, в своем спокойствии. Как я ему завидовала. Как нуждалась в нем.

— Тебе смелости хватит, — наконец промолвил Поль. — Всегда хватало.

Мы глядели друг на друга. И молчали.

— Ладно, — сказала я. — Выпускай!

— Ты уверена? А как же таблетки, которые Луи у него нашел?..

Тут я расхохоталась на удивление легко при моем пересохшем горле.

— Уж мы-то с тобой знаем: не было у него таблеток! Небольшое лукавство, только и всего, сам же подкинул ему, когда по карманам шарил, — я снова рассмеялась, увидев, как он опешил. — Ох и шустрые у тебя, Поль, пальцы, прямо как у карманника! Думаешь, один ты такой наблюдательный?

— И что же ты будешь делать? — спросил Поль. — Когда он все расскажет Яннику с Лорой...

Я махнула рукой:

— А, пусть рассказывает!

Внутри вдруг стало легко. Как никогда не бывало; точно пух на глади воды, меня щекотал смех, смех безумца, готового все, что у него есть, кинуть на ветер. Сунув руку в карман передника, я достала клочок бумаги с написанным на нем номером телефона.

Потом, хорошенько подумав, я отыскала свою маленькую адресную книжку. Полистала, нашла нужную страницу.

— По-моему, теперь я знаю, что делать, — сказала я.

9.

Пирог с яблоком и курагой. Взбить яйца и муку с сахаром и растопленным маслом в густую пену. Не переставая мешать, понемногу

добавить молока. Чтоб получилось жидкое тесто. Смазать посуду обильно маслом и добавить в тесто нарезанные фрукты. Добавить в тесто корицу с гвоздикой и поставить в духовку на средний жар. Когда пирог начнет подниматься, посыпать сверху коричневым сахаром и сбрызнуть маслом. Печь, пока верхушка не подсохнет и не затвердеет.

Урожай выдался скудный. Винить приходилось засуху и последующие затяжные дожди. Но все равно мы все с большим нетерпением ждали празднования в конце октября, даже Рен, даже мать, которая готовила свои самые лучшие торты, и уставляла подоконники мисками с фруктами и овощами, и еще пекла красивые замысловатые, причудливые караваи — в виде снопа, в виде рыбы, в виде корзины с яблоками — на продажу в Анже. Деревенская школа в прошлом году, когда учитель переехал в Париж, закрылась, но воскресная еще действовала.

В тот день все ученики воскресной школы в самой нарядной своей одежде выстроились с пением и со свечками в руках у фонтана — на языческий манер украшенного цветами, фруктами и колосьями, крупными тыквами, разноцветными тыквочками с выдолбленной сердцевинкой, превращенными в фонарики. Служба продолжилась в церкви, алтарь которой был задрапирован зеленой тканью с золотом, и церковные гимны плыли через площадь, где мы стояли и слушали, замороженные сладостью недозволенного, а именно: жатвой избранных божьих и сжиганием соломы. Мы ждали окончания службы и присоединялись вместе с остальными к празднествам, а кюре выслушивал в церкви исповедывающихся, и от праздничных костров по четырем углам убранных полей веяло сладковатым дымком.

Тогда-то и устраивалась ярмарка. Ярмарка урожая, со схватками борцов, со скачками и всякими другими соревнованиями — по танцам, по ныряниям в воду за яблоками, по количеству съеденных блинчиков, по гусиным бегам, — с горячими пряниками и сидром, которые получали в награду и победители, и побежденные, и с целыми корзинами съестного домашнего приготовления, распродававшегося у фонтана, в то время как Королева урожая сидела улыбаясь на своем желтом троне и осыпала цветами всех вокруг.

В этот год мы даже не заметили, как подошло это время. Чаще всего мы ждали его даже с большим нетерпением, чем Рождество, ведь подарки в те годы были явление редкое, а декабрь не самая лучшая пора для празднеств. Октябрь — стремительный, такой сочный, такой ароматный в своем золотисто-алом сиянии, с ранними белыми заморозками, с ярким преображением листьев — это совсем другая, волшебная пора, последний

дерзкий ликующий всплеск перед лицом надвигающейся стужи. В иные годы мы бы уже за месяц до праздников запасли поленницу дров и гору сухих листьев где-нибудь под навесом, заготовили бы ожерелья из диких яблок и мешки с орехами, отутюжили бы лучшее из одежды, начистили бы для танцев ботинки. Можно было бы устроить отдельное празднование на Наблюдательном Пункте, повесить венки на Сокровищный Камень и бросать головки алых цветов в медленно текущую Луару, нарезать и посушить в духовке груши и яблоки, плести гирлянды из желтых колосьев, вплетая их на счастье в косички и оплетая сласти и фрукты, втайне замышляя подшутить над кем-то, и в животе урчало от жадного предвкушения.

Но в этот год такого почти не было. С мрачных событий в ту ночь у «La Mauvaise Réputation» начался спад; после этого пошли письма, слухи, надписи на стенах, шепот у нас за спиной и вежливое молчание при встрече. Считали, нет дыма без огня. Обвинений («НАЦИСКАЯ ШЛЮХА», выведенное красной краской сбоку на нашем курятнике, появлявшееся снова и снова, несмотря на наши многочисленные попытки стереть), нежелания матери ни признать, ни отместить сплетни, а также ее хождения в «La Rép», раздувавшиеся и жадно передававшиеся из уст в уста, — всего этого было достаточно, чтобы еще сильнее возбудить подозрения. В тот год пора урожая стала для семьи Дартижан безрадостной порой.

Другие разжигали костры и вязали снопы. Дети подбирали колоски по рядкам, чтоб ни одно зернышко не пропало. Мы собрали последние яблоки — то есть те, что не прогнили от внедрившихся ос, — и разложили их на лотках в погребе, чтоб не соприкасались между собой, чтоб не распространялась гниль. Овощи мы хранили в овощном погребе в ларях, слегка присыпая сверху сухой землей. Мать, хотя в Ле-Лавёз на ее изделия теперь почти не было желающих, все-таки пекла свои фирменные караваи и без проблем продавала их в Анже. Помню день, когда мы нагрузили тележку хлебами и тортами и отправились на рынок, как солнце золотило поджаристую верхнюю корочку — с желудями, с ежиками, с корчившими рожи масками, — блестящую, точно полированный дуб. Кое-кто из деревенских ребят перестал с нами разговаривать. Однажды, когда Ренетт с Кассисом ехали в школу, из прибрежных зарослей тамариска их забросали комьями земли. По мере приближения к празднику девчонки начали выставляться друг перед дружкой, с особой тщательностью расчесывали волосы и умывались овсяным отваром, ведь в торжественный день одну из них выберут Королевой урожая, на голову наденут корону из ячменных

метелок и дадут кувшин с вином. Меня это совершенно не интересовало. При моих коротко стриженных вихрах и пучеглазости нечего было и мечтать о счастье стать Королевой урожая. К тому же без Томаса вообще все не имело значения. Я только и думала, увижу ли его еще когда-нибудь. Сидела на берегу Луары при своих удочках и ловушках и не сводила глаз с воды. И сама не знаю почему, упрямо верила: вот поймаю щуку — и Томас непременно вернется.

10.

Утро Дня урожая выдалось холодным и солнечным, с особым, присущим октябрю тускло-янтарным сиянием. Мать в эту ночь не ложилась скорее из некоторого упрямства, чем из любви к традиции: пекла пряники, серые гречневые блинчики, варила ежевичное варенье, потом все это уложила в корзины и вручила нам, чтоб отнесли на ярмарку. Идти туда я не собиралась. Подоила козу, доделала оставшиеся воскресные дела по хозяйству, потом отправилась к реке. Накануне я поставила особо хитрую ловушку: несколько клетей и канистр связала между собой с помощью проволочной сетки, а наживку из кусочков рыбы насадила у самого края берега, — и мне не терпелось ее осмотреть. Ветер доносил вместе с дымком первых осенних костров запах свежескошенной травы; этот аромат, острый, вековой, напоминал о прежних безмятежных днях. И мне, шагавшей через кукурузные поля к Луаре, тоже казалось, будто мне миллион лет. Что я уже давным-давно живу на этой земле.

Поль подждал меня у Стоячих Камней. Не удивился, меня увидав, бегло перевел взгляд от удочки на меня и снова уставился на пробковый поплавок на воде.

— Ч-то, на ярмарку н-не идешь? — спросил он.

Я замотала головой. И тут поняла, что не видала Поля с тех самых пор, как мать выгнала его от нас. Внезапно я почувствовала жгучий укор совести, что забыла про старого друга. Наверное, поэтому я присела на берегу с ним рядом. Конечно, вовсе не ради общения. Мне остро хотелось побыть одной.

— Я т-тоже.

В то утро Поль был мрачный, лицо какое-то кислое, брови задумчиво сдвинуты тревожно, по-взрослому.

— Эт-ти идиоты там нап-пьются и н-ну плясать. Т-тоже мне веселье!

— Да ну их. — Бурные завихрения воды внизу привораживали взгляд. —

Хочу все ловушки свои обойти. Потом думаю попробовать с большой оттели. Кассис говорит, туда иногда щуки заплывают.

Поль покосился на меня недоверчиво и сухо бросил:

— Н-не поймашь ты ее.

— Это почему?

Он повел плечами:

— Не п-поймашь, и все.

Некоторое время мы сидели рядом с удочками, солнце медленно грело нам спины, один за другим падали на водный шелк желто-красно-черные листья. Издали от церкви через поля приплыл мелодичный колокольный звон, возглашавший конец службы. Ярмарка начнется минут через десять.

— А твои идут? — Поль вынул изо рта гревшегося у него за левой щекой червяка и ловко насадил его на крючок.

— Не знаю, — повела я плечами.

В последующей тишине из живота Поля послышалось урчание.

— Есть хочешь?

— Не-а.

И в этот момент я его услышала, ясно и отчетливо, со стороны анжейской дороги. Сначала едва различимый, но становившийся все громче, точно гудение сонной осы. Громче, точно шум крови в висках после стремительного пробега через поле. Звук единственного в мире мотоцикла.

Внезапный шквал паники. Поль не должен его видеть. Если это Томас, я должна быть одна, а по тому, как болезненно сжалось сердце, я с упоительной очевидностью поняла, что это именно он.

Томас.

— Может, все-таки пойдем, взглянем? — предложила я с деланным безразличием.

Поль промычал что-то неопределенное.

— Там будут пряники, — сказала я хитро. — И печеная картошка, и сладкая жареная кукуруза, и пирожки, и сосиски будут жарить в костре на углях.

В животе у него заурчало громче.

— Мы только сунемся, урвем чего-нибудь, — не унималась я.

Молчание.

— Кассис и Рен там будут.

По крайней мере, я на это надеялась. Я рассчитывала на их присутствие, чтобы можно было поскорей улизнуть обратно, к Томасу. Сознание того, что он рядом, и невыносимо жаркая радость, наполнявшая

меня при мысли, что я его увижу, жгли каждый мой шаг, как раскаленные камни.

— А о-она там будет?

От ненависти голос Поля снизился до шепота, что при других обстоятельствах вызвало бы у меня удивление. В злобных чувствах Поля было немислимо заподозрить.

— В смысле, твоя м-м-м... м-м-ма... Замотав головой, я перебила его неожиданно резко для себя самой:

— Не думаю. Да ну тебя, Поль, с твоим заиканием с ума сойти можно!

Поль невозмутимо пожал плечами. Теперь звук мотоцикла слышался вполне отчетливо с дороги, уже, вероятно, милях в двух от нас. Я сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони.

— Вообще, — сказала я уже мягче, — вообще, ничего такого в этом нет. Просто она не понимает, вот и все.

— Она там б-будет? — не унимался Поль.

— Нет, — наврала я, мотая головой, — говорила, собирается с утра козий загон чистить.

Поль кивнул и покорно сказал:

— Ладно, пошли.

11.

Томас может прождать у Наблюдательного Пункта около часа. День стоял теплый; спрячет в кустах свой мотоцикл, закурит сигарету. Если поблизости никого не окажется, может, рискнет искупаться. Если никто из нас через час не появится, напишет записку и оставит, например, в аккуратном свертке с журналами или конфетами на верхушке Наблюдательного Пункта, в развилке под помостом. Я знаю; он так раньше делал. Пока я могу спокойно отправиться с Полем в деревню, а потом улучу момент и тайком от всех ускользну обратно. Кассису и Ренетт не скажу, что он здесь. Меня охватила жадная радость при этой мысли, я представила, как его лицо при виде меня озаряется улыбкой, и эта улыбка принадлежит только мне одной. Думая только об этом, я буквально тащила Поля в деревню, жаркой рукой сжимая его холодную лапу, липкая от пота челка застилала глаза.

Площадь вокруг фонтана была уже наполовину заполнена народом. Много людей уже высыпало из церкви, прямо после исповеди, — детишки со свечками в руках, молоденькие девушки в венках из осенних листьев,

несколько молодых парней. С ними и Гийерм Рамондэн, пожиравший глазами девушек, уже вышавшая очередной плод грешных помыслов. Может, и выгорит, если повезет; пора урожая — самое время, бóльших радостей в нашей жизни не было. Я увидела Кассиса с Ренетт, стоявших слегка в стороне от основной толпы. На Рен было красное фланелевое платье и ожерелье из ягод. Кассис жевал сладкую булку. С ними никто особо, как видно, не общался; вокруг будто образовалось кольцо молчания. Смех Ренетт взрывался пронзительно, точно птичий крик. Чуть поодаль стояла, посматривая на них, моя мать с корзиной булочек и фруктов. Такая безрадостная на фоне праздничной толпы, черное платье и платок резали глаз среди цветов и ярких красок праздника. Поль рядом со мной вмиг напрягся.

Несколько человек у фонтана пели что-то. Кажется, это были Рафаэль, Колетт Годэн, дядька Поля — Филипп Уриа с нелепым желтым платком вокруг шеи, Аньез Пети в праздничном платье, в лакированных туфельках и с короной из ягод на голове. Помню, на мгновение ее голос — не слишком стройный, но приятный и чистый, — взвился над остальными, и меня кинуло в дрожь, даже волосы зашевелились, словно тень, в которую Аньез суждено обратиться, уже летала прежде над моей могилой. Я до сих пор помню слова песни, которую она пела:

A la claire fontaine j'allais me promener
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.^[97]

Сейчас Томас, если это он прикатил, уже у Наблюдательного Пункта. Но Поль словно ко мне приклеился, явно не желая соваться в толпу. Нервно покусывая губы, он глаз не сводил с моей матери, стоявшей по ту сторону фонтана.

— Ты, к-кажется, сказала, ее н-не будет, — проговорил он.

— Откуда я знала! — буркнула я.

Мы немного еще постояли, поглазели на народ, высыпавший из церкви и спешивший подкрепиться. На бортике вокруг фонтана были выставлены кувшины с сидром и вином, и многие женщины, как и моя мать, принесли хлеб, булочки и фрукты и раздавали их у церковных дверей. Я отметила, что мать стоит несколько в стороне и мало кто подходит к ней за съестным, которое она так старательно готовила. Однако вид у нее был невозмутимый, даже несколько равнодушный. Лишь руки выдавали ее: белые, нервные пальцы так и впились в ручку корзины. Побелевшие губы

закушены, лицо бледное.

Я нервничала. Поль неотвязно торчал рядом. Одна из женщин — кажется, сестрица Рафаэля, Франсин Криспэн, — протянула было Полю корзинку с яблоками, но заметила меня, и улыбка исчезла с ее лица. Почти все видели надпись на стене нашего курятника.

Из церкви вышел священник, отец Фрома. Его близорукие кроткие глазки сегодня гордо светились при виде своей сплотившейся паствы, золоченое распятие на шесте в его руках победно парило в небе. За ним двое мальчиков-служек несли Пресвятую Деву на желтом с золотом помосте, украшенном ягодами и осенними листьями. Ученики воскресной школы выстроились со свечками небольшой процессией и запели гимн урожаю. Девушки прихорашивались, играли улыбками. Ренетт тоже вострепелась. Потом двое молодых парней вынесли из церкви королевский трон. Он был из простой соломы, верхушка и подлокотники — из кукурузных початков, а подушечка — из осенних листьев, но в тот момент, озаренный солнцем, он казался почти золотым.

У фонтана поджидало, должно быть, с полдюжины молоденьких девушек-претенденток. Помню их всех: Жаннетт Криспэн в своем обтягивающем платье для причастия; рыжеволосая Франсин Уриа с таким множеством веснушек, что их никакими отрубями не выведешь; Мишель Пети с косичками и в очках. Ни одна из них и в подметки не годилась Ренетт. И они это знали. Я поняла это по тому, с какой завистью и настороженностью они поглядывали на нее, стоявшую слегка в стороне от остальных в своем красном платье, с длинными распущенными волосами и с вплетенными в них ягодами. Правда, и с некоторым злорадством: в этом году Рен Дартижан явно не быть Королевой урожая. Куда там; при таких слухах, что вились вокруг нас, как сухие листья под ветром.

Священник начал речь. Я слушала с нарастающей тревогой. Томас, наверное, там заждался. Чтоб не упустить его, пора вот-вот сбегать. Поль стоял бок о бок со мной и с дурацким упрямством глядел за фонтан.

— Это был год суровых испытаний, — голос кюре мирно зудел в ушах, как далекое блеяние овцы. — Но мы сумели пройти через них благодаря вашей вере и вашей решимости.

Я уловила в толпе нетерпение, сходное с моим. Они уже выдержали длинную службу. Уже пора короновать королеву, пора переходить к танцам и веселью. Я заметила, как какой-то малыш вытянул из материнской корзинки пирожок и незаметно от нее с жадностью, давясь, уплетает.

— Теперь пора перейти к веселью!

Это другое дело. По толпе пронесся гул одобрения и нетерпения. Отец Фрома тоже это уловил.

— Я лишь прошу, чтоб вы во всем соблюдали умеренность, — проблеял он. — Помните, какой праздник мы отмечаем, и помните о Том, без Кого не знали бы вы ни урожая, ни благости.

— Закругляйтесь, отче! — резко и насмешливо выкрикнул кто-то со стороны церкви.

Обиженно нахохлившись, отец Фрома все же сдался.

— Всему свое время, mon fils, ^[98] — укоризненно отозвался он. — Но, как я уже сказал, теперь наступило время начать празднество и с благословения Господа нашего избрать девицу в возрасте от тринадцати до семнадцати лет Королевой урожая, владычицей нашего праздника, и венчать ее короной из колосьев ячменя!

Его слова перекрыла добрая дюжина выкриков с именами, порой самыми несуразными. Рафаэль заорал:

— Аньез Пети!

И Аньез, которой было все тридцать пять, зарделась в смущении от счастья и в тот момент стала даже хорошенькая.

— Мюрель Дюпре!

— Колетт Годэн!

Женушки при таких комплиментах, визжа, в шутливом гневе кидались целовать мужей.

— Мишель Пети! — заорала мать Мишель из чистого упрямства.

— Жоржетт Лемэтр!

Анри выкрикнул имя своей девяностолетней бабки, дико ржа от собственного остроумия.

Несколько парней назвали имя Жаннетт Криспэн, и она, раскрасневшись, уткнула в ладони лицо. И вдруг Поль, до того молча стоявший рядом, внезапно выступил вперед.

— Рен-Клод Дартижан! — громко выкрикнул он, нисколько не заикаясь, голосом мощным, почти как у взрослого, мужским голосом — ничего общего с его растянуто-робким бормотанием.

— Рен-Клод Дартижан! — снова повторил он, и все с любопытством, перешептываясь, повернулись к нему.

— Рен-Клод Дартижан! — опять выкрикнул Поль и пошел, держа в руке ожерелье из диких яблок, прямо через площадь к ошарашенной Ренетт.

— Вот, это тебе, — сказал он уже тише, по-прежнему без заикания, и надел ожерелье Ренетт. Маленькие красно-желтые яблочки сияли в

красноватых лучах октябрьского солнца.

— Рен-Клод Дартижан! — еще раз сказал Поль и, взяв Рен за руку, возвел ее по ступенькам на соломенный трон.

Отец Фрома смолчал, неловко улыбаясь, но позволил Полю водрузить корону из ячменных колосьев на голову Ренетт.

— Отлично, — тихо сказал священник. — Отлично. — И громче добавил: — Отныне провозглашаю Рен-Клод Дартижан Королевой урожая этого года!

Может быть, всем слишком хотелось поскорей приобщиться к вину и сидру, в большом количестве принесенным сюда. Может быть, все опешили, услышав, как малыш Поль Уриа впервые в жизни заговорил не заикаясь. А может, достаточно было лишь взглянуть на Ренетт, оказавшуюся на троне: губы — как спелые вишни, солнце светится в волосах, окружая их ярким ореолом. Многие захлопали в ладоши. Некоторые даже радостно выкрикивали ее имя — в основном мужчины, отметила я, — даже Рафаэль и Жюльен Ланисан, которые были в ту ночь в «La Mauvaise Réputation». Но кое-кто из женщин не хлопал. Их было немного, всего несколько, но достаточно. Одна из них — мать Мишель, и еще такие злостные сплетницы, как Марта Годэн и Изабель Рамондэн. И все-таки их было мало, и пусть кто-то не особенно был рад, но в конце концов даже недовольные присоединились к толпе. Кое-кто даже заплодировал, когда Рен стала кидать ученикам воскресной школы цветы и фрукты из своей корзинки. Начав потихоньку продвигаться из толпы, я бросила взгляд на мать и поразилась ее внезапному преображению: взгляд неожиданно сделался мягким и теплым, щеки зарделись, глаза сияли почти так же, как на забытой свадебной фотографии; сорвав с головы платок, мать буквально бегом кинулась к Ренетт. Мне кажется, только я заметила этот порыв. Все остальные смотрели на мою сестру. Даже Поль глядел на нее, стоя сбоку у фонтана, с тем же, будто и вовсе не исчезавшим, дурацким выражением. Что-то во мне сжалось. Влага так резко обожгла глаза, и на мгновение я решила, что какое-то насекомое — чуть ли не оса — случайно залетело в глаз.

Кинув недожеванную булку, я повернулась, готовая незаметно сбежать. Томас ждет.

Внезапно уверенность в том, что Томас ждет меня, ослепила. Томас, который любит меня. Томас, только Томас, навсегда и навеки. Я на мгновение обернулась, чтоб навсегда сохранить в памяти: моя сестра — Королева урожая, самая красивая из всех на свете королев, в одной руке сноп, в другой какой-то круглый блестящий плод — яблоко? гранат? —

вложенный ей в ладонь отцом Фрома; их взгляды встретились, он улыбается своей сладенькой овечьей улыбкой, и — мать: ее улыбка, будто отпрянув, застывает на посветлевшем лице, ее пронзительный голос летит ко мне сквозь веселье толпы: «Что это? Господи, что это? Кто тебе это дал?»

И тут, воспользовавшись замешательством, я сорвалась с места. Меня душил хохот, невидимое осиное жало по-прежнему жгло веки, я бежала что есть силы обратно к реке, в голове был полный туман. То и дело приходилось останавливаться, подавлять сдавливающие живот спазмы, до жути похожие на смех, но вместо смеха выжимавшие из глаз слезы. Это был апельсин! Припасенный с заботой и любовью специально для такого случая, хранимый в мягкой бумажке для Королевы урожая, опущенный в ее ладонь, как раз когда мать... когда мать... Смех разжигал кислотой меня изнутри, и боль была особенная, швырявшая меня на землю, вонзавшаяся в меня, как в рыбу крючок. То выражение на лице моей матери до сих пор вызывает у меня болезненные судороги: триумф, переходящий в страх — какое там, в ужас — при виде какого-то апельсина. В промежутке между спазмами я бежала что есть силы, прикидывая про себя, что до Наблюдательного Пункта бежать, наверное, минут десять плюс то время, что пришлось проторчать у фонтана, — минут двадцать, не меньше, — задыхаясь от страха, что Томас, возможно, уже ушел.

Сейчас, твердила я себе, сейчас я его попрошу. Я попрошу его сейчас взять меня с собой, все равно куда, в Германию, в лес, и убежать, навеки. Куда он только захочет, и мы с ним... Мы с ним... Я бежала и молила Матерую, не чувствуя, как колючки впиваются в ноги. Прошу тебя... Томас. Пожалуйста! Только ты. Навеки. Во время своей бешеной гонки через поля я не встретила ни души. Все были там, на празднике. Подбегая к Стоячим Камням, я громко выкрикивала его имя, мой голос, пронзительный, точно крик удода, разрывал шелковую тишину реки. Неужели ушел?

— Томас! Томас! — я охрипла от смеха, охрипла от страха. — Томас! Томас!

Он возник так быстро, что я и не заметила. Скользнул из-за кустов, одной рукой сжав мне запястье, другой зажимая рот. В какой-то момент я даже его не узнала — лицо было в тени — и стала отчаянно вырываться, попыталась укусьить за руку, взывая по-птичььи из-под его ладони.

— Тс-с-с, Уклейка! Какого черта ты дерешься?

Узнав его голос, я перестала сопротивляться.

— Томас, Томас, — безудержно повторяла я его имя, знакомый запах табака и пота от его одежды щекотал ноздри.

Вцепившись в его китель, я почти зарылась в него лицом, о чем и помыслить не смела два месяца назад. Окунувшись в тот таинственный полумрак, я с отчаянной страстью целовала подкладку.

— Я знала, что ты вернешься. Я знала.

Он смотрел на меня и молчал. Потом спросил:

— Ты одна?

Глаза его как-то странно, настороженно сузились. Я кивнула.

— Отлично. Теперь слушай меня.

Он сказал это медленно, с расстановкой, с особым нажимом. Нет сигареты в уголке рта, в глазах ни единой искорки. Мне показалось, что за эти недели он заметно похудел, лицо осунулось, даже губы опали.

— Прошу тебя, слушай внимательно.

Я покорно кивнула. Как скажешь, Томас. Глазам стало ярко, жарко. Только ты, Томас. Только ты. Мне хотелось рассказать ему про мою мать, и про Рен, и про апельсин, но я чувствовала, что сейчас не время. Я слушала его.

— Возможно, к вам в деревню придут, — сказал он. — Солдаты в черной форме. Ты знаешь, кто это?

Я кивнула:

— Да. Немецкие полицейские. Эсэс.

— Правильно. — Он говорил отрывисто, тревожно, ни следа от его привычной, небрежно-растянутой манеры. — Возможно, будут спрашивать.

Я смотрела на него, не понимая.

— Спрашивать обо мне, — сказал Томас.

— Зачем?

— Неважно. — Его рука по-прежнему сильно, чуть ли не до боли, сжимала мне запястье. — Могут кое о чем у тебя спросить. Например, чем мы с вами занимались.

— Это ты про журналы и всякие вещи?

— Например. И про того старика в кафе. Гюстава. Который утонул.

Лицо его исказила неприятная гримаса. Он развернул меня к себе, взглянул в самые глаза. От воротника и изо рта у него пахло сигаретами.

— Послушай, Уклейка. Это очень важно. Ты не смей им ничего рассказывать. Ты со мной не разговаривала. Ты меня в глаза не видела. В «La Réр» ты в ту ночь, когда были танцы, не была. Ты даже имени моего не знаешь. Поняла?

Я кивнула.

— Запомни, — не отставал Томас. — Ты ничего не знаешь. Ты со мной никогда не общалась. Предупреди остальных.

Я снова кивнула, и он вроде слегка успокоился.

— И вот еще что, — голос у него уже не был резкий, почти ласковый. И мне стало внутри тепло-тепло, как будто там расплавилась карамелька. Я с надеждой взглянула на него.

— Больше я не смогу сюда приезжать, — мягко сказал он. — Особенно сейчас. Это становится слишком опасно. Мне удалось вырваться в последний раз.

На мгновение я опешила. Потом робко сказала: — Тогда можно в кино встречаться. Как тогда. Или где-нибудь в лесу.

Томас с досадой тряхнул головой:

— Ты что, оглохла? Мы не должны встречаться вообще. Нигде.

Холод словно снежинками овеял кожу. Голову заволокло темным облаком.

— И надолго? — шепотом спросила я наконец.

— Надолго, — несколько раздраженно бросил он. — Может быть, навсегда.

Я сжалась, меня всю трясло. Холодное покалывание перешло в нестерпимое жжение по всему телу, будто я каталась по крапиве. Томас сжал ладонями мое лицо.

— Послушай, Фрамбуаз, — медленно сказал он. — Прости меня. Я знаю, ты... — он внезапно осекся. — Я знаю, что это тяжело.

Он улыбнулся широко и вместе с тем как-то жалко, как дикий зверь, если бы тот мог по-доброму улыбаться.

— Я принес вам кое-что, — сказал он наконец. — Журналы, кофе. — Снова та же натянуто-бодрая улыбка. — Жвачку, шоколад, книжки.

Я молча смотрела на него. Сердце комком холодной глины тяжело застыло в груди.

— Ты это припрятал, хорошо? — сказал он, сверкнув глазами, как ребенок, поверяющий сокровенную тайну. — И никому про то, что мы встречались, не говори. Ни единой душе.

Он повернулся к кустам, из которых появился, и вытянул сверток, перевязанный бечевкой.

— Разверни, — велел он. Я тупо уставилась.

— Давай, давай, — сказал он притворно весело. — Это тебе.

— Мне ничего не надо.

— Да ну, Уклейка, брось!

Он протянул руку, чтоб обнять меня за плечи, но я оттолкнула его.

— Сказала, не надо!

Внезапно он стал мне ненавистен со всеми его подарками, и вновь,

точно мать, визгливо, резко я выкрикнула:

— Не надо мне этого, не хочу!

Он смотрел на меня и беспомощно улыбался.

— Ну будет, — повторял он. — Ну не надо так. Я ведь только...

— Давай убежим! — внезапно вырвалось у меня. — Я знаю столько мест в лесу. Давай убежим, и никто даже не догадается, где нас искать. Будем ловить диких кроликов на еду, еще можно грибы, ягоды... — лицо у меня горело, пересохшее горло саднило. — Нас никто не найдет, — не унималась я. — Никто не узнает, где мы.

Но по его лицу я поняла, что все напрасно.

— Нельзя, — припечатал он.

Я почувствовала, как слезы заливают мне глаза.

— Ну побудь х-хотя бы еще немного! — бормотала я, запинаясь, глупая, жалкая, совсем как Поль, но уже ничего поделать с собой не могла. Внутренне я уже была готова в ледяном, гордом молчании отпустить его восвояси, а слова сами собой, спотыкаясь, рвались наружу:

— Пожалуйста! Ну хоть сигарету закури, или искупайся, или, может, рыбу вместе половим?

Томас отрицательно покачал головой. И внутри у меня медленно, но неотвратимо все понеслось в пропасть. Вдруг вдали донеслось звяканье металла о металл.

— Ну хоть еще чуть-чуть! Ну пожалуйста! Как я ненавидела тогда и свой жалкий голос, и эту ничтожную, жалобную мольбу:

— Идем, я покажу тебе свои новые ловушки! Покажу свою плетенку для щуки!

Его молчание было убийственно; холодно, как могильный склеп. Я чувствовала, что наше с ним время неумолимо утекает от меня. И снова издали донеслось звяканье, как будто к хвосту собаки привязали жестянку. И тут я поняла, что это за звук. И волна отчаянной радости захлестнула меня.

— Пожалуйста! Это важно! — заорала я теперь отчаянно, как маленькая, уже с искрой надежды, и слезы были на подходе, готовые жарко излиться из глаз, застревая комом в горле. — Не останешься, я все расскажу! Все, все, все расскажу...

Он коротко, нехотя кивнул:

— Пять минут! Ни минутой больше. Идет? Слезы мигом высохли.

— Идет!

12.

Пять минут. Я знала, что теперь делать. Это был наш последний — мой последний — шанс, и сердце, которое теперь билось, точно молот, зарядило отчаявшееся существо неистовой музыкой. Он дал мне пять минут! Переполненная ликованием, я потащила его за руку к большой отмели, где поставила последнюю свою ловушку. Мольба, которой были заняты все мои мысли, когда я бежала из деревни, превратилась теперь в вопящий, громовой императив — только ты только ты о Томас умоляю умоляю умоляю, — сердце билось с такой силой, что, казалось, лопнут барабанные перепонки.

— Куда это мы? — спросил он спокойно, насмешливо, немного равнодушно.

— Мне надо кое-что тебе показать, — задыхаясь, проговорила я, сильней потянув его за руку. — Это очень важно. Скорей!

Я слышала, как дребезжат жестяные банки, которые я прикрепила к канистре из-под масла. Там что-то есть, твердила я себе с внезапно охватившей меня радостной дрожью. Что-то крупное. Жестянки неистово подпрыгивали на воде, гремя о канистру. Ниже под водой ходили ходуном две клетки, связанные между собой проволокой.

Там есть что-то. Должно что-то быть.

Из тайника за насыпью я вытащила деревянный шест, чтобы подцепить им и вытащить на поверхность тяжелый улов. Руки дрожали так, что при первой попытке я чуть не упустила шест в воду. Крюком, укрепленным на конце шеста, я отъединила клетки от поплавков, отпихнула прочь большую канистру. Клетки, взбрыкнув, заплесали в воде.

— Ой, тяжело! — вскрикнула я.

Томас наблюдал за мной с некоторым замешательством.

— Да что там у тебя?

— Ну тянись же! Ну пожалуйста! — Я тянула клетки из воды, силясь вытащить их на крутую песчаную насыпь. Вода ручьями текла сквозь дощатые щели. Что-то большое и сильное скользило и билось внутри.

Стоявший рядом Томас тихонько прыснул.

— Ну, Уклейка, — выдохнул он. — По-моему, ты наконец ее поймала. Ту самую старую щуку. Lieber Gott, ^[99] ну и громадина!

Я уже не слушала. Дыхание, как наждак, рвало горло. Голые пятки скользили по грязи, беспомощно сползая в реку. То, что я тащила обеими руками, дюйм за дюймом притягивало меня к себе.

— Нельзя, Чтоб она ушла! — хрипло, задыхаясь, твердила я. — Не хочу! Не хочу!

Я подтянулась на шаг назад по насыпи, таща на себя разбухшие от воды клетки; еще на шаг. Вязкое желтое месиво под пятками грозило опрокинуть навзничь. Шест, которым я орудовала, как рычагом, нещадно давил плечо. А где-то в глубине сознания щекотало восторженно: он смотрит; если только мне удастся вытянуть Матерую из ее укрытия, тогда мое желание... мое желание...

Еще шаг, потом еще. Впиваясь пальцами ног в глину, я взбиралась все выше. Еще шаг, вода вытекает сквозь щели, груз все легче и легче. Я чувствовала, как то, что там внутри, извивается, бьется в злобе о стенки клеток. Еще шаг.

Вдруг все встало.

Я тянула, но клетки не поддавались. Ревя от горя, я рванула изо всех сил вверх по насыпи, но клетка плотно где-то застряла. Наверно, корень, торчавший из подмытого берега, точно обломок гнилого зуба, или плавучее бревно вклинилось в проволочную сетку.

— Застряла! — в отчаянии закричала я. — Чертова ловушка за что-то зацепилась!

Томас скорчил дурацкую гримасу, бросил с легким нетерпением:

— Подумаешь, какая-то старая щука!

— Томас, пожалуйста! — порывисто произнесла я. — Если отпущу, она уйдет. Пожалуйста, посмотри, что там, отцепи!

Томас пожал плечами, снял китель, рубашку, аккуратно повесил на куст.

— Форму пачкать мне ни к чему, — рассудительно заметил он.

Руки у меня дрожали от напряжения, я придерживала шест, пока Томас исследовал, что там мешает.

— Тут куча корней, — выкрикнул он. — Похоже, какая-то рейка отогнулась и вклинилась в корни. Крепко засела.

— Дотянуться сможешь? — крикнула я. Он пожал плечами:

— Попробую.

Снял штаны, повесил рядом с кителем, сапоги кинул у насыпи. Видно было, как он дрожит, входя в воду, — там было глубоко, — он смешно выругался.

— Ну, я идиот, — приговаривал Томас. — Холодрыга дикая!

Он стоял почти по самые плечи в масляно-темной воде. Помнится, в том месте Луара раздваивалась, течение было довольно сильное, вокруг Томаса вспенивались бледные барашки.

— Дотянуться сможешь? — заорала я. Мускулы горели, натянутые,

точно провода, в висках отчаянно стучало. Я по-прежнему чувствовала, как щука, наполовину в воде с силой бьется о стенки клетки.

— Это там, — донеслись до меня его слова, — недалеко от поверхности воды. Мне кажется... — Всплеск: он тотчас нырнул и вынырнул, мокрый и скользкий, как выдра, — ...немного глубже все-таки.

Я со всей силы налегла на шест. Виски жгло, я чуть не кричала от боли и отчаяния. Пять секунд, десять — все, время уходит, я закрыла глаза, цветами расцвели багрово-черные пятна, я повторяла, как молитву: пожалуйста ну пожалуйста я отпущу тебя я клянусь клянусь только пожалуйста пожалуйста Томас только ты Томас только ты навсегда и навеки.

И вдруг внезапно клетка поддалась. Чуть было не выпустив шест из рук, я заскользила вверх по насыпи; освободившаяся ловушка, подпрыгивая, выехала следом. С туманом в глазах, с металлическим привкусом на языке, я вытянула ее подальше на берег, острые края сломанных реек вонзались под ногти, в уже вздувшиеся мозолями ладони. Обдирая руки в кровь, я срывала проволочную сетку, убежденная, что щука улизнула. Что-то ударило сбоку внутри — шлеп, шлеп, шлеп! Как будто с размаху стукнулась об эмалированный таз мочалка для лица: «Ну и грязнуля ты, Буаз, безобразие какое! Поди-ка сюда, умою как следует!» Внезапно вспомнилась мать и то, как она терла нам щеки, если мы не хотели умываться, иногда до крови.

Шлеп, шлеп, шлеп. Звук стал слабее, не такой настойчивый, хотя я знала, что рыба еще какое-то время может жить без воды, трепещет и через полчаса после того, как выкинут на сушу. Сквозь щели во мраке клетки виднелось что-то огромное, черное, маслянистое, то и дело поблескивал глаз, как одинокий шарик подшипника, выкатываясь на меня в полоске солнечного света. Восторг охватил меня с такой неистовой силой, что я чуть не умерла.

— Матерая, — хрипло прошептала я. — Матерая. Я загадала желание. Я загадала. Пусть он останется. Пусть Томас останется, — шептала я быстро и тихо, чтоб Томас не услышал, и еще раз, потому что он еще не вылез на берег, и повторила на случай, если в первый раз старая щука не расслышала моих слов: — Сделай, чтоб он остался. Чтоб остался здесь навсегда!

Щука в клетки плюхнула, перевернулась. Теперь я разглядела ее пасть, мерзкую, перевернутым полумесяцем, усатую от крючков с удочек прежних ловцов, и ужаснулась ее размерам, гордая и опьяненная своей победой, испытывая бесконечное чувство облегчения. Все кончено.

Кошмар, навеянный историей Жаннетт и водяными змеями, апельсинами, медленно впадающей в безумие матерью, всему этому наступил конец здесь, на берегу реки. Босоногая девочка в измазанной землей юбке, с кусками грязи в спутанных коротких вихрах, с сияющим лицом, эта клетка, этот человек, на вид почти мальчик без военной формы, с мокрыми волосами. Я поспешно оглянулась. — Томас! Ну-ка взгляни!

Тихо. Только чуть слышные всплески речной волны, подмывающей глинистую насыпь. Я поднялась, подошла к краю реки.

— Томас!

Томаса как не было. В том месте, где он нырнул, кремовая, как *café au lait*,^[100] гладь стояла ровная, лишь несколько пузырьков на поверхности.

— Томас!

Наверно, я растерялась. Если бы вовремя спохватилась, возможно, я не упустила бы момент, как-то сумела предотвратить неизбежное. Так теперь я себе говорю. Но тогда мне, опьяненной своей победой, с дрожащими от напряжения и усталости ногами, не пришло в голову ничего иного, как припомнить, сколько раз Томас с Кассисом играли в эту игру, глубоко ныряли и, делая вид, будто утонули, потом отсиживались где-нибудь под песчаной насыпью, и выныривали после с красными глазами, и смеялись над Ренетт, не перестававшей визжать. В корзинке Матерая надменно ударила хвостом: шлеп-шлеп. Я подошла еще ближе к краю реки:

— Томас?

Тишина. Я подождала еще минуту, она мне показалась вечностью. Шепнула:

— Томас?

Луара, как шелк, шуршала у моих ног. Метания Матерой в клетки ослабевали. Вдоль отдающего гнилью берега длинные желтые, точно ведьмины пальцы, корни тянулись в воду. И я поняла.

Мое желание исполнилось.

Когда через пару часов Кассис с Рен меня нашли, я лежала без слез на берегу, одной рукой обхватив сапоги Томаса, другой — разломанную клетку с огромной дохлой рыбиной, которая уже начала вонять.

13.

Мы были всего лишь дети. Мы не знали, что нам делать. Мы испугались. Наверно, Кассис даже больше, чем мы с Ренетт, потому что был старше и все-таки лучше соображал, что будет, если нас заподозрят в

смерти Томаса. Именно Кассис вытащил тело Томаса из-под берега, высвободив его ногу, запутавшуюся среди корней. И это Кассис собрал всю оставшуюся одежду Томаса, связал в узел, перетянул ремнем. Он плакал, но в тот день проявилась в нем твердость, какой прежде мы в нем не замечали. Возможно, в тот день он собрал всю свою волю в кулак, размышляла я после. Возможно, именно потому он потом старался забыть и пил. От Рен толку не было. Она только сидела на берегу и рыдала, лицо пошло красными пятнами, обезобразилось. Только когда Кассис тряхнул ее за плечи и велел, чтоб пообещала — пообещала! — что возьмет себя в руки, сестра хоть как-то отреагировала кивком, продолжая обливаться слезами и причитать: «Томас, ой, Томас!» Может быть, именно потому, несмотря ни на что, я так и не сумела возненавидеть Кассиса. Ведь в тот день он поддержал меня, как не поддерживал никто и никогда. По крайней мере, до сих пор.

— Да поймите же, — в его мальчишеском голосе, срывавшемся от страха, я по-прежнему, как ни странно, слышала голос Томаса. — Если они про нас узнают, они подумают, что это мы его убили. Нас пристрелят! — Рен смотрела на брата огромными, перепуганными глазами. Я устала за реку, до странности безучастная, равнодушная. Никто не посмеет меня пристрелить. Я поймала Матерую. Кассис резко стукнул меня по плечу. Вид у него был хуже некуда, но держался он стойко.

— Буаз, ты слышала, что я сказал? Я кивнула.

— Нам нужно сделать так, будто его кто-то убил, — сказал Кассис. — Ну, там из Сопротивления или еще кто. Если они поймут, что он утонул... — Он осекся, бросил пугливый взгляд на реку. — Если они обнаружат, что он приходил и что мы вместе купались, могут расспросить и других, Хауэра и тех, и тогда... — у Кассиса перехватило в горле.

Но было ясно без слов. Мы все переглянулись.

— Надо сделать так, чтоб подумали, будто его застрелили.

Тут он посмотрел на меня чуть ли не умоляюще. Я кивнула:

— Ладно...

Мы не сразу сообразили, как стрелять из пистолета. Там был предохранитель. Мы его сняли. Пистолет был тяжелый, от него пахло смазкой. Потом стали решать, куда стрелять. Я сказала, что в сердце. Кассис — в голову. Одного выстрела, сказал он, хватит, прямо в висок, чтоб подумали, будто кто-то из Сопротивления. Для правдоподобия мы связали ему веревкой руки. Чтоб заглушить выстрел, прикрыли дуло его кителем, но все равно звук, хоть и негромкий, своим странным эхом, казалось, заполнил все вокруг.

Мое горе застыло где-то глубоко внутри, так глубоко, что я не чувствовала ничего, кроме тупого оцепенения. Сознание было как река: гладкое и сверкающее на поверхности, и лютый холод в глубине. Мы подтащили Томаса к краю и столкнули его в воду, понимая, что теперь его будет почти невозможно опознать. К завтрашнему дню, считали мы, течением его, скорее всего, принесет в Анже.

— А как с одеждой?

Губы у Кассиса посинели, но голос по-прежнему звучал твердо:

— Кидать в реку нельзя, рискованно. Кто-нибудь вдруг обнаружит, опознает.

— Давайте сожжем, — предложила я. Кассис покачал головой:

— Слишком много дыма. Да и пистолет не сожжешь, и пояс, и бирку.

Я безучастно повела плечами. Мне представилось, как Томаса тихо качает вода — туда-сюда; баюкает, точно ребенка в колыбельке. И тут мне пришла в голову мысль.

— Морлокская нора, — сказала я. Кассис кивнул:

— Верно.

14.

Теперь колодец тот же, что и тогда, правда, кто-то накрыл его бетонной заглушкой, от малых детишек. Конечно, у нас теперь водопровод. Во времена моей матери колодец был для нас единственным источником воды, не считая дождевой в канаве, но ее мы брали только для полива. Колодец представлял собой огромное цилиндрическое сооружение из кирпича, вздымавшееся над землей футов на пять, с ручным насосом, с помощью которого накачивали воду. Поверх цилиндра лежала деревянная крышка от несчастного случая и от загрязнения воды. Иногда, когда наступала сушь, вода в колодце становилась желтой и противной, но обычно была очень вкусной. Прочитав «Машину времени», мы с Кассисом долго играли в морлоков и элов у колодца, который, как мне казалось, своей угрюмой массивностью походил на темные норы, в которые уползали ужасные существа.

Мы подождали, пока почти стемнело, только после этого отправились домой. Взяли с собой одежду Томаса и до ночи спрятали ее в густых кустах лаванды в самом конце сада. Еще мы взяли с собой неразвернутый сверток с журналами — после того что случилось, даже у Кассиса пропала охота смотреть. Он предложил, чтобы кто-то из нас после придумал причину

выйти из дома — явно при этом имея в виду меня, — быстренько схватил бы связку со свертком и закинул в колодец. Ключ от замка висел снаружи на двери вместе с прочими ключами от дома — на нем с присущей матери страстью к порядку даже была навешена бирочка «колодец», — ключ можно было запросто снять, а потом вернуть на место незаметно от матери. Остальное, сказал Кассис с непривычной хрипотой в голосе, будет зависеть только от нас. Томаса Лейбница знать не знаем и слыхом о нем не слыхали. С немцами сроду не общались. Хауэр с остальными наверняка будут помалкивать, если смекнут что к чему. Единственное, что нам остается, прикидываться дурачками и помалкивать.

15.

Все оказалось легче, чем мы думали. У матери случился очередной из ее тяжелых приступов, ей было совершенно не до нас, не до наших бледных, измазанных, зареванных физиономий. Она погнала Рен в ванную, утверждая, что от нее все еще пахнет апельсином, и терла ей руки пемзой с камфорным маслом, пока Ренетт своим ревом ее не остановила. Через двадцать минут обе появились — Рен с полотенцем вокруг головы, благоухая камфорой, мать — мрачная, сжав губы, внутри вся кипит. Ужина нам не было.

— Сами готовьте, если хотите, — буркнула мать. — Шатаетесь, как цыгане, по лесам. Выставились как бог знает кто на площади, — чуть ли не со стоном вырвалось у нее, рука терла висок знакомым красноречивым жестом.

Она смолкла и в наступившей тишине глянула на нас, как будто впервые увидела; потом поплелась к камину, села в кресло-качалку и, яростно комкая в руках вязанье, стала качаться, глядя в огонь.

— Апельсины, — тихо произнесла она. — Что ты их в дом все тащишь? Так люто меня ненавидишь?

Было непонятно, к кому она обращалась. И никто не осмелился рта раскрыть. Да и что можно было ей сказать.

В десять мать ушла к себе. Мы обычно так поздно не засиживались, мать же, когда накатывали сильные приступы, будто утрачивала чувство времени и спать нас не погнала. Мы еще немного посидели на кухне, вслушиваясь, как она стелит себе постель. Кассис спустился в погреб принести чего-нибудь поесть, вернулся с куском *gillettes*, завернутым в бумагу, и половиной каравая. Мы поели, хотя есть не особенно хотелось.

Думаю, принялись за еду, чтоб меньше говорить.

Тот ужас, к которому мы оказались причастными, неотвязно, как изъеденное червем яблоко, стоял перед глазами. Его тело, его белая нордическая кожа, казавшаяся голубой среди пестрых листьев, его лицо без взгляда, его сонное, невесомое переваливание в воду. Подпихивание ногой листьев к его развороченному пулей затылку — странно, что на входе пуля оставила крохотную, аккуратную дырочку, — потом неспешный, торжественный всплеск воды. Черная ярость взрывала изнутри мое горе. Ты обманула меня, стучало в мозг. Ты обманула, ты обманула меня!

Первым молчание нарушил Кассис:

— Ну давай, иди же, давай.

Я с ненавистью взглянула на него.

— Надо, надо, — настаивал он, — не то будет поздно. Рен, точно загнанный зверек, поглядывала то на брата, то на меня.

— Ладно, — сказала я устало. — Я пошла. После я снова вернулась на реку. Не знаю, что я ожидала там увидеть, — может, призрак Томаса Лейбница, прислонившийся, покуривая, к Наблюдательному Пункту, — но у реки все до странности было как прежде, ни намек на зловещую тишину, которая обычно сопутствует страшным делам. Квакали лягушки, и мягко плескалась вода, подмывая берег. В холодном сизом лунном свете старая щука впилась в меня блестящими глазами-шариками, распахнув зубастую, слюнявую пасть. Я не могла отделаться от мысли, что она живая, что слышит каждое слово, бдит.

— Ненавижу тебя, — сказала я Матерой.

Она презрительно глядела на меня своим стеклянным взглядом. По сторонам зубастой пасти торчали сломанные крючки, кое-какие уже вросли в кожу и походили на диковинные клыки.

— Я ведь отпустила бы тебя, — сказала я ей. — Ты это знала.

Я прилегла на траву рядом, почти касаясь лицом щучьей морды. Вонь от гниющей рыбы мешалась с запахом влажной земли.

— Ты обманула меня, — сказала я.

В бледном свете взгляд старой щуки показался мне осмысленным. Мало того, торжествующим.

Не помню, сколько я там пробыла в ту ночь. И, видно, задремала, потому что, когда очнулась, месяц уже скатился ниже по реке, глядясь в свое отражение на молочной водной глади. Было очень холодно. Растирая окоченевшие руки и ноги, я встала, потом осторожно подняла с земли дохлую щуку. Облепленная речным илом, она была тяжелая, и на ее сверкающих боках обломки застарелых крючков образовали причудливый

черепаший узор. Я молча понесла ее к Стоячим Камням, где на гвоздях висели все лето дохлые водяные змеи. Я подвесила щуку за нижнюю челюсть на один из гвоздей. Плоть у нее была твердая и скользкая; сначала мне даже показалось, что я не сумею проткнуть ей кожу, но с некоторыми усилиями мне это удалось. Матерая, разинув пасть, повисла над рекой в окружении трепещущих на ветру змеиных останков.

— Все-таки я тебя поймала, — тихо сказала я.

Поймала.

16.

С первого захода у меня чуть было не сорвалось.

Взявшая трубку женщина, видно, засиделась на работе — уже было десять минут шестого — и забыла включить автоответчик. Я услышала очень юный, усталый голос, и от этого у меня внутри все оборвалось. Губы вдруг одеревенели, когда я начала говорить. Мне бы лучше, чтоб она оказалась старше, чтоб помнила ту войну, возможно даже помнила имя моей матери. На мгновение я испугалась, что она сейчас повесит трубку, скажет, мол, все это былшем поросло и никому уже не интересно.

Я почти приготовилась это услышать. Рука потянулась к рычагу.

— Мадам? Мадам? — настойчиво повторила она. — Вы слушаете?

С трудом я выдавила:

— Слушаю.

— Как вы сказали? Мирабель Дартижан?

— Да. Я ее дочь, Фрамбуаз.

— Погодите. Постойте, пожалуйста! — при всей казенной любезности у нее явно перехватило дыхание, от вялости не осталось и следа.

— Прошу вас, не вешайте трубку!

17.

Я рассчитывала на статью, в лучшем случае на небольшой очерк с одной-двумя фотографиями. Вместо этого они предложили мне права на киносценарий, иностранные права на сюжет и на целую книгу. Какая там книга, опешила я. Читать-то я читаю, но вот писать... Знаете, сколько мне лет? Не имеет значения, заверили меня. «Негр» за вас напишет.

Негр напишет! Я содрогнулась от этих слов.

Сначала я задумала это в отместку Лоре с Янником. Чтоб не радовались,

не торжествовали. Но что было, то прошло. Как сказал однажды Томас, противодействовать можно по-разному. Да и они теперь малость успокоились. Янник мне упорно пишет и пишет. Он теперь в Париже. Лора подала на развод. Эта не стремится со мной общаться, хотя, должна признаться, мне все-таки их обоих немного жаль. Детей-то у них так и нет. Им не понять, какая я счастливая.

После первого звонка я позвонила Писташ. Дочь почти сразу сняла трубку, будто ждала моего звонка. Голос такой покойный, такой далекий. На заднем фоне слышался собачий лай, Прюн с Рико шумно во что-то играли.

— Ну конечно же я приеду, — легко сказала дочь. — Жан-Марк пару дней присмотрит за детьми.

Душенька Писташ, спокойная, нетребовательная, откуда ей знать, каково это, столько жить с камнем на сердце. Ей такое и не снилось. Пусть она меня любит, пусть даже она мне простит, только никогда по-настоящему не поймет. Может, так для нее и лучше.

Последний звонок был международный. С трудом разобрав чужой выговор, выдавливая из себя невыговариваемые слова, я просила, чтоб передали. Мне казалось, мой голос по-старушечьи дрожит, пришлось повторить несколько раз, чтоб пробиться сквозь звяканье посуды, гул голосов и далекую музыку. Оставалось только надеяться, что этого достаточно.

18.

То, что было потом, уже всем известно. Томаса нашли почти сразу же, не через сутки после того, что случилось в Ле-Лавёз, и вовсе не вблизи Анже. Его не унесло вниз по течению, его выбросило на песчаную отмель в полумиле от деревни, там его и обнаружили те самые немецкие солдаты, которые нашли его мотоцикл, спрятанный в кустах у дороги, ведущей от Стоячих Камней. От Поля мы узнали, какие слухи ходят в деревне: будто группа бойцов Сопротивления застрелила немца-часового, который засек их после комендантского часа; будто коммунист-снайпер застрелил Томаса, чтоб завладеть его документами; будто с ним расправились свои же, прознав, что он торгует армейским провиантом на черном рынке. Внезапно в деревню нагрянули немцы, в черной и серой форме, принялись обыскивать дом за домом.

К нашему дому особого внимания не проявили. Мужчины в доме нет,

трое сопляков да больная мать. Когда постучали, дверь открыла я; и я водила их по дому. Но немцев больше интересовало, что мы знаем о Рафаэле Криспэне. Потом Поль рассказал, что утром того дня, а может, еще ночью накануне Рафаэль исчез. Исчез бесследно, прихватив с собой деньги и документы, а в подвале «La Mauvaise Réputation» немцы обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой, которой хватило бы, чтоб взорвать всю деревню Ле-Лавёз, и даже не один раз.

Немцы наведывались к нам дважды, обыскали весь дом от погреба до чердака и потеряли к нам всякий интерес. Кстати, я не без удивления признала в главном эсэсовце, руководившем обыском, того самого краснорожего весельчака, который в начале лета расхваливал нашу клубнику. Он был такой же краснорожий и веселый, несмотря на причину обыска, и даже, проходя мимо, небрежно потрепал меня по голове, а солдатам наказал после осмотра все привести в порядок. На двери церкви появилось объявление на французском и немецком языках, призывающее каждого, кто что-либо знает, оказать помощь в расследовании. Мать не выходила из своей комнаты, мучаясь от приступа мигрени, днем спала, а ночью разговаривала сама с собой.

Мы спали отвратительно, нам снились кошмары.

То, что вслед за этим произошло, даже в каком-то смысле привело нас в чувство. Мы узнали о случившемся, когда все уже было кончено — в шесть часов утра, у западной стены церкви Святого Бенедикта, рядом с тем самым фонтаном, где всего два дня назад восседала на троне Ренетт в венке из ячменных колосьев и разбрасывала вокруг цветы.

Пришел Поль и все нам рассказал. Бледный, с красными пятнами на лице, с вздувшейся на лбу жилой, он бубнил, бубнил, и выходило одно сплошное заикание. Мы слушали молча, оцепенев от потрясения и, я думаю, молча задаваясь вопросом: как могло случиться такое, неужели из нашего семечка вырос этот кровавый цветок? Имена режут слух, точно камни, пущенные по воде. Десять имен, мне их не забыть никогда: Мартэн Дюпрэ, Жан-Мари Дюпрэ, Колетт Годэн, Филипп Уриа, Анри Лемэтр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекос, Анъез Пети, Франсуа Рамондэн, Огюст Трюриан. Они звучат в памяти вновь и вновь, как рефрен, который не отвяжется ни за что и никогда, внезапно вырывают из сна, шагают из сновидения в сновидение, с неумолимой четкостью впечатываясь в ход и ритмы моей жизни. Десять имен. Та десятка, которая оказалась в ту ночь в «La Mauvaise Réputation».

Потом мы сообразили, что, видно, толчком послужило исчезновение Рафаэля. Тайник с оружием в кафе дал повод считать, что его владелец

имел связи с группами Сопротивления. По-настоящему никто ничего сказать не мог. То ли само кафе было ширмой тщательно организованного сопротивления. То ли гибель Томаса немцы восприняли как возмездие за то, что случилось со стариком Гюставом за пару недель до того. Как бы то ни было, Ле-Лавёз слишком дорогой ценой заплатила за ничтожный бунт. Предчувствуя близость конца, немцы, точно предосенние осы, мстили с удвоенной жестокостью.

Мартэн Дюпрэ, Жан-Мари Дюпрэ, Колетт Годэн, Филипп Уриа, Анри Лемэтр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекос, Аньез Пети, Франсуа Рамондэн, Огюст Трюриан. Как они умирали? Молча? А может, рыдали, умоляли, прятались друг за дружку в жажде уцелеть? Обходили после солдаты их рухнувшие тела? Кто-то дергается, еще не потухли глаза, удар рукоятью пистолета — и все кончено; солдат приподымает окровавленную юбку, обнажает стройное гладкое бедро. Поль сказал, все произошло мгновенно. Смотреть не позволили, солдаты с ружьями наперевес стояли у закрытых ставнями окон. Я и сейчас вижу этих людей за закрытыми ставнями, жадно прильнувших глазом к щелям, к дыркам, челюсти по-дурацки отвисли от такого потрясения. И шепот, тихое, глухое бормотание, и слова — потоком, будто они способны что-то объяснить.

— Вон, ведут! Вон ребята Дюпрэ. И Колетт, Колетт Годэн. Филипп Уриа. Анри Лемэтр — ведь он и мухи не обидит; этот, Жюльен Ланисан, вообще не просыхает. Артюр Лекос. И Аньез, Аньез Пети. И Франсуа Рамондэн. И Огюст Трюриан.

Из церкви, где уже началась утренняя служба, доносится пение. Гимн урожаю. Снаружи перед закрытыми дверями двое солдат стоят на часах со скучными, надутыми физиономиями. Отец Фрома блеет свою проповедь, а паства перешептывается. Сегодня в церкви десятка два народу, не больше, суровые лица, они обвиняют, прошел слух, будто священник вошел в сговор с немцами, сотрудничает с ними. Орган мощно раскатывает хоралы, но ему не заглушить выстрелы снаружи у западной стены, приглушенную дробь пуль, ударяющих о старый камень, звуков, которые навеки врежутся в плоть каждого из прихожан, как старый рыболовный крючок, который вырастает и никакими силами его не вытянешь. В глубине церкви кто-то затягивает «Марсельезу», но получается будто спьяну, певец смущенно умолкает.

Я вижу это в своих снах, четче, чем в памяти. Вижу их лица. Слышу их голоса. Чувствую этот резкий, леденящий переход от жизни к смерти. Но мое горе так глубоко во мне, не дотянуться, и если просыпаюсь вся в слезах, то со странным чувством удивления, даже отчужденности. Томаса

уже нет. Это главное.

Наверное, мы все были в шоке. Мы не делились между собой, каждый переживал по-своему: Ренетт у себя в комнате, где часами валялась на кровати, рассматривая свои журналы про кино; Кассис, уткнувшись в книги, и для меня он вмиг как-то состарился, будто что-то в нем сломалось; я — в лесу и на реке. Мы в те дни мать как бы не замечали, хотя ее приступы по-прежнему продолжались, длились дольше, чем самый сильный, летний. Но к тому времени мы изжили свой страх перед ней. Даже Ренетт уже не вздрагивала от ее злых окриков. Ведь мы убили человека. После такого было ли нам чего бояться?

Моя ненависть, как и злость, на время утратила объект — Матерая была пригвождена к камню, и спрашивать с нее за гибель Томаса уже не было смысла, — но я чувствовала, как ненависть бродит во мне, шарит взглядом вокруг, как око скрытой камеры, щелкает затвором во тьме, подмечает все и вся. Мать вышла из своей комнаты после очередной бессонной ночи бледная, измученная, отчаявшаяся. Я почувствовала, как при виде нее ненависть во мне сжимается, превращаясь в блестящую, совершенной формы черную точку постижения.

Ты это ты это ты.

Она взглянула на меня, будто услышала:

— Буаз?

Голос жалкий, дрожащий.

Я отвернулась, крупинкой льда холодела ненависть в сердце.

Слышно было, как у меня за спиной она тяжело вздохнула.

19.

Потом началась история с водой. Через несколько дней обычно чистая и вкусная вода в колодце сделалась коричневатой, цвета торфа, и приобрела какой-то странный привкус, какую-то жженую горечь, словно в колодец попали гниющие листья. Пару дней мы не обращали внимания, но вода становилась все гаже. Даже мать, приступ которой уже пошел на убыль, это заметила.

— Видно, что-то в воду попало, — сказала она. Мы устали на нее с привычной безучастностью.

— Пойду взгляну, — решила мать.

Внешне с завидной стойкостью мы замерли в ожидании разоблачения.

— Ничего она не докажет, — храбрясь, говорил Кассис. — Она не

поймет.

Рен в слезах канючила:

— Поймет! Поймет! Все найдет и все поймет! Кассис яростно закусил кулак, как будто сдерживая крик.

— Почему ты не сказала, что там в пакете кофе? — простонал он. — О чем ты думала?

Я повела плечами. Единственная из всех, я хранила спокойствие.

Разоблачение не состоялось. Мать вернулась от колодца с ведром сухих листьев и объявила, что вода чиста.

— Верно, просто реку вздуло, вот и нанесло, — сказала она даже как-то весело. — Уровень упадет, снова вода станет чистая. Вот увидите.

Она снова заперла деревянную крышку на колодце, а ключ повесила к себе на пояс. У нас пропала возможность самим проверить.

— Должно быть, сверток упал на самое дно, — предположил в конце концов Кассис. — Он ведь тяжелый был? Тяжелый! Пока колодец не пересохнет, она туда не доберется.

Мы решили, что такое вряд ли случится. А к лету на дне колодца пакет превратится в сплошное месиво.

— Пронесло, — сказал Кассис.

20.

Рецепт *crème de framboise liqueur*:

Я ее сразу узнала. Сперва подумала, что там куча сухих листьев, подцепила шестом из воды, чтобы прочистить колодец. Помыть малину и выбрать хвостики. Замочить в теплой воде на полчаса. И тут вижу — свернутая одежда, перехваченная ремнем. И в карманы не потребовалось залезать, я и так ее узнала. Дать воде стечь и насыпать ягоду в большую банку, чтоб покрыла дно. Сверху толстый слой сахара. Повторять так слой за слоем до самого верха. Помутилось в голове. Сказала детям, что прочистила колодец, пошла к себе, легла. Колодец заперла. Мысли путаются. Полить коньяком ягоды с сахаром, так, чтоб не нарушились слои, залить коньяком до самого верха. Оставить года на полтора, не меньше.

Выведено аккуратно и убористо той самой странной тайнописью, к которой она прибегала, чтоб упрятать свои слова. Я почти слышу, как она

проговаривает вслух свое чудовищное открытие: буднично, немножко гнусавя.

Должно быть, я это сделала. У меня столько раз чесались руки, но на этот раз, видно, решилась наконец. Его одежда в колодце, бирка с именем в кармане. Должно быть, он снова явился, и я это сделала: застрелила, раздела и бросила в реку. Что-то я припоминаю, но все неясно, будто во сне. Теперь многое мне чудится точно во сне. Да я и не раскаиваюсь. После всего, что он мне сделал, что он делал, что он позволил им сделать с Рен, со мной, с моими детьми и со мной.

В этом месте неразборчиво, как будто перо вдруг в отчаянном страхе заметалось по страничке, но вот она снова, почти мгновенно, собралась с силами.

Должна подумать о детях. Думаю, они теперь в опасности. Он все время их использовал. Я-то все время думала, что я ему нужна, а он использовал детей. Ублажал меня, чтоб верней использовать детей. Эти письма. Сколько ненависти, но именно это открыло мне глаза. Что они делали в «La Rép»? Как он хотел их использовать потом? Может, оно и к лучшему, что так случилось с Рен. По крайности, это ему все подпортило. Под конец повернулось не так, как задумано. Человек погиб. Это в его планы не входило. Тех двоих немцев он в свои замыслы, видно, не посвящал. Он и их тоже использовал. Чтоб вину свалить, если до этого дойдет. А теперь — моих детей.

И еще — приписано безумными каракулями:

Хоть бы вспомнить, как было. Что он на этот раз сулил мне, чтоб я молчала? Еще таблетки? Неужто думал, что я смогу спокойно спать, зная, какой ценой они мне достались? А может, улыбнулся, погладил по щеке как ни в чем не бывало, будто у нас все по-старому? Потому я это и сделала?

Слова разборчивы, но буквы вразброд, рука выводит их чудовищным усилием воли.

Всегда приходится расплачиваться. Только не родными детьми. Пусть хоть кем угодно, только не ими. Хоть всей деревней. Такие вот

мысли приходят ко мне, когда я вижу их в своих снах. Я сделала это ради своих детей. Надо отослать их на время к Жюльетт. Самой тут все закончить, а после войны собраться всем вместе. Там они спасутся. Спасутся от меня. Отослать их подальше, мою лапушку Рен, Кассиса, Буаз. Пуще всех мою Буаз. Что еще я могу для них сделать? Да когда же все это кончится!

Здесь запись прерывается: аккуратно выведенный красными чернилами рецепт жаркого из кролика отделяет ее от завершающего абзаца, написанного другими чернилами и совсем иначе, как будто уже тщательно продуманного.

Все, решено. Я отправлю их к Жюльетт. Там им будет безопаснее. Придумала для любителей сплетен кое-какую байку. Ферму просто так бросить не могу: деревьям нужен уход, чтоб как следует перезимовали. На Прекрасной Иоланде еще не вывелся грибок; тут надо помозговать. Да и без меня им будет спокойней. Теперь я это вижу.

Страшно представить, что с ней происходило. Смятение, раскаяние, отчаяние и ужас осознания, что она постепенно теряет разум, что рожденные нестерпимой болью ночные кошмары нашли себе лазейку в нормальную жизнь, угрожая всему, что ей дорого. Но она все-таки борется. Я от нее унаследовала непокорность, инстинктивное упорство не сдаваться до последнего.

Нет, я не видела, я не понимала, что с ней творилось. С меня хватало моих кошмаров. Но и до меня стали доходить слухи, ползущие по деревне, они приобретали все более громкий и зловещий характер, и на них мать, как всегда, не отзывалась, как будто не замечала. Вслед за надписями на стенке курятника мало-помалу стали расти недоброжелательство, подозрительность, и пышным цветом они расцвели после расстрела у церкви. Горе в людях проявлялось по-разному, у кого — в замкнутости, у кого в ярости, а у кого и в ненависти. Горе редко пробуждает лучшее в людях, что бы ни твердили насчет этого местные летописцы, и Ле-Лавёз тут не исключение. Кретъен и Мюрель Дюпрэ после гибели обоих сыновей на какое-то время притихли, придавленные таким ударом, но потом окрысились, она на него — злобно, сварливо, он на нее — по-хамски грубо, и, сидя в разных углах церкви, она при этом с синяком под глазом, чуть ли не с ненавистью поглядывали друг на дружку. Старик Годэн, точно черепаха в преддверии спячки, ушел в себя. Изабель Рамондэн, и прежде добротой не отличавшаяся, стала упиваться своим горем, поглядывает на всех своими темно-синими глазками, подбородок дрожит, вот-вот расплечется. По-моему, с нее-то все и пошло. А может, с Клода Пети, который при жизни Анъез, бывало, слова доброго о ней не скажет, зато теперь отчаянно убивался по любимой сестрице. Или с Мартэна Трюриана, который теперь после смерти брата унаследовал все отцовское хозяйство. Правду, видно, говорят, что со смертью всегда тараканы из щелей вылезают. А в Ле-Лавёз тараканы — это зависть и ханжество, лживое сочувствие и алчность. И трех дней не прошло, как все уже подозрительно косились друг на дружку. Собирались по двое, по трое, перешептывались, кто другой подойдет — тут же умолкают. То ни с того ни с сего режут в три ручья, то в зубы соседу ни с того ни с сего засветят. Мало-помалу до меня стало доходить, что все эти перешептывания, эти косые взгляды, эти проклятия сквозь зубы чаще всего возникали в присутствии кого-то из нас, когда мы ходили за письмами на почту или на ферму Уриа за молоком или в скобяную лавку за гвоздями. Всякий раз те же взгляды, тот же шепот. Однажды кто-то, укрывшись за коровником, запустил в мать камнем. В другой раз нашу дверь после комендантского часа закидали комьями глины. При виде нас женщины отворачивались. И надписи возобновились, теперь уже на стенах дома.

Одна была «ШЛЮХА НАЦИСТСКАЯ». Другая на козьем закутке: «НАШИ БРАТЯ И СЕСТРЫ ПОГИБЛИ ИЗ-ЗА ТЕБЯ».

Но мать воспринимала это с презрительным равнодушием. Покупала молоко у Креси, когда у Уриа все вышло, письма свои отправляла из Анже.

Все ее обходили стороной, но когда как-то утром в воскресный день возвращавшаяся из церкви Франсин Креспэн плюнула ей под ноги, мать тотчас же и с удивительной меткостью плюнула ей в лицо.

Нас, детей, вниманием не достаивали. Поль по-прежнему временами с нами заговаривал, но только если не видит никто. Нас словно не замечали, правда, иногда кто-нибудь, скажем, полоумная Дениз Лелак, сунет кому-то из нас яблоко или кусок пирога в карман, приговаривая трескуче, по-старушечьи:

— Берите, берите Христа ради! Бедные детки, за что вам такая напасть...

И спешила себе прочь, вздымая черным подолом едкую желтую пыль, костлявыми пальцами крепко вцепившись в ручку корзинки.

В понедельник уже все твердили, что Мирабель Дартижан немецкая шлюха, потому и семейство ее избежало возмездия. Во вторник начали раздаваться голоса, будто наш отец однажды хорошо отозвался о немцах. Во вторник к ночи кучка пьяниц — «La Mauvaise Réputation» уже к тому времени давно было закрыто, и от питья в одиночку люди ожесточились, озверели — выкрикивала всякие оскорбления и кидала камнями в наши запертые ставни. Мы притаились в своей спальне, выключив свет, дрожа, прислушиваясь к едва знакомым крикам, пока мать не вышла и не разогнала дебоширов. В ту ночь они убрались тихо. На следующую — со скандалом. Но вот наступила пятница.

Мы только кончили ужинать, когда услышали их голоса. Весь день было пасмурно и сыро, как будто кто накинул на небо потертое одеяло, и все были раздраженные, злые. И ночь облегчения не принесла, обволокла белесой мглой поля; наша ферма темнела островком, мгла заползала в дом из-под дверей, сквозь щели в окнах. Мы, что уже стало обычаем, ели молча и без особого аппетита, хотя, помнится, мать, сделав над собой усилие, расстаралась и приготовила то, что мы больше всего любим. Свежеиспеченный хлеб, усеянный маковыми зернышками, масло из Креси, rillettes, ломтики andouillette из прошлогоднего поросенка, горячие, шкворчащие кусочки boudin в собственном жире и темные гречишные блинчики прямо со сковородки, хрустящие и хрупкие, как осенние листья. Мать старалась вести себя как ни в чем не бывало, нам наливала сладкий сидр из глиняных bolées, но себе не налила. Помню, во время ужина она то с трудом выдавит из себя улыбку, то вдруг нарочито рассмеется, хотя никто ничего смешного не сказал.

— Я вот прикинула, — голос звонкий, как металл, — прикинула, что неплохо бы нам слегка проветриться.

Мы безучастно смотрели на нее. Запах жира и сидра становился невыносим.

— Вот я и подумала, не отправиться ли погостить в Пьер-Буфьер к тетке Жюльетт, а? — продолжала она. — Вам там понравится. Это в горах, провинция Лимузен. Там и козы, и сурки...

— Козы есть и у нас, — сказала я жестко. Мать снова засмеялась, резко, натужно:

— Ты прямо не можешь, чтоб поперек не вставить! Я взглянула ей в глаза:

— Хочешь, чтоб мы подальше удрали? Сначала мать притворилась, будто не понимает, о чем я.

— Понятно, путь туда не ближний, — продолжала она с наигранной веселостью. — Но не так уж это и далеко. Да и тетка Жюльетт будет рада нас всех повидать.

— Ты хочешь, чтоб мы удрали из-за того, что люди болтают, — сказала я. — Будто ты нацистская шлюха.

Краска бросилась матери в лицо.

— Нечего всякие сплетни подбирать, — отрезала она. — Последнее это дело.

— Хочешь сказать, это не так? — вставила я, просто чтоб ее подковырнуть.

Я была уверена, что это не так, я и помыслить не могла, что такое возможно. Я видала шлюх. Они были румяные и пышные, дебелые и смазливые, с пустыми глазами и размалеванными губами, как у киноактрис Ренетт. Шлюхи хохочут и визжат, у них высокие каблуки и кожаные сумки. Мать была старая, противная уродина. Даже когда смеялась.

— Чушь!

И отвела глаза.

— Тогда зачем нам удирать?

Молчание. И тут в наступившей тишине еще до того, как первый камень ударил в наши ставни, мы услышали нарастающее гудение толпы, звяканье металла, топот ног. Голос Ле-Лавёз во всей своей лютой ненависти и жажде мести; рык толпы, уже переставшей состоять из людей, — здесь не было Годэнов, Лекосов, Трюрианов, Дюпрэ или Рамондэнов, это были солдаты одной армии. Выглянув в окно, мы увидели, как они толпой стоят перед нашей оградой, человек двадцать-тридцать, а то и больше, в основном мужчины, но попадались и женщины. Некоторые с фонарями или с факелами, как при уже давно кончившемся Празднике урожая, некоторые с полными карманами камней. Мы смотрели на них, свет из кухни освещал

двор, и вдруг прямо у нас на глазах кто-то размахнулся — и очередной камень угодил в ветхую оконную раму, осколки стекла посыпались в кухню. Кидал Гийерм Рамондэн, тот самый, с деревянной ногой. Я едва узнала его в мигающем свете факелов и даже сквозь оконное стекло резко почувствовала мощь его ненависти.

— Сука! — Я едва узнала его голос, распаленный не только вином. — Выходи, сука, пока мы сами до тебя не добрались!

Его слова были подхвачены чем-то наподобие рева, усиленного топотом ног, отдельными выкриками и пригоршнями камней и комьев, шквалом полетевших в наши прикрытые наполовину ставни.

Приоткрыв разбитое окно, мать громко выкрикнула:

— Пошел вон, пьяный придурок, самого-то уж нога не держит, домой не допрыгаешь!

В толпе раздались хохот и громкие насмешки.

Гийерм потряс костылем, с которым приковылял.

— Ишь как расхрабрилась, сука немецкая! — рявкнул он с пьяной ухмылкой, но язык у него явно заплетался. — Кто им про Рафаэля сказал, а? Кто рассказал им про «La Rép»? Скажешь, не ты, Мирабель? Разве не ты наболтала эсэсовцам, будто они прикончили твоего любовника?

Мать плюнула в сердцах.

— Расхрабрилась, говоришь? — выкрикнула она истошно и резко. — Уж не у тебя ли храбрости занимать, Гийерм Рамондэн? Тебе ее хватило только, чтоб напиться и под окнами честной женщины орать, пугать ее детей! Хватило, чтоб уж через неделю с фронта вернуться, пока муж мой за тебя кровь проливал!

Гийерм зарычал в ярости. Толпа за его спиной хрипло подхватила его рык. Очередной шквал камней и комьев полетел в окно, весь кухонный пол был усыпан землей.

— Ну, сука, держись!

Они уже рвались в калитку, без труда сорвав ее с прогнивших петель. Наш старый пес тьякнул раз-другой и, внезапно взвизгнув, затих.

— Думаешь, мы не знаем? Думаешь, Рафаэль никому не сказал?

Полный торжествующей мести рев Гийерма перекрывал гул толпы. В отблесках факелов под нашим окном глаза его блестели, точно причудливо растрескавшееся стекло.

— Нам известно, что ты торговала с ними, Мирабель! Нам известно, что Лейбниц был твой любовник!

Мать опрокинула кувшин воды на головы тех, кто подступил близко.

— Опомнитесь! — яростно орала она. — Думаете, все такая погань, как

вы? Думаете, других на свете не бывает?

Но Гийерм, прорвавшись к дому, уже настойчиво барабанил в дверь:

— Выходи, сука! Нам все про тебя известно!

Я увидела, что под его ударами уже дрожит засов. Мать обернулась к нам, лицо пылало гневом:

— Собирайте вещи. Достаньте коробку с деньгами из-под умывальника. Документы возьмите.

— Зачем? Ведь...

— Быстро! Я что сказала? Мы сорвались с места.

Сначала я решила, что грохот — такой чудовищной силы, что прогнившие доски пола заходили ходуном, — оттого, что рухнула входная дверь. Но кинувшись обратно в кухню, мы увидели, что мать, чтобы забаррикадировать вход, подтащила комод к двери, и это грохотали, разлетаясь вдребезги, ее драгоценные тарелки. Стол также был притиснут туда, чтобы, если комод отъедет, войти в дом им так просто не удалось. В руке у матери я увидела ружье отца.

— Кассис, проверь-ка черную дверь! Вряд ли они так скоро сообразят, хотя кто их знает... Рен, останешься около меня. Буаз... — она как-то непонятно странно на меня взглянула своими горящими черными глазами, но договорить ей не пришлось: внезапно что-то мощно ударило в дверь, наполовину выбив верхнюю филенку, в образовавшемся просвете проглянуло звездное небо. Воспламененные отблеском огней и яростью лица возникли в просвете. Задние, наседавая, выглядывали из-за спин передних. Впереди всех свирепо ухмылялась физиономия Гийерма Рамондэна.

— Не спрячешься в своей конуре! — натужно орал он. — Сейчас я тебя, сука, накрою. Сейчас ты мне заплатишь за все... что сотворила с...

Даже теперь, когда рушился ее дом, мать умудрилась язвительно расхохотаться:

— Уж не с твоим ли папашей? — презрительно и резко выкрикнула она. — Это он, что ли, мученик? Это Франсуа-то герой? Не смейся! — Она вскинула повыше ружье так, чтоб Гийерм видел. — Отец твой был жалкий пьяница и ссал, когда напьется, себе в штаны. Да он...

— Мой отец был боец Сопротивления! — взвыл в ярости Гийерм. — Иначе зачем он к Рафаэлю ходил? С чего немцы его забрали?

Мать снова расхохоталась:

— Сопротивления, говоришь? А старый Лекос? Он что, тоже из Сопротивления? Я бедняга Аньез? А Колетт?

Тут впервые за эту ночь Гийерм несколько попятился. Мать с ружьем

наперевес шагнула к пролому в двери.

— Тогда слушай, что я скажу, не дорого возьму! Твой папаша такой же боец Сопротивления, как я Жанна д'Арк. Старая пьянь он, вот кто, любил язык распускать почем зря и, пока как следует не заложит, ни за какое дело не брался. Просто оказался не в то время и не в том месте, как и вы сейчас, ублюдки. А ну марш отсюда по домам, все до единого! — Она пальнула из ружья в воздух. — До единого!

Но Гийерм устоял. Заморгал, когда сверху на него посыпалась древесная труха, но сдюжил.

— А этого боша кто укокошил? — сказал он уже не таким пьяным голосом. — Кто-то же его пристрелил? Кто еще, кроме как из Сопротивления? А потом кто-то выдал их эсэс. Кто-то из деревенских. Кто ж, кроме тебя, Мирабель? Ну кто?

Мать расхохоталась. В каминном отсвете помню ее лицо: воспламененное гневом, оно было почти прекрасно. Среди ее родной порушенной кухни страшен был этот материнский смех.

— Сказать тебе кто, Гийерм? — Что-то новое прозвучало в ее голосе, сродни ликованию. — Потому тут и торчишь, что узнать охота? — Она снова пальнула в потолок, штукатурка в красных отблесках огня кровавыми перьями посыпалась вниз. — Ну, может, я тебе и скажу, а чего, какого хера?

Помню, Гийерм опешил больше от этих слов, чем от выстрела ружья. В те дни для мужчин ругнуться было нормально, но если сквернословила женщина — из добропорядочных, — это было что-то неслыханное. И я поняла: мать подписала себе приговор. Но это еще был не конец.

— Что ж, скажу правду, почему нет, Рамондэн! — Видно, ее било в истерике, но в тот момент я была убеждена: мать веселится от души. — Расскажу точь-в-точь, как было на самом деле, почему нет? — весело приговаривала она. — Нет мне резона, Рамондэн, доносить немцам на кого-то. Знаешь почему? Потому, что это я убила Томаса Лейбница! Я его убила! Что, не веришь? Я убила!

Она щелкнула затвором. Оба ствола были пусты. Ее пляшущая тень на кухонном полу была красно-черная, громадная. Мать уже не просто кричала, она истошно вопила:

— Что, Рамондэн, доволен? Это я убила его! Я убила! Не веришь? Да, я шлюха, я с ним спала и не жалею об этом. Я его убила и, если б можно было, убила бы еще сто раз. Можно было б тысячу — тысячу раз бы я его убила. Ну, что скажешь? Какого хера можешь ты мне сказать?

Она еще продолжала вопить, когда первый факел упал на пол кухни. Упал и потух, хотя Ренетт, чуть завидев пламя, тотчас завизжала; вторым

факелом подожгли занавески, третий кинули в разбитый комод. Теперь физиономия Гийерма в прогале исчезла, но слышно было, как он снаружи отдает приказы. Еще факел — и сноп соломы, очень похожий на те, из которых был связан трон Королевы урожая, перелетел через комод и упал, тлея, на кухонный пол. Мать продолжала истошно вопить:

— Я убила его, слышите, трусы! Я убила, и правильно сделала, и вас убью, прибую каждого, каждого, кто тронет меня и моих детей!

Кассис попытался было взять ее за плечо, но она с силой отшвырнула его к стене.

— Задняя дверь! — крикнула я ему. — Надо выбираться через заднее крыльцо!

— А если они там поджидают? — с ревом отозвалась Рен.

— Ну и что? — неистово взвилась я. Снаружи неслись улюлюканье и свист, обычная базарная толпа озверела на глазах. Я схватила мать за плечо, Кассис за другое. Вместе мы ее потащили, вырывавшуюся, хохочущую, в глубину дома. Конечно же, нас поджидали. Алели лица в отсветах пламени. Гийерм преградил нам путь, по бокам от него — мясник Лекос и Жан-Марк Уриа; уже без прежнего куража, но скалясь во весь рот. Пьяные вдрызг или, может, пока приноравливаются, еще только готовятся пролить кровь, как дети, играющие в «кто самый смелый». Они уже подожгли наш курятник и козий сарай, и зловоние паленых перьев вливалось во влажно-туманную прохладу.

— Никуда вам теперь не деться, — гнусно рывкнул Гийерм.

Занявшийся дом за нашими спинами шептал и отфыркивалась.

В мгновение ока перевернув ружье, мать прикладом пихнула Гийерма в грудь. Тот осел. На мгновение в том месте, где он стоял, образовалась брешь, и я рванула через нее, пробиваясь среди множества локтей, извиваясь в частокле ног, палок, вилок. Кто-то схватил меня за волосы, но я вывернулась, ужом ввинчиваясь в самую гущу разъяренной толпы. Меня давил, душил внезапный напор человеческих тел. Я пробивала себе путь к воздуху, к воле, почти не чувствуя сыпавшихся на меня ударов. Стрелой пронеслась через поле во тьму, под прикрытие высоких оголившихся зарослей маличника. Где-то далеко позади себя, уже за гранью страха, мне показалось, что я слышу голос матери — яростный, пронзительный. Звериный вопль самки, защищающей детенышей.

Дымный смрад становился все сильнее. Перед домом что-то с громким треском рухнуло, и мягкая волна жара ударила в меня, прокатившись по полю. Кто-то, кажется Рен, тоненько взвизгнул.

Оголтелая толпа колыхалась бесформенной массой. Ее тень доползала

до малинника и тянулась дальше. Я успела заметить, как позади толпы дальний сход крыши рухнул, взметнув фонтан искр. Из раскаленной трубы жаркий дым красно взвился ввысь, запуская огненным гейзером вспененный, булькающий фейерверк в серое небо.

От расползшейся толпы отделилась тень и метнулась через поле. Я узнала Кассиса. Он кинулся в кукурузу и, наверное, оттуда припустит к Наблюдательному Пункту. За ним вдогонку увязались было двое, но вид горящего дома завораживал их, как и многих. К тому же не мы, мать была им нужна.

Я расслышала ее крики сквозь рев толпы, усиленный ревом огня:
— Кассис! Рен-Клод! Буаз!

Я стояла наизготове за голым малинником, готовая, если приблизится кто, вмиг сорваться и бежать. Привстав на цыпочки, я на мгновение увидела мать. Она билась, как рыба из рыбачьей байки, загнанная в сеть, яростно рвущаяся на свободу. Лицо ало-черное от пожара, от крови, от гари; чудище из водных глубин. Я различила и другие лица: Франсин Криспэн — взамен прежней кротости полный ненависти оскал; старый Гийерм Рамондэн, точно исчадие ада. Теперь к их ненависти примешивался страх, суеверный страх, избавиться от которого можно, только круша и убивая. Не скоро они до такого дошли, но настала пора, и они превратились в убийц. Я видела, как Ренетт выскользнула сбоку из толпы и ринулась в кукурузу. Никто не пытался ее остановить. К тому времени чуть ли не все они, ослепленные кровью, уже не соображали, кто бежит, куда.

Мать упала. Мне показалось, что ее рука дернулась поверх искаженных злобой лиц. Все было как в книжке у Кассиса — «Нашествие зомби» или «Долина каннибалов». Только без туземных тамтамов. Но для меня это было пострашней, ведь я знала эти лица, к счастью освещаемые лишь на миг в насыщенной злобой тьме. Вот отец Поля. Вот Жаннетт Криспэн, которая чуть было не стала Королевой урожая, едва минуло шестнадцать, чужая кровь на щеках. Даже кроткий отец Фрома был тут, и невозможно было сказать, то ли он пытался усмирить толпу, то ли сам был частью всеобщего хаоса. Палки и кулаки ходили по голове, по спине моей матери, согнувшейся, сжавшейся, будто мать, уберегающая младенца, по-прежнему оголтело на них орущей, но все глуше и глуше под тяжестью тел и чужой ненависти.

И тут грянул выстрел. И они, и я его услышали, даже несмотря на шум; грохнуло из крупнокалиберного, возможно двустволки, или из какого-нибудь допотопного пистолета, из тех, что по сей день прячут где-нибудь на чердаке или под полом в деревнях по всей Франции. Стреляли в белый

свет, хотя шальная пуля чиркнула Гийерма Рамондэна по щеке, и он со страху опорожнил свой мочевого пузыря. И все головы мигом повернулись в любопытстве, посмотреть, кто стрелял. Этому никто не понял. Из-под разом остановившихся рук стала выползать моя мать: она вся истекала кровью; волосы выдраны, в нескольких местах пятнисто проглядывает череп; острой палкой проткнута насквозь кисть, растопыренные пальцы беспомощно повисли.

Треск огня — библейский, апокалиптический, — только и был слышен в тишине. Люди притихли; может, вспомнились отголоски того расстрела перед церковью Святого Бенедикта, и они содрогнулись при виде учиненной ими самими кровавой расправы. Вдруг донесся голос — кажется, с кукурузных полей. А может, со стороны горевшего дома. А может, с самих небес — грозный и властный мужской голос, который нельзя не услышать, которого невозможно послушаться.

— Не троньте их!

Мать продолжала ползти. Толпа сконфуженно расступилась, как пшеница под ветром, давая ей дорогу.

— Не троньте их! Ступайте по домам!

Голос как будто знакомый — так говорили все потом. И выговор знакомый, но кто это был, так никто и не понял. Кто-то даже истерично выкрикнул:

— Филипп Уриа!

Но Филиппа расстреляли. Людей пробрало дрожью. Мать выползла к открытому полю, с трудом поднялась на ноги. Кто-то дернулся было ее остановить, но раздумал. Отец Фрома проблеял что-то невнятное и умиротворяющее. Пара злых выкриков взвилась и умерла в суеверном затишьи. Потихоньку я нагло, не пряча лица от взгляда толпы, стала продвигаться к матери. Лицо горело от жара, в глазах плясал отраженный огонь. Я взяла мать за неповрежденную руку. Перед нами простерлась бесконечная ширь и тьма кукурузного поля Уриа. Мы молча вступили в него. Никто нас не преследовал.

21.

С Ренетт и Кассисом мы отправились к тетке Жюльетт. Мать пробыла там с неделю, потом уехала, то ли из чувства вины, то ли от страха; правда, под предлогом поправки здоровья. После этого мы виделись с ней очень мало. С пониманием отнеслись к тому, что она поменяла имя, вернулась к

своему девичьему, и уехала на родину, в Бретань. После этого подробности ее жизни нам почти неизвестны. Я слышала, что она неплохо себя обеспечивала, у нее была пекарня, она пекла свои старые фирменные пироги и торты. Кулинария всегда была самой страстной ее любовью. Мы прожили какое-то время у тетки Жюльетт и, как только пришла пора, разъехались кто куда. Рен пыталась пристроиться в кино, о чем она с таким жаром всегда мечтала; Кассис пристроился в Париже, я же — в скучном, но уютном замужестве. Рассказывали, что наша ферма в Ле-Лавёз лишь частично пострадала от пожара, что внешние постройки и основная часть самого дома уцелели, лишь фасад почти полностью выгорел. Можно было бы и вернуться домой, но уже распространился слух о расстреле в Ле-Лавёз. Признания матерью своей вины в присутствии чуть ли не сорока свидетелей, ее слов: «Я шлюха, я с ним спала, я убила его и не жалею об этом», а также нелестных высказываний в адрес односельчан оказалось больше чем достаточно, чтоб окончательно и бесповоротно ее заклеить. Воздвигли памятник десяти жертвам Кровавого побоища, но даже когда все эти события могли вызвать лишь праздный интерес, когда боль утраты и ужас несколько улеглись, стало ясно, что враждебность по отношению к Мирабель Дартижан и ее детям, скорее всего, останется навеки. И мне пришлось взглянуть правде в глаза: в Ле-Лавёз я уже не возвращусь. Никогда. Много лет я даже не отдавала себе отчет, как страстно мне туда хочется.

22.

Кофе все еще кипит на плите. Его горький запах будит воспоминания: запах черных жженных листьев с привкусом дымка от пара. Я, как жертва потрясения, пью очень сладкий. Мне кажется, я начинаю понимать, что чувствовала моя мать: неистовость высвобождения, желание все забыть.

Все разъехались. Девушка с миниатюрными магнитофонами, с кучей пленки, фотограф. Даже Писташ по моему настоянию отправилась домой, хотя я и сейчас чувствую тепло ее объятия, последнее прикосновение ее губ к моей щеке. Покладистая моя девочка, на целую вечность заброшенная мной ради другой, непокорной. Но люди меняются. Наконец я почувствовала, что теперь могу разговаривать с вами, дикарка моя Нуазетт, моя нежная Писташ! Теперь я могу вас обнять и больше не чувствовать при этом, что меня засасывает тряпина. Матерая на сей раз определенно мертва; настал конец ее проклятию. Никакой катастрофы не произойдет, если я

возьму и осмелюсь вас любить.

Когда вчера поздно вечером я позвонила, трубку взяла Нуазетт. Я узнала свои интонации — свои натянутость, сдержанность. Представила, что она, как и я, подалась вперед, настороженное выражение на узком лице; то, как она облокотилась на кафельную поверхность стойки бара. Тепла в ее словах, пробивающихся через мили холода и впустую канувших лет, немного; но временами, когда она заговаривает о своей дочке, мне кажется, я улавливаю что-то в ее голосе. Какую-то зарождающуюся теплоту. И мне становится радостно.

Думаю, в свое время я ей все расскажу; не сразу, приручая помаленьку. Не беда, могу и потерпеть; уж что-что, а это я умею. В каком-то смысле ей эта история нужней, чем кому бы то ни было, — уж гораздо нужней, чем публике, охочей до скандалов, — даже нужней, чем Писташ. Писташ незлобива. Она принимает людей открыто и по-доброму такими, какие они есть. Но Нуазетт нужно все рассказать, это и для ее дочки Пеш пригодится, чтобы призрак Матерой не объявился вдруг в один прекрасный день. У Нуазетт свои кошмары. Но хочется надеяться, что я уже не в их числе.

Теперь, когда все ушли, дом кажется до странности пустым и необитаемым. Сквозняком водит пару сухих листьев по плиточному полу. Но я почему-то чувствую, что не одна. Глупо вообразить, что в этом старом доме задержались какие-то призраки. Я уже столько здесь живу, и ни единого намека на их присутствие не было, и все же сегодня я чувствую... кто-то есть там, в глубине, в тени, чувствую чье-то молчаливое присутствие, незаметное и даже какое-то почтительное, выжидающее...

Мой голос неожиданно резко прорвал тишину:

— Кто здесь? Кто здесь, я спрашиваю?

И отдался металлом, отразившись от голых стен.

Он вышел на свет, и, увидев его, я чуть не расхохоталась и не расплакалась одновременно.

— Вкусно кофе пахнет, — сказал он, как всегда, негромко.

— Господи, Поль! Как тебе удалось так тихо войти?

Усмехнулся.

— Я думала, ты...

— Много думать вредно, — просто сказал Поль, направляясь к плите.

Тусклый свет лампы позолотил его лицо, обвислые усы придавали ему скорбное выражение, не вяжущееся с шустринкой в глазах. Я попыталась представить, много ли он успел подслушать из моего рассказа. Отсидеваясь вот так в тени. Я и забыла, что он тут.

— Болтать тоже, — заметил он добродушно, наливая себе кофе. — Боялся, едва ты завела, что и в неделю не управишься.

И бросил на меня быстрый насмешливый взгляд.

— Нужно было, чтоб они поняли, — сухо сказала я, — чтобы Писташ...

— Люди соображают гораздо быстрее, чем ты думаешь. — Он шагнул ко мне, приложил руку к моей щеке. От него пахло кофе и застарелым табаком. — Зачем надо было столько лет все в себе носить? Что хорошего выносила?

— Было... такое... что никак не выразишь, — дрогнувшим голосом сказала я. — Ни тебе, ни кому другому. Думала, тогда все прахом пойдет. Тебе не понять, с тобой такого никогда не...

Он засмеялся по-простому, миролюбиво.

— Эх, Фрамбуаз! Вот уж не ожидал! Ты думаешь, я не знаю, что такое тайну хранить? — Он сжал мою грязную руку в своих. — Неужто я дурень такой, что и тайн у меня нет?

— Да нет же, я не хотела... — поспешила оправдаться я.

Да, да. Господи, прости, именно так я думала.

— Воображаешь, будто ты одна способна ношу тянуть, — продолжал Поль. — Ты меня послушай. — Он вдруг, как в прежние времена, заговорил непонятно, и в некоторых шатких словах даже пробивалось его прежнее заикание. Отчего он даже как-то сразу помолодел.

— Помнишь, Буаз, те анонимные письма, а? Безграмотные такие? А надписи на дверях амбара?

Я кивнула.

— Помнишь, как она прятала письма, когда ты вошла? Помнишь, что ты по ее лицу поняла и по всему ее виду, как она испугалась, и разозлилась, и озлобилась, ведь так оно и было, и как ты ненавидела ее в те дни, так ненавидела, что прямо убить была готова?

Я кивнула.

— Это все я, — просто сказал Поль. — Я их писал, все, какие были. А ведь ты даже не знала, что я могу писать, верно? Какую же я подлость тогда совершил всеми этими своими письмами. Это чтоб отомстить. Потому что она обозвала меня кретином тогда, при тебе, при Кассисе и Рен-К-к-к...

Лицо Поля исказилось от нахлынувшей боли, он весь залился краской.

— При Рен-Клод, — докончил он уже спокойно.

— Я понимаю.

Ну да. Как всякая загадка: так все очевидно и просто, когда узнаешь ответ. Я вспомнила, какая у него делалась физиономия в присутствии

Ренетт, как он краснел, запинался и под конец смолкал, хотя при мне он говорил почти нормально. Я вспомнила вспыхнувшую в его глазах неприкрытую, лютую ненависть в тот день — «Кретин, говорить не можешь по-человечески!» — и его жуткий вой, полный горя и ярости, летевший через поля. Я вспомнила, с каким порой выражением крайней сосредоточенности он разглядывал комиксы Кассиса — Поль, который, как мы все были убеждены, не способен ни слова прочесть. Вспомнила, как оценивающе взглянул он на протянутый мной разрезанный апельсин, и то странное чувство на реке, будто кто-то следит, — даже в тот последний раз, в самый последний день с Томасом, даже тогда, Господи, даже тогда.

— Я думать не думал, что до такого дойдет. Просто хотел, чтоб ее проняло, но я никогда и в мыслях не держал того, что потом стряслось. Ведь вон как оно повернулось. Так всегда в жизни. Уж если клюнет слишком крупная рыба, она и всю удочку за собой вглубь потянет. Правда, в конце я все-таки попытался хоть что-то поправить. Очень хотел.

Я уставилась на него:

— Боже милостивый, Поль!

Изумление пересилило гнев, даже если предположить, что для него еще осталось во мне место.

— Так это был ты? Ты? Это ты стрелял из дробовика в ту ночь на ферме? Ты прятался там в поле?

Поль кивнул. Я глядела на него и не узнавала, будто вижу его впервые.

— Ты знал? И все эти годы ты знал? Он повел плечами.

— Вы все считали меня придурком, — сказал он без всякой обиды. — Думали, все можно обдeldывать у меня прямо под носом, а я при этом ничего не замечу. — Он медленно, грустно улыбнулся. — Ну ладно, хватит. Довольно нам с тобой. Думаю, выговорились.

Я пыталась собраться с мыслями, но у меня все никак не укладывалось в голове. Я столько лет считала, что всему виной Гийерм Рамондэн, который громче всех орал в ту ночь, закончившуюся пожаром. Или, возможно, Рафаэль, или кто-то из потерпевших семей. И вдруг услышать, что за всем этим стоит Поль, мой милый, мой медлительный Поль, двенадцати лет от роду, распахнутый, как летнее небо. Он начал, он и завершил, с четкой бесповоротностью смены времен года. Когда наконец я открыла рот, у меня вырвалось что-то совсем для нас обоих не о том.

— Скажи, ты правда сильно ее любил тогда? Мою сестричку Ренетт, с ее упругими щечками, с ее прелестными локонами, с пшеничным снопом в руке и корзиной с яблоками под боком. Вот такой, поверьте, я навсегда ее и запомнила. Картина ясно и четко стоит перед моими глазами. И тут

внезапно я ощутила укол ревности почти у самого сердца.

— Наверно, так же, как ты любила его, — спокойно ответил Поль. — Как ты любила Лейбница.

Какие глупые мы были детьми. Глупые, жестокие, наивные. Всю свою жизнь я грезилась Томасом, всю свою замужнюю жизнь в Бретани, все свои вдовьи годы я мечтала о таком, как Томас, с беззаботным смехом, с острым взглядом, с глазами, как река, о Томасе моей мечты — о тебе, Томас. Только ты навсегда и навеки — проклятие Матерой оставило по себе страшный след.

— Знаешь, не сразу, конечно, — сказал Поль, — но я это пережил. Пустил все как идет. Зачем плыть против течения. Столько сил тратить. Проходит время, и какой бы ни был человек, надо просто успокоиться, река сама принесет тебя к дому.

— К дому, — повторила я, совершенно не узнав свой голос.

Руки, обнявшие меня, были грубоватые на ощупь и теплые, как мех старой собаки. Я представила себе, ну и странная картинка: стоим вдвоем под тусклой лампочкой, точно Гензель и Гретель, постаревшие и поседевшие в плену у колдуньи, наконец-то выбравшиеся из пряничного домика.

Ты просто успокойся, и река принесет тебя к дому. Такие простые слова.

— Долго мы с тобой ждали, Буаз. Пряча глаза, я сказала:

— Должно быть, слишком.

— Я так не думаю.

Я собралась с духом. Теперь самое время. Надо сказать ему, что все прошло, что ложь, вставшая меж нами, слишком застарела, не сотрешь, слишком велика, не преодолеешь, что мы уже, к сожалению, старики, что теперь это смешно, что это невозможно, да и вообще, вообще...

И тут он меня поцеловал, прямо в губы, не застенчиво по-стариковски, но совершенно иначе, отчего я одновременно смутилась, возмутилась и возгорелась странной надеждой. Просияв, он медленно стал вытаскивать что-то из кармана, что-то желто-красное блеснуло в свете лампы... Ожерелье из диких яблок.

Я глядела на него, пока он осторожно надевал ожерелье мне на шею. Оно легло мне на грудь, круглые атласные плоды излучали свет.

— Королева урожая, — прошептал Поль. — Framбуаз Дартижан. Только ты одна.

Я чувствовала крепкий и терпкий аромат диких яблок, тепло прильнувших к моей коже.

— Я старая, — сказала я несмело. — Уже поздно. Он снова меня поцеловал, сначала в лоб, потом в уголок рта. Потом снова полез в карман и вытащил сплетенный из соломки венец, опустил его мне на голову, как корону.

— Домой возвращаться никогда не поздно, — сказал он и нежно, но уверенно притянул меня к себе. — Ты, главное, вот что, перестань увертываться.

Сопротивляться, как и плыть против течения, изнурительно и бессмысленно. Я потянулась, как к подушке, щекой к его плечу. Дикие яблоки вокруг моей шеи издавали резкий, сочный аромат, они пахли октябрём нашего детства.

Мы отпраздновали наше возвращение домой черным кофе с круассанами и вареньем из зеленых помидоров, сваренным по рецепту моей матери.

Примечания

1

Ордена Почетного легиона (фр.). Здесь и далее примечания переводчика. — О. К.

[n_1](#)

Бретонская начинка (фр.).

[n_2](#)

Галеты по-бретонски (фр.).

[n_3](#)

«Деликатесы от Дессанж» (фр.).

[n_4](#)

Pistache — фисташка (фр.).

[n_5](#)

6

Noisette — лесной орех, лещина (фр.).

[n_6](#)

7

Вдова Симон (фр.).

n 7

Cassis — черная смородина (фр.).

[п_8](#)

Framboise — малина, малиновый ликер (фр.).

[п_9](#)

10

Reine-claude — известный сорт слив, reinette — ранет, Ренетт, сорт яблок с изысканным вкусом, reine — королева (фр.).

[n_10](#)

Рубленое тесто (фр).

[n_11](#)

Заварной крем (фр.).

[n_12](#)

Красавица Ивонн (фр.).

[n_13](#)

Аквитанская роза. Бере (сорт груши) короля Генриха (фр.).

[n_14](#)

Погибли за родину (фр.).

[n_15](#)

Пряники (фр.).

[n_16](#)

Кружевные блинчики (фр.).

[n_17](#)

Песочное печенье (фр.).

[n_18](#)

Площадь Мучеников (фр.).

[n_19](#)

20

«Кафе с Дурной репутацией» (фр.).

[n_20](#)

Блинная (фр.).

[п_21](#)

Как правило, под тентом, открытое кафе у входа (фр.).

[n_22](#)

«Малиновый блинчик» (фр.).

[п_23](#)

Подливка (фр.).
[п_24](#)

«У Фрамбуаз» (фр.).

[n_25](#)

Непрерывно (фр.).

[п_26](#)

Паэля по-антильски (фр.).
[п_27](#)

Шипучий сидр (фр.).

[п_28](#)

Малиновый ликер (фр.).

[n_29](#)

Мясные заготовки (фр.).

[n_30](#)

Рубленая и жаренная в сале свинина или гусятина (фр.).

[n_31](#)

Сухая колбаска (фр.).

[n_32](#)

Грушовка (фр.).
[п_33](#)

Кускус по-провансальски (фр.).

[n_34](#)

Рагу из фасоли трех сортов (фр.).

[n_35](#)

Мирабелевый торт с миндальной начинкой (фр.).

[n_36](#)

Сырный хлеб (фр.).

[n_37](#)

Фруктовый пирог с вишнями (фр.).

[п_38](#)

«Как женщина! Как женщина!» (нем.).

[п_39](#)

Пепелюшки (фр.).

[п_40](#)

41

Ах, какая замечательная клубничка (нем.).

[n_41](#)

42

Вкусная, да? (нем.).

[п_42](#)

Чу-у-де-е-сная! (нем.).

[п_43](#)

Ага, вкусно! (нем.).

[n_44](#)

«Смягчающие обстоятельства» (фр.).

[п_45](#)

46

Темная кровяная колбаса (фр.).

[п_46](#)

Пирог с фруктами (фр.).

[n_47](#)

«РЫЖИЙ КОТ» (фр.).

[п_48](#)

Анисовый ликер.

[n_49](#)

50

Пиво с лимонадом (фр.).

[n_50](#)

Prune — слива (фр.).

[n_51](#)

Ricotta — итальянский домашний сыр.
[n_52](#)

Щука «по-анжейски» и сырный хлеб (фр.).

[n_53](#)

Милый (фр.).
[n_54](#)

Кружка пива (фр.).
[n_55](#)

Американский бургер (фр.).

[n_56](#)

Фаршированные грибы (фр.).

[n_57](#)

Полицейский (фр.).
[n_58](#)

Тушенный кролик (фр.).

[n_59](#)

60

Лисичка (фр.).

[п_60](#)

Боровик, или белый гриб (фр.).

[n_61](#)

Колбаса к пиву (нем.).

[n_62](#)

Шницель (нем.).

[п_63](#)

Шварцвальд.
[п 64](#)

Сухое печенье (нем.).

[п_65](#)

Штрудель, слоеный пирог со сладкой начинкой (нем.).

[п_66](#)

67

Хлебопекарная печь или духовка (нем.).

[n_67](#)

Котлета, фрикаделька (нем.).

[n_68](#)

Американский пловец, олимпийский чемпион, всемирно известный исполнитель роли Тарзана в голливудской киноверсии 1930-х гг.

[п_69](#)

70

Французский апельсиновый ликер.

[n_70](#)

Игра в шары на юге Франции.

[n_71](#)

Терновая настойка (фр.).

[п_72](#)

Кальвадос (фр.).

[n_73](#)

Голливудская киноактриса, звезда немого кино.

[n_74](#)

75

Отборный коньяк (фр.).

[п_75](#)

Традиционный красочный карнавал, приходящийся на последний вторник перед Великим постом.

[п_76](#)

77

Миленькая, любимая (нем.).

[n_77](#)

Миленькая, да... любимая... ах... да... (нем.).

[п_78](#)

Кто здесь? (нем.).

[п. 79](#)

Черт побери! (нем.).

[п_80](#)

Кто это там? (нем.).

[n_81](#)

Не знаю. Что-то по ту сторону (нем.).

[n_82](#)

Жопа (нем.).

[п_83](#)

Лейбниц, что я должен... (нем.).

[п_84](#)

Заткнись! (нем.).

[п_85](#)

Отлично, Френцль. Он мертв (нем.).

[п_86](#)

Персик (фр.).

[n_87](#)

Блюдо из чечевицы (фр.).

[п_88](#)

Крем-брюле; крем, сбрызнутый карамелью (фр.).

[п_89](#)

Голландский соус, «Олландез» (фр.).

[n_90](#)

Темная кровяная колбаса (фр.).

[п_91](#)

Эй! (фр.).

[n_92](#)

A? (φρ.).

[n_93](#)

Бекон по-английски. Фирменный завтрак «Дессанж» (фр. и англ.).
[п_94](#)

Наичернейший кофе (фр.).

[n_95](#)

Здесь: колбаса (фр.).

[n_96](#)

К чистому роднику я ходила,
Вода в нем так ясна, я ею омылась,
Уж так давно тебя люблю я,
Никогда я тебя не позабуду (фр.).

[n_97](#)

Сын мой (фр.).

[п_98](#)

Боже милосердный (нем.).

[п_99](#)

100

Кофе с молоком (фр.).

[п_100](#)

FB2 document info

Document ID: 0fb5f30d-2e8a-4877-9044-8d5604740038

Document version: 1

Document creation date: 2009-06-27

Created using: doc2fb, FB Editor v2.0 software

OCR Source: Scan: Ronja_Rovardotter; OCR&SpellCheck: golma1

Document authors :

- golma1

About

This book was generated by Lord KiRon's FB2EPUB converter version 1.0.28.0.

Эта книга создана при помощи конвертера FB2EPUB версии 1.0.28.0 написанного Lord KiRon